

Устами Буниных

Устами Буниных

Дневники

1



1



УСТАМИ БУНИНЫХ

*Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны
и другие архивные материалы,
под редакцией Милицы Грин*

В трех томах

Том I

ПОСЕВ

© Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1977
Frankfurt/Main
Printed in Germany

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Вещи и дела, аще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написанные же яко одушевленные...» Этой цитатой начинает Бунин свою «Жизнь Арсеньева». Эти слова хочется мне поставить эпитафией к изданию дневников Буниных.

Объединить выдержки из дневников Ивана Алексеевича и Веры Николаевны я решила по многим причинам. Мне это кажется желательным с литературной точки зрения — пробелы в дневниках одного заполняются другим и получается связанное повествование. При этом манера записей Веры Николаевны, естественно, отличается от манеры Ивана Алексеевича, оттеняет его записи и это придает живость рассказу. Да и внимание обоих обращено на разные стороны жизни. Но главное, что побудило меня объединить записи обоих Буниных, — это убеждение, что такое единение символично.

Я глубоко убеждена, что страстный, горячий Бунин, несмотря на свои многие увлечения, несмотря на свои сложные отношения с недавно умершей Галиной Николаевной Кузнецовой, прожившей у Буниных многие годы, по-настоящему любил одну только Веру Николаевну. Еще не пришло время о многом говорить и публиковать некоторые документы интимного характера, имеющиеся в архиве, но, познакомившись с ними, я пришла к убеждению, что Иван Алексеевич никогда не пере-

ставал истинно любить Веру Николаевну и, несмотря на часто жестокое к ней отношение, совсем по-детски от нее зависел. А Вера Николаевна обладала редким даром Любви — Ивану Алексеевичу она посвятила всю свою жизнь, была его ангелом-хранителем, страдальцей, способной во имя любви на непостижимые уму жертвы. Любовь ее распространялась и на окружающих ее людей. Как сына, она любила Леонида Федоровича Зурова, превозмогла себя и от души полюбила Галину Кузнецову, всем сердцем была привязана к Олечке Жировой.

Редактируя дневники, я старалась соблюдать текучесть повествования и избегать повторов. Станным образом, в те периоды, когда много записывала Вера Николаевна, мало записей делал Иван Алексеевич и наоборот. При этом многие дневники Бунин сам уничтожил. Вероятно, не хотел, чтобы копались в его личных делах, а может быть, считал записи неинтересными. Есть периоды долгого молчания и у Веры Николаевны — годы особенно тяжелых личных переживаний. В основном же она строго относилась к добровольно взятой на себя обязанности летописца, заносящего в тетрадь все, что касается жизни ее великого мужа.

Первая часть, «До перелома», начинается юношескими записями Бунина и кончается отъездом из родных мест после революции. Помимо дневниковых записей Ивана Алексеевича, в нее входят отрывки из разбросанных по журналам воспоминаний Веры Николаевны и выдержки из ее ставшей библиографической редкостью книги «Жизнь Бунина», как и важные для биографии Бунина выписки из его писем художнику П. Нилусу, письма Веры Николаевны родным с Цейлона и другие материалы.

Эта часть раскрывает облик Бунина-художника, его метод собирания материала, знакомит с его взглядами на народ, на современную литературу, на его отношение к происходящим событиям. Зоркость и наблюдательность его поразительные. Это в особенности справедливо в отношении к природе. Природа для него всегда была существенной частью жизни и неслучайно скажет он потом: «Нет... никакой отдельной от нас природы... каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни». Некоторые из его записей этого времени по своей тонкости и художественности принадлежат к лучшим страницам его творчества.

Жадный до впечатлений, Бунин много путешествовал, чем объясняется необычная ширина географического диапазона в его творчестве. Он хорошо знал не только Россию и Европу, вместе с Верой Николаевной они побывали и в Сирии, и в Палестине, и на Цейлоне. Неоднократно месяцами жили на Капри (где ежедневно встречались с Горьким).

Октябрьская революция решила судьбу Бунина. С самого начала его отношение к происходящим событиям было резко отрицательное. При этом определялось оно не одними только политическими причинами. Бунин болел сердцем, видя, что разрушается традиционная Русь, что порывается связь с прошлым. Но главное, что возмущало и вызывало отвращение, это — хамство, грубость, насилие, выплывшие наружу вместе с революцией. Его коробил язык газет, вечные плакаты, воззвания, ложь, его возмущало вызывающее поведение толпы. С такими взглядами, да еще при страстности Бунина, оставаться в большевистской России было немислимо.

Вторая часть, «Одесса», написана главным образом пером Веры Николаевны. Живо и непосредственно передает она атмосферу послереволюционного времени, переход Одессы из рук в руки, слухи, надежды, разочарования, бытовые детали. Сильное впечатление остается от ее талантливых зарисовок людей — писателей, журналистов и других. С большой любовью писала она о Валентине Катаеве, впоследствии отплатившем ей полным сарказма портретом в «Траве забвения». Детально и живо представлен поэт Максимилиан Волошин, яркими штрихами нарисован искусствовед проф. Кондаков, интересен литературовед Овсяннико-Куликовский. Для Веры Николаевны вообще характерна доброжелательность, способность увидеть хорошее в людях, не переходящая, однако, в наивность. Эта черта особенно выделяется в контрасте с записями Ивана Алексеевича этого периода, полными нервного напряжения и ярости. Эти его записи, сохранившиеся в оригинале, написанные на пожелтевших от времени листках, послужили основой созданных уже в эмиграции «Окаянных дней».

Третья часть, «За рубежом», — это Франция, эмигрантская жизнь до получения мирового признания — Нобелевской премии по литературе (1933 г.). Постепенно исчезают надежды на возвращение в Россию, начинается тяжелая эмигрантская жизнь с ее заботами о хлебе насущном. Бунины живут интересами культуры, стоят в центре русского Парижа, встречаются с видными представителями общественности и литературы. Вера Николаевна дает тонкие портреты Зинаиды Гиппиус, Мережковского, П. Струве и многих других.

Жизнь Буниных проходит на людях. Иван Алексеевич жаждет собеседников, тяготеет одиночеством. Ему нужны впечатления, необходимо окружение. Вот почему они всегда живут у дру-

гих, как жили в России, или с другими. Вот почему они обрекли себя на бездомность. Вера Николаевна, несмотря на свойственную ей общительность, иногда тяготится тем, что не может быть одна с Иваном Алексеевичем, даже несколько ревнует его. Если в России они постоянно были окружены родственниками Бунина (особенно он любил гулять и беседовать со своим племянником талантливым Н. Пушешниковым), то во Франции с ними постоянно друзья, знакомые — люди общих интересов, но не всегда общих взглядов. Даже на отдых Бунины ездят не одни — так, два лета подряд они проводят с Мережковскими. Ведутся разговоры на общественные и литературные темы, а главное — говорится о прошлом и настоящем России.

Тяжело переживает Бунин смерть любимого старшего брата, Юлия Алексеевича, скорбит Вера Николаевна по оставшейся в Москве семье. Но жизнь течет своим чередом — писательские вечера, встречи, обеды, приемы, Куприн, А. Толстой, Карташев, Цетлины, Фондаминский, Алданов, приезд Художественного театра, Станиславский, Книппер, Качалов и многие, многие другие.

Вероятно, из-за некоторой саркастичности Бунина о нем сложилось представление, как об эгоисте, человеке высокого о себе мнения. Цену себе Иван Алексеевич, действительно, знал, хотя и тут была доля ущемленности, но называть его эгоистом — несправедливо. Дневники свидетельствуют о его доброте, желании помочь людям (чем, однако, он никогда не хвастался) — так хлопочет он о визе И. А. Шмелеву, заботится о других писателях, вызывает к себе начинающего писать Леонида Зурова, покровительствует молодой поэтессе Галине Кузнецовой. О Вере Николаевне и говорить нечего — жизнь ее проходит в заботах о других, хло-

потах по устройству вечеров писателей, продаже билетов, сборе денег.

Начиная с 1923 года, Бунины летом живут в Грассе, зимой ездят в Париж. С 1925 года их «домом» становится вилла «Бельведэр», ставшая небольшим русским культурным центром. Они окружены писателями, общественными деятелями, «бывшими» людьми. Ведется напряженная жизнь, полная культурных интересов. Для Бунина это период творческого подъема — создается «Жизнь Арсеньева». Для Веры Николаевны это время тяжелых переживаний, на которые она только намекает. (Это время сближения Бунина с Галиной Кузнецовой.) Думается, что эти переживания, как и серьезная операция вызывают внутренний перелом в Вере Николаевне, в результате которого всё растет духовность.

В конце двадцатых годов начинается ежегодное мучительное ожидание решения Нобелевского комитета и ежегодное разочарование с возвратом к вопросу — на что жить? Наконец, 9 ноября 1933 года извещение по телефону из Стокгольма, что премия по литературе присуждена Бунину. С этого момента «всё смешалось в доме Облонских». Париж, приемы, чествования, сутолока. Стокгольм, получение премии, король, ордена, ленты, светлые туалеты дам, дипломаты — как вся эта сказочная атмосфера непохожа на бедное существование в Грассе. Иван Алексеевич, первый из русских писателей удостоившийся премии, в опьянении славой. Вера Николаевна, только что узнавшая о самоубийстве любимого брата в Москве, предчувствует недоброе.

Последняя часть, «На исходе» — это период подведения итогов. Жизнь, после получения премии, идет всё вниз и вниз. Деньги скоро растрочены (пошли не только на себя, но и на помощь

другим писателям, о чем рассказывал мне покойный Борис Константинович Зайцев). Не стал Бунин и русским «культурным послом» в Европе, чего от него ждали и на что надеялись его друзья*. Домашняя жизнь еще больше усложнилась. Галина Николаевна подружилась с сестрой Ф. Степуна, Маргаритой, которая тоже поселилась у Буниных. Иван Алексеевич чувствовал себя обойденным. Публичные выступления, банкеты, кроме мучений и минимального заработка, ничего не приносили. Страшила приближающаяся старость. Забвения Бунин искал в вине.

Вера Николаевна устала, истомилась. А тут приближалась война. За время войны Бунин регулярно ведет дневник, следит за военными событиями, делает выписки из газет, скорбит о судьбе Франции. Но природа по-прежнему привлекает его — вид на Эстерель, звездное небо, погода. Жизнь становится все тяжелее и тяжелее, еды все меньше и меньше. Вино, а потом раскаяние, сознание, что надо переменить жизнь, не пить — но потом опять вино. Болезни, жалобы на одиночество. И бесконечно страшит старость, приближение смерти.

Тяжело переживает Бунин победы немцев в России, ежедневно отмечая новости с фронта, душой болеет за родные места. Затем, когда положение дел в России меняется, чувства у Бунина сложные — русские победы и радуют и вызывают горечь, прилив негодования. «Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой — Ленинград, Нижний — Горький, Тверь — Калинин — по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган».

* См. мою публикацию писем М. Алданова Буниным, «Новый журнал», № 81, 1965.

После занятия южного побережья американцами Бунина возмущает атмосфера в русской колонии: «Русские все стали вдруг краснее красного. У одних страх, у других холопство, у третьих 'стадность'».

В августе 1945 года, распростившись навсегда с Грассом, Бунины возвращаются в Париж. Но и здесь мало радости. «Почти у всех траур, у некоторых трагический», записывает Вера Николаевна. Умерла З. Н. Гиппиус, скончался М. О. Цетлин.

В июне 1946 года выходит указ Президиума Верховного совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи. В русской колонии переполох, многие решают вернуться в Россию. Трудно себе представить, чтобы Бунин, при его взглядах, мог серьезно думать о возвращении, но домой тянуло и общее волнение передалось. А его смущали, уговаривали, убеждали, что многое в России переменялось. Некоторое время он, видимо, колебался (см. «Письма Алданова Буниным»), очень уж сильна была тоска по родине. Но колебания были недолговременны, Бунин твердо решил остаться. У Веры Николаевны записано: «О возвращении нашем в Россию не могло быть никаких переговоров, так как мы ни в коем случае туда и не думали ехать. Были предложения, уговоры, на которые даже серьезно не отвечали, так они были нелепы при отношении к большевикам, какое было и есть у Яна».

В русском литературном Париже шла в то время острая политическая борьба. Из Союза Писателей были исключены все члены, взявшие советские паспорта, тогда как люди, сотрудничавшие с немцами, членами оставались. В протест против такой «односторонней нетерпимости» Бунины решили выйти из Союза. Это был принципиальный шаг, так как сами Бунины советских паспортов ни-

когда не брали и умерли бесподданными эмигрантами. Решение Буниных вызвало обвинение их в большевизанстве. М. С. Цетлина пишет им из Америки резкое письмо, что она порывает с ними. Бунин, больной и слабый, тяжело переживает все эти волнения. Во многих прежних друзьях он теперь видит врагов.

Последние годы — это медленное и мучительное умирание. Вера Николаевна не сдаётся, устраивает «четверги», чтобы хоть как-нибудь развлечь больного, собирает деньги на Олечку, на Тэффи, на книгу Зурова, на «Быструю помощь». Но и ее здоровье неважно. А Иван Алексеевич — больной нелегкий, расходы громадные, денег нет. В довершение всех невзгод, заболела нервным расстройством Олечка Жирова, а в следующем году свалился с ног и Л. Ф. Зуров, помогавший Вере Николаевне ухаживать за больным. Дни Бунина сочтены. 27 сентября 1953 года Вера Николаевна записывает: «Ян очень ослабел, все спит». Но — характерно для хлебосольной и общительной Веры Николаевны — ее радует, что на ее именинах было 25 гостей.

14 октября 1953 года И. А. Бунин скончался.

На этом я окончила книгу. Дневниковые записи Веры Николаевны после его смерти довольно беспорядочны. Не до дневников было ей теперь, когда на нее легла ответственность опубликовать начатую Буниным книгу о Чехове, написать биографию Бунина, напечатать свои воспоминания.

Вопреки распространенному мнению, что в отрыве от родины блекнет писательский талант, Бунин создал в эмиграции лучшие свои произведения. Талант его расцвел с особой силой. Разлука с Россией только усилила его страстную любовь к ней, все страдания обострили чувства и восприимчивость. Но Бунин — лицо трагическое. Даже

радость получения Нобелевской премии была отравлена для него сознанием, что в России это замалчивается, что вещи его там даже не печатаются. Признание его в России, о чем он мечтал всю свою долгую жизнь, пришло уже после смерти Бунина.

Милица Грин

Эдинбург, июнь 1976 г.

*

Редактируя дневники, я соблюдала особенности правописания И. А. Бунина и его знаки препинания. Орфография изменена на новую.

Редакторские примечания и связки, расшифровки авторских сокращений и редакторские сокращения (обозначаемые многоточием) взяты в квадратные скобки. Фамилии объяснены не все, без объяснения оставлены как некоторые общеизвестные фамилии, так и фамилии людей, лишь мельком упоминаемых.

*

Приношу свою глубокую благодарность профессору D. Ward, моему многолетнему начальнику и коллеге. Без его помощи это издание не осуществилось бы. Он приложил все усилия обеспечить мне финансовую помощь, поддерживал меня морально и давал дельные советы.

Чувствую себя благодарно обязанной Эдинбургскому университету, который щедро помог мне, дав заем на издание книги. Благодарю за субсидию Carnegie Trust for Scottish Universities. Батюшке о. Иоанну выражаю признательность за тщательную переписку рукописи, а моей коллеге

Э. И. Вознесенской — за помощь в чтении корректуры и советы. Моей бывшей студентке Пенни Стир приношу благодарность за то, что она разобрала отелльные счета, хранящиеся в бумагах Буниных, и установила даты заграничных поездок Бунина.

Благодарю Р. Б. Гуля и Вл. Д. Соколова-Самарина, любезно указавших мне на некоторые ошибки и оплошности, вкравшиеся в мою публикацию отрывков из дневников И. А. Бунина в «Новом журнале».

С особой благодарностью поминаю покойного Леонида Федоровича Зурова, многолетнего хранителя дневников, доверившего их мне после смерти.

Издательство «Посев», в частности А. Н. Артемову, благодарю за советы и помощь в подготовке рукописи к печати.

Часть первая

ДО ПЕРЕЛОМА

[В основу этой части легли дневниковые записи Ив. Ал. Бунина, переписанные им с «истлевших и неполных» клочков заметок того времени, выдержки из автобиографического конспекта, составленного им на основе уничтоженных записей, воспоминания Веры Николаевны, разбросанные по различным журналам, частично вошедшие в ее, ныне ставшую библиографической редкостью книгу «Жизнь Бунина» (Париж, 1958) или вообще не печатавшиеся. Делаются ссылки на дневничок-конспект, в котором В. Н. записала (видимо, по памяти) даты и главные факты их жизни. Помимо того, приводятся выдержки из писем Бунина и В. Н. родным и другим лицам.

Записи начинаются с восьмидесятых годов прошлого столетия, то есть с отрочества Бунина.]

1881

В начале августа (мне 10 лет 8 мес.) выдержал экзамен в первый класс Елецкой гимназии. С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого помещика Валентина Ник. Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне «Озёрки») у мещанина Бякина на Торговой ул. в Ельце. Мы тут «нахлебники» за 15 рубл. с каждого из нас на всем готовом¹.

[Следующие записи относятся к концу декабря 1885 года. Как обычно, Бунин проводил рождественские каникулы у родителей¹.]

Конец декабря.

[...] ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег... Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в знакомом домике... и много еще хорошего...

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я, наконец, имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться... Сначала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми; в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно... Что меня ждет? задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне и сердце ныло так сладко и даже по временам я плакал, сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть, навеянную красотой природы или стихами, во мне закипало радостное, светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка²! Удивительно, от чего меня к ней влечет? Может оттого, что про нее много рассказывала сестра...

Наконец, я задремал и не слышал, как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине мятели, и нам пришлось ночевать на вокзале.

Еще с большим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но

встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река — все было в белых покровах. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как я приезжал в последний раз осенью [...]

Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское³. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого, родного дома [...] На крыльце я увидел Дуню и ее, как я предположил; это была барышня маленького роста, с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и отклонялся. [...]

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже друзьями, а я кроме того влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Всё спит... но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», шепчут мои губы.

Исполнились мои ожидания.

29-го Декабря (1885 г.).

Сегодня вечер у тетки. На нем наверно будут из Васильевского, в том числе гуверн[антка], в которую я влюблен не на шутку.

[...] Она моя! Она меня любит! О! С каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!..

Да! пиша эти строки я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое изливание нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется», скажут они. Так!

Человеку занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т. е. когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста, и, так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать. — И. Б.). Но может быть именно более всего святое свойство души Любовь тесно связано с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слышал как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и следовательно более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе эти напевы.

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит...

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору и прижимал ее ручки

к своим губам и сливался с ней в горячих поцелуях. Наконец, пришло время расставаться. Я увидел как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же и она упала ко мне на грудь. «Милый, шептала она, милый, прощай. Ты ведь приедешь на Новый Год?» Крепко поцаловал я ее и мы расстались. [...]

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки... пробовал стихи писать, — звуки путались и ничего не выходило... передать все я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда, когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал бы Бог знает что, а возьмешь перо и становишься в тупик... Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья «стихом размерным и словом ледяным не передашь», я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу. Тишина была немая... Я все еще не спал... Порой на луну, должно быть, набегали облачка и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробежало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная... Я был тогда в саду... И снова все перемешалось... Я глядел в угол. Луна по прежнему бросала свой мягкий свет... Вдруг все изменилось, я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится... Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет ребенок и далеко несется по заре словно колокольчик голос его. Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим передничком. Варя, Дуня...

Вдруг они нагнулись все и подняли... гроб. В руках очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас., но только не такая, как была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в объятия и жаркими поцелуями покрывал ее свежее личико... Но из-за кустов вышли опять с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне.

[После Святков Бунин не вернулся в Елец, решил бросить гимназию и учиться дома с братом Юлием, жившим в Озерках под надзором полиции⁴. Вера Николаевна пишет⁵:]

Юлий Алексеевич рассказывал мне:

«Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но я сразу увидел его одаренность, похожую на одаренность отца. Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны.

Мы выписали журнал «Неделя» и «Книжки Недели», редактором которых был Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал ту или другую статью, то или иное произведение литературы. Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса».

[Под руководством брата Бунин приобрел много знаний, развился и начал серьезно интересоваться литературой и сам писать.

Сохранилась следующая дневниковая запись:]

1886

20 декабря 1886 года.

Вечер. На дворе несмолкая бушует страшная вьюга. Только сейчас выходил на крыльцо. Холодный, резкий ветер бьет в лицо снегом. В непроглядной крутящейся мгле не видно даже строений. Едва-едва, как в тумане, замечен занесенный сад. Холод нестерпимый.

Лампа горит на столе слабым тихим светом. Ледяные белые узоры на окнах отливают разноцветными блестящими огоньками. Тихо. Только завывает мятель да мурлыкает какую-то песенку Маша. Прислушиваешься к этим напевам и невольно отдаешься во власть долгого, зимнего вечера. Леня шевельнуться, леня мыслить.

А на дворе все так же бушует мятель. Тихо и однообразно проходит время. По прежнему лампа горит слабым светом. Если в комнате совершенно стихает, — слышно как горит и тихонько сипит керосин. [...]

[Записи за следующие годы не сохранились. Бунин за это время побывал у окончившего срок ссылки и жившего в Полтаве Юлия Алексеевича, был в Харькове, пережил роман с В. В. Пащенко (частично отразившейся на образе Лики в «Жизни Арсеньева»), стал печататься в «толстых» журналах.]

1893

[Конспект:]

В мае приехал из Полтавы в Огневку. Запись 3 июня («приехал верхом с поля, весь прохваченный сыростью...»).

В июле (?) приехала в Огневку В.¹ С ней к Воргунину.

Осенью в Полтаве писал «Вести с родины» и «На чужой стороне» (?).

Конец декабря — с Волкенштейном в Москву к Толстому².

[На другом листке красным карандашом обведены написанные в правом верхнем углу слова: «Переписано с таких же клочков и это и дальнейшее. Ив. Б.».]

[Записи:]

3 июня 1893 г. Огнёвка.

Приехал верхом с поля, весь пронизанный сыростью прекрасного вечера после дождя, свежестью зеленых мокрых ржей.

Дороги чернели грязью между ржами. Ржи уже высокие, выколосились. В колеях блестела вода. Впереди передо мной, на востоке, неподвижно стояла над горизонтом гряда румяных облаков. На западе — синие-синие тучи, горами. Солнце зашло в продольную тучку под ними — и золотые столпы уперлись в них, а края их зажглись ярким кованым золотом. На юге глубина неба безмятежно ясна. Жаворонки. И все так привольно, зелено кругом.

Деревня Басово в хлебах.

1894

[Конспект:]

В начале января вернулся из Москвы в Полтаву. «Аркадий». От Николаева (?)

В апреле в «Рус[ском] Богатстве» «Танька» (?)
Вечер 19 Мая, Павленки (на даче под Полтавой), дождь, закат (запись: «Пришел домой весь мокрый...»)

15 Авг., Павленки, сидел в саду художника Мясоедова (запись: «Солнечн[ый] ветр[еный] день...») В. в Ельце.

Осенью квартира на Монастырской.

20 Окт. (с. стилия), в 2 ч. 45 м. смерть Александ-
ра III в Ливади. Привезен в Птб. 1 ноября. Стоял
в Петропавл[овском] соборе до 7 ноября (до по-
хор[он]¹).

4 Ноября — бегство В².

Вскоре приехал Евгений³. С ним и с Юлием в Ог-
невку, Елец, Поповская гостиница.

Я остался в Огн[евке]. До каких пор?

[Записи:]

Вечер 19 мая 94 г. Павленки (предместье Пол-
тавы).

Пришел домой весь мокрый, — попал под
дождь — с отяжелевшими от грязи сапогами. Про-
шел сперва с нашей дачи к пруду в Земском саду,
— там березы, ивы с опущенными длинными мок-
рыми зелеными ветвями. Потом пошел по дороге
в Полтаву, глядя на закат справа. Он все разго-
рался — и вдруг строения города на горе впереди,
корпус фабрики, дым трубы — все зажглось крас-
ной кровью, а тучи на западе — блеском и пурпу-
ром.

15 Авг. 94, Павленки.

Солнечный ветр[еный] день. Сидел в саду ху-
дожника Мясоедова (наш сосед, пишет меня), в ал-
лее тополей на скамейке. Безоблачное небо широ-
ко и свежо открыто. Иногда ветер упал, свет и
тени лежали спокойно, на поляне сильно пригре-
вало, в шелковистой траве замирали на солнце бе-
лые бабочки, стрекозы с стеклянными крыльями
плавали в воздухе, твердые темнозеленые листья
сверкали в чаще лаковым блеском. Потом начи-
нался шелковистый шелест тополей, с другой сто-
роны, по вершинам сада, приближался глухой
шум, разрастался, все охватывал — и свет и тени

бежали, сад весь волновался... И снова упал ветер, замирал, и снова пригревало.

1895

[Конспект:]

В январе в первый раз приехал в Птб. Михайловский, С. Н. Кривенко¹, Жемчужников².

Потом? Москва, Бальмонт, Брюсов³, Эртель, Чехов (оба в Б[ольшой] М[осковской] гостинице).

Март: Москва, номера в конце Тверск[ого] бульвара, с Юлием. Солнце, лужи.

В «Р[усской] Мысли» стихи «Сафо», «Веч[ерняя] молитва».

[О днях, проведенных в Москве, Бунин впоследствии писал⁴:]

«Старая, огромная, людная Москва», и т. д. Так встретила меня Москва когда-то впервые, и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение...

Это *начало* моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренне самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой. [...]

[В продолжении конспекта за 1895 г. Бунин пишет:]

Летом — Полтава (?)⁵. Поездка на отправку переселенцев с Зверевым. Написал «На край света» (когда?) Напечатали в «Нов[ом] Слове» в октябре.

В декабре — Птб., вечер в Кредитном Обществе. Номера на Литейном (?)

Привез «Байбаки»⁶.

Федоров, Будищев, Ладыженский, Михеев; Михайловский, Потапенко, Баранцевич, Гиппиус, Мережковский, Минский, Савина (это на вечере в Кред. О-ве); Сологуб (утром у Федорова), Елпатьевский, Давыдова («Мир Божий» на Лиговке). Муся, Людмила (дочь Елпатьевского). Васильевск[ий] Остров. Попова, ее предложение издать «На край света»⁷.

[О вечере в Кредитном Обществе Бунин впоследствии писал⁸:]

Первое мое выступление на литературных вечерах было в начале зимы 95 г. в Петербурге, в знаменитом зале Кредитного Общества.

Незадолго перед этим, в первой книжке народного журнала «Новое Слово» под редакцией С. Н. Кривенко... я напечатал рассказ «На край света» — о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхваливали, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское общество «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге — в первый раз в жизни...

Я, конечно, читал «На край света» и опять, благодаря этим несчастным переселенцам (да и новизне своего имени), имел большой успех. [...]

[О своих впечатлениях Бунин вспоминает⁹:]

Мои впечатления от петербургских встреч были разнообразны, резки. Какие крайности! От Григоровича и Жемчужникова до Сологуба, например!

[О тогдашних встречах Бунина рассказывает Вера Николаевна:]

В этот приезд [в Петербург] у него заводятся знакомства среди молодых писателей: Федоров, по-

эт, романист, впоследствии и драматург, очень в себе уверенный сангвиник, подвижной, любящий путешествия; поэт и левый земский деятель Ладыженский, — милый наш Володя, человек редкой души. Он был маленького роста, владел крупным имением в Пензенской губернии; Михеев, необыкновенной толщины, — его я не встречала, — знаток иностранной литературы, очень образованный и умный сибиряк; Будищев — которого я тоже никогда не видала и не имею о нем представления; Потапенко, — с ним я познакомилась в каком-то петербургском ресторане, куда мы однажды поздно ночью заехали с Иваном Алексеевичем. Он сидел один и пил красное вино. Меня поразили его странный синеватый цвет лица. А в пору их первых встреч он был красив, молод, хорошо пел, имел большой успех в литературе, и у женщин. Баранцевича, Гиппиус, Мережковского, Минского, как и артистку Савину, и Вейнберга с Засодимским он увидал на вечере в пользу переселенцев. [...]

Младшая дочь Давыдовой¹⁰, еще совсем молоденькая, с горячими глазами, живая брюнетка, очень остроумная, вечно хохотавшая Муся, Бунину понравилась и они подружились «на всю жизнь». У них или в редакции «Русского Богатства» он познакомился с Елпатьевским, писателем, врачом и политическим борцом, побывавшим в сибирской ссылке, человеком большой привлекательности.

Его дочь Лёдя или Людмилочка, подруга Муси, в первый год знакомства с Буниным еще была гимназисткой. И они тоже «подружились на всю жизнь».

Издательница О. Н. Попова предложила выпустить книгу рассказов Бунина «На край света»,

и он получил аванс, что очень его окрылило. Он почувствовал себя настоящим писателем¹¹. (...]

1896

[Конспект 1896 начинается абзацем, у которого синим карандашом рукой Бунина приписано: «Это в дек. 1896 г.», поэтому я сперва привожу второй абзац.]

Из Птб. был в Ельце на балу в гимназии (?) — уже «знаменитостью».

Когда познакомился и сошелся с М. В.^{1?}

Дальше — по записям: 29 Мая вечером с М. В. приехал в Кременчуг. Почти всю ночь не спали. На другой день уплыл в Екатеринослав (она — в Киев?)²

31 мая из Екатеринослава через «Пороги» по Днепру.

1 июня — Александровск — и вечером оттуда в Бахчисарай.

Бахчисарай, Чуфут, монастырь под Бахчисараем.

Байдары, ночевка в Кикинеизе. Ялта, Аю-Даг. В Ялте Станюкович³, Мирон (Миролубов)⁴.

9 июня — в Одессу (к Федорову?)

14 июня из Одессы до Каховки (на пароходе по Днепру?). Никополь.

Где был до Сентября?

По записям:

В ночь с 15 на 16 Сент. из Екатеринослава в Одессу, к Ф [едорову]. 26 Сент. уехал через Николаев на пароходе (очевидно, в Полтаву).

[Среди записей 1896 года сохранилось описание поездки Бунина:]

Днепровские Пороги (по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года).

Екатеринослав. Под Ек., на пологом берегу Днепра, Лоцманская Камянка. Верстах в 5 ниже — курганы: Близнецы, Сторожевой и Галаганка — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну в землю и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — Пороги: первый, самый опасный — Неяситец (или Нена-сьтец); потом, тоже опасные: Дед и Волнич; за Волн [ичем], в 4 верстах, последний опасный — Будило, за Б[удилом] — Лишний; через 5 верст — Вильный; и наконец — Явленный. [...]

[Об осени 1896 следующие записи:]

С 15 на 16 Сент. из Екатеринослава в Одессу. Лунная ночь, пустые степи.

Вечером 16 Одесса, на извозчике к Федорову в Люстдорф.

Ночью ходили к морю. Темно, ветер. Позднее луна, поле лунного света по морю — тусклое, свинцовое. Лампа на веранде, ветер шуршит засохшим виноградом. (Киппен?)

17 Сент. Проводил Ф[едорова] в Одессу, ветер, солнце, тусклоблестящее море, берег точно в снегу. [...]

21 Сент. Тишина, солнечн [ое] утро, пожелтевш[ий] плющ на балконе, море ярко-синее, все трепещет от солнца. Хрустальная вода у берега. Сбежал к морю, купался.

26 Сент. Уехал на Николаев. Синее море резко отделяется от красных берегов.

[Первый абзац конспекта, согласно приписке Бунина, относящийся к декабрю 1896 г.:]

Птб., Литейный, номера возле памятника Ольденбургского в снегу. Горничная. [...]

[Конспект:]

Январь. Петербург, выход «На край Св[ета]».
Именины Михайловского, потом Мамина¹ (в Царском Селе).

Михеев в снегу на вокзале.

Встреча с Лопатиной² в редакции «Нов[ого] Слова» (?).

Из Птб. в Ельце на балу³.

Огневка.

11 Марта — «еду из Огневки в Полтаву...» (по записи).

30 Апр. из Полтавы в Шишаки (по записи).

Тоже по записи:

24 Мая из Полтавы в Одессу к Федорову через Кременчуг — Николаев, оттуда по Бугу.

Есть еще запись 29 Мая — у Федорова в Люстдорфе.

[Записи, о которых упоминает в конспекте Бунин, сохранились в архиве:]

11. III. 1897.

Еду из Огневки в Полтаву. Второй класс, около одиннадцати утра, только что выехал с Бабыркиной. Слепительно светлый день, серебряные снега. Ясная даль, на горизонте перламутрово-лиловые, точно осенние облака. Кое-где чернеют лесочки. Грустно, люблю всех своих.

[Сохранился и вариант этой записи, в котором есть продолжение: В Крыму на татарских домах крупная грубая черепица.]

30 Апреля 1897 г., Полтава.

Из Полтавы на лошадях в Шишаки. Овчарни Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за

ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, на-
беленная, нарумяненная, старая, хрипит и кокет-
ничает. Докторша, «хочет невозможного».

Миргород. Там ночевал.

24 Мая 1897 г.

Из Полтавы в Одессу, к Федорову.

Кременчуг, мост, солнце низкое, желто-мут-
ный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых
только хлебами. Думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя. Пшени-
цы, черная грязь дорог.

Николаев, Буг. Ветренно и прохладно. Низкие
глиняные берега. Буг пустынен. Устье, синяя туча,
громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из
под боков парохода развалы воды, бегут сквозь ре-
шетку палубы. Впереди море, строй парусов.

29 Мая.

Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, вол-
нуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца
начался от берега.

Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на
скалах возле прибоя. Море кажется выше берега,
на котором сидишь. Шел берегом — в прибое ле-
жала женщина.

Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смот-
рел на синюю пустыню моря.

1898

[Конспект:]

Начало зимы, зима — где?

Ранней весной, кажется, в Москве, в «Столи-
це». Лопатина¹.

Где весной?

Начало лета — Царицыно.

Прощание поздним вечером (часу в одиннадцатом, но еще светила заря, после дождя), прощание с Л[опатиной] в лесу. Слезы и надела на меня крест (иконку? и где я ее дел?)

В конце июня уехал в Люстдорф к Федорову. Куприн², Карташевы³, потом Цакни⁴, жившие на даче на 7-ой станции. Внезапно сделал вечером предложение. Вид из окон их дачи (со 2-го этажа). Аня играла «В убежище сюда...» [сада? — М. Г.] Ночуя у них, спал на балконе (это уже, кажется, в начале сентября).

23 Сентября — свадьба⁵.

Жили на Херсонск[ой] улице, во дворе.

Уваль, ее глаза за ней (черной). Пароходы в порту. Ланжерон. Беба⁶, собачка. Обеды, кефаль, белое вино. Мои чтения в Артистич[еском] клубе, опера (итальянская).

«Пушкин»⁷, Балаклава. Не ценил ничего!

Ялта, гостиница возле мола. Ходили в Гурзуф. На скале в Гурз[уфе] вечером.

Возвращение, качка.

В декабре (или ноябре?) в Москву с Аней. Первое представление «Чайки» (17 дек.), мы были на нем. Потом Птб., номера на Невском (на углу Владимирской). Бальмонт во всей своей молодой наглости.

Первое изд. «Гайаваты»⁸.

Лохвицкая?

«Без роду-племени» — где и когда писал? Кажется, в Одессе, после женитьбы. [Эти слова приписаны синим карандашом, почерком Бунина. — М. Г.] В Нивск[ом] издании этот рассказ помечен 97-м годом.

Когда с Лопатиной по ночлежным домам?

16 Ноября — юбилей Златовратского в Колонной зале в «Эрмитаже» (в Москве).

[Конспект:]

Весной ездил в Ялту (?). Чехов, Горький¹, Мусья Давыдова и Лопатина.

[...] Летом — в «Затишьи», в имени Цакни. Разрыв. Уехал в Огневку. Вернулся осенью (кажется, через Николаев, в солн[ечное] раннее утро). Род примирения. Солнечный день, мы с ней шли куда-то, она в сером платье. Ее бедро. [...]

[Это примирение было, однако, кратковременным. 14. 12. 1899 Бунин пишет брату Юлию:]

[...] дни Ани проходят в столовой в компании, вечера так: 6-го была «Жизнь за царя»; 7-го вечер пришла Зоя и некий Яковлев, сидела в столовой, 8-го — репетиция, 9-го — мы были все в Клубе, 10-го — репетиция, 11-го — на балу с 10 вечера до 7 ч. утра, 12-го назначена была «Жизнь за царя» — заболела певица, отложили, но вечером Аня ушла к Зое, вчера легла в 7 часов вечера спать, сегодня уехала с Э. П. на какое-то заседание, завтра — вечером репетиция, послезавтра — тоже, в пятницу у нас журфикс, в субботу — репетиция, в воскресенье «Жизнь за царя» — убогое жалкое представление. Затем на 27, на 6 и 15 янв. тоже «Жизнь за царя» — значит будут репетиции, кроме того драматические спектакли, затем — думают ставить «Русалку». Буквально с самого моего приезда Аня не посидела со мной и полчаса — входит в нашу комнату только переодеться. [...] Ссоримся чрезвычайно часто. [...]

Для чего я живу тут? Что же я за презренный идиот — нахлебник. Но главное — она беременна. Это факт, ибо я знаю, что делал. [...]

Юлий, пожалей меня. Я едва хожу. Ничего не пишу, нельзя от гама и от настроения. Задавил себя,

но не хватает сил — она груба на самые мои горячие нежности. Я расшибу ее когда-нибудь. А между тем иной раз сильно люблю². [...]

1900

[Конспект:]

Зимой репетиции у Цакни «Жизни за Царя». В январе ее беременность.

В начале марта полный разрыв, уехал в Москву.

Доктор Рот¹.

Весна в Огневке. «Листопад»².

[На полях синим карандашом приписано: «Худ. Театр был в Ялте на Пасхе 1900 г.»]

Лето в Ефремове? Письмо Горькому из Ефремова в конце августа.

В Москве осенью дал ему «Листопад» для «Нов[ой] Жизни». Поссе³. Писал «Антоновск[ие] яблочки».

«В Овраге» Чехова в «Нов[ой] Жизни».

В октябре я в Одессе. Отъезд с Куровским⁴ за границу: Лупов — Торн — Берлин — Париж — Женевское озеро — Вена — Петербург.

[Из Одессы 10 октября 1900 года Бунин пишет брату:]

Милый и дорогой Юринька! Еще в Одессе, задержал Куровский. Уезжаем завтра при чем маршрут изменен: едем на Берлин прямо в Париж, откуда через Вену. В субботу зашел в редакцию «Южного обозрения», хотел поговорить с Цакни. Не застал. Тогда послал посыльного к Анне, написал следующее: «Сегодня в 5 ч. зайду, чтобы видеть ребенка. [...]» [...] Я спросил: «Кажется были тяжелые роды?» — «Да». Внесли ребенка. Дай ему

Бог здоровья, очень, очень тронул он меня: милый, хорошенкий, спокойный, только голову держит что-то на бок. [...] Затем спросил, как зовут — Николай, но еще не крестили. [...]»⁵

[Продолжение конспекта:]

Потом я в Москве. «Среда» художников⁶.

В конце декабря я у Чеховой. Чехов за границей. Ночь у какой-то.

[О пребывании Бунина у сестры А. П. Чехова, Марьи Павловны, рассказывает Вера Николаевна⁷:]

«Евгения Яковлевна [мать Чехова. — М. Г.] полюбила гостя и закармливала его, а с Марьей Павловной у Ивана Алексеевича возникала дружба.

Они ездили в Учан-Су, Гурзуф, Су-Ук-Су. Марья Павловна рассказывала о юности и молодости брата, о его неистощимом веселье и всяких забавных выдумках, о Левитане, которого она талантливо копировала, подражая его шепелявости, — он, например, вместо Маша, произносил Мафа, — о его болезненной нервности, психической неустойчивости. Поведала и о том, что «ради Антоши» она отказалась выйти замуж:

— Когда я сообщила ему о сделанном мне предложении, то по лицу его поняла, — хотя он и поздравил меня, — как это было ему тяжело... и я решила посвятить ему жизнь...

Рассказывала и о увлечениях Антона Павловича, иногда действительных, иногда воображаемых. Он был очень скрытен и о своих сердечных делах никому вообще не говорил. [...]

В такой спокойной обстановке, полной забот о нем, Иван Алексеевич еще никогда не жил. [...]

1901

[Конспект:]

В «Нивском» изд. помечены этим годом: «Новый год», «Тишина», «Осенью», «Новая дорога», «Сосны», «Скит», «Туман», «Костер», «В августе». Когда писал «Перевал»? [...]

В Январе 1901 г. я все еще жил у Чеховой. Моя запись: «Зима 1901 г., я у Чеховой... Су-Ук-Су...»

31 Янв. в Москве первое предст[авление] «Трех сестер». Арсений (чеховский слуга) из Ялты Марье Павловне по телефону: «Успех огромный». [...]

Числа 15 февр. Чехов вернулся из-за границы. Я переехал в гостиницу «Ялта». Покойница. [...]

Как-то в сумерки читал ему его «Гусева». Он сказал: «я хочу жениться».

[На оборотной стороне этого листка записано:]

Кульман¹, Елпатьевский², Массандра. Вера Ивановна. (В Сентябре, в Ялте).

Паша-гречанка. «Грузинская царевна» (уже забыл, как звали!).

Бегство в Москву через Симферополь (до С. на ямщицкой тройке).

В ноябре в Крыму Толстой. [...]

[К 1901 году относятся несколько записей:]

Крым, зима 1901 г. На даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичн[ая] скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское. Провалы в облаках — там какая-то дивная, неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-Ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

[Еще запись:]

Весной 1901 г. мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости к начальнице женской ялт[инской] гимназии, Варваре Константиновне Харкеевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы пришли к ней и не застали дома. Пошли в столовую, к пасхальному столу и, веселясь, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: «Давай, напишем и оставим ей на столе стихи». И стали, хохоча, сочинять и я написал:

В столовой у Варв. Константины
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки
И вдруг ото всего ни крошки ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.

1902

[Конспект:]

В Январе репетиция «Мещан» Г[орько]го. 20 Янв. Чехов пишет кому-то: Умер Соловцов... Оч. болен Толстой... Я привез «Детей Ванюшина»...

Я в Ялте?

31 янв. Чехов кому-то: «Осенью Бунина написано несвободно...»

Я в Птб.? Предложение Куприна Мусе Д[авыдовой]?

Февраль. Чехов кому-то: «Горький в Крыму» (кажется, у Токмаковых, на даче «Нюра»). Я в Одессе. Приезд туда «молодых» Андреевых¹ (в конце февраля). [...]

24 Марта, Чехов: «В Ялту приезжают Бунин и Нилус²». С нами в Ялте был Телешов³. Нилус писал портрет Чехова. — Художник Ярцев, Варв. Конст. Харкеевич. Привезли больную Книппер.

Июль. Я под Одессой, на даче Гернета (есть запись).

Когда Вера Климович?

В сентябре: умер Зола; в Одессе чума. Очевидно, это тогда (в августе, вероятно) уплыл от чумы на пароходе из Одессы в Ялту.

Чехов, 26 сент: «Был Куприн, женатый на Давыдовой. Жена беременна».

20 Дек., Чехов: «На дне [Горького. — М. Г.] имело большой успех». Я был на первом представлении. Был весь конец осени в Москве?

Макс Ли? «Белый Негр»?

Карзинкин издал мои «Нов[ые] стихотворения».

[Запись от 6 июля 1902 года, сделанная в Одессе на даче Гернета (13-ая станция первого трамвая от Одессы на Большой фонтан).]

2 1/2 часа. Моя беленькая каморка в мазанке под дачей. В окошечко видно небо, море, порою веет прохладным ветром. Каменистый берег идет вниз прямо под окошечком, ветер качает на нем кустарник, море весь день шумит; непрерывно понижающийся и повышающийся шум и плеск. Сюга идут и идут, качаются волны. Вода у берегов зеленая, дальше синевато-зеленая, еще дальше — лиловая синева. Далеко в море все пропадает и возникает пена, белеет, как чайки. А настоящие чайки опускаются у берега на воду и качаются, качаются, как поплавки. Иногда две-три вдруг затрепещут острыми крыльями, с резким криком взлетят и опять опустятся. [...]

[Конспект:]

1 Янв., Чехов: «Бунин и Найденов¹ в Одессе. Их там на руках носят». Мы с Н. жили в «Крымск. гост.» — Федоров и Лиза Дитерихс².

1 февр., Чехов: «Андреева 'В тумане' хорошая вещь». Когда Андр[еев] рассказывал мне тему этого рассказа?

16 февр., Чехов: «Бунин почему-то в Новочеркасске». Я был там у матери и Маши³.

Март — я в Ялте.

14 марта Чехов: «Тут М-те Голоушева⁴». Я там с Федоровым и Куприным.

В начале апреля я с Федор[овым] уплыл в Одессу. Чехов: «Купр[ин] тоже уехал — в Птб». (Кажется, в Ялте был и Андреев).

Когда Елена Васильевна?

9 апреля я уплыл из Одессы в Константинополь.

[В архиве сохранилась копия (набросок?) письма Бунина брату. Письмо переписано на машинке, местами правка черными чернилами, рукой Бунина⁵.]

Константинополь, 12 Апр. 1903 г. Вечер.

Милый Юлинька,

Выехал я из Одессы 9 Апр., в 4 ч. дня, на пароходе «Нахимов», идущем Македонским рейсом, т. е. через Афон. В Одессу мы приехали с Федоровым 9-го же утром, но никого из художников, кроме Куровского, я не видел. Да и Куровский отправлялся с детьми на Куликово Поле — народное гулянье — так что на пароход меня никто не провожал. Приехал я туда за два часа до отхода и не нашел никого из пассажиров первого класса. Сидел долго один и было на душе не то что скучно, но ти-

хо, одиноко. Волнения никакого не ощущал, но что-то все таки было новое... в первый раз куда-то плыву в неизвестные края... Часа в три приехал ксендз в сопровождении какого-то полячка, лет 50, кругленького буржуа-полячка, суетливого, чуть гоноровитого и т. д. Затем приехал большой, плотный грек лет 30, красивый, европейски одетый, и наконец, уже перед самым отходом, жена русского консула в Битолии (близ Салоник), худая, угловатая, лет 35, корчащая из себя даму высшего света. Я с ней тотчас же завел разговор и не заметил, как вышли в море. «Нахимов» — старый, низкий пароход, но зыби не было, и шли мы сперва очень мирно, верст по 8 в час. Капитан, огромный, добродушный зверь, кажется, албанец, откровенно сказал, что мы так и будем идти все время, чтобы не жечь уголь; зато не будем ночевать возле Босфора, а будем идти все время, всю ночь. Поместились мы все, пассажиры, в рубке, в верхних каютах, каждый в отдельной. За обедом завязался общий разговор, при чем жена консула говорила с ксендзом то по русски, то по итальянски, то французски, и все время кривлялась á la высший свет невыносимо. И все шло хорошо ...медленно терялись из виду берега Одессы, лило вечерний свет солнце на немного меланхолическое море... Потом стемнело, зажгли лампы... Я выходил на рубку, смотрел на еле видный закат, на вечернюю звезду, но не долго: на верху было очень ветрено и продувало прохладой сильно. Часов в 10 ксендз ушел с полячком спать, грек тоже, а я до 12 беседовал с дамой — о литературе, о политике, о том, о сем... В 12 я лег спать, а утром, солнечным, но свежим, проснулся от качки, умылся, выпил чаю, пошел на корму... поглядел на открытое море, на зеленоватые, тяжелые волны, которые, раскатываясь все шире, уже порядочно покачивали паро-

ход, и почувствовал, что мне становится нехорошо — и чем дольше, тем хуже. [...] Затем заснул и проснулся в 11 ч. Балансируя, пошел завтракать, съел кильку, выпил рюмку коньяку, съел икры паюсной немного — и снова поплелся в каюту. Завтракал только капитан и полячок. Остальные лежали по каютам, и так продолжалось до самого входа в Босфор. Пустая кают-компания, утомительнейший скрип переборок, медленные раскачивания с дрожью и опусканиями — качка все время была боковая — тупой полусон, пустынное море, скверная серая погода... Проснусь, — ежеминутно засыпал, спал в общем часов 20, — выберусь на рубку, продрогну, почувствую себя снова еще хуже — и опять в каюту, и опять сон, а временами отчаяние: как выдержать это еще почти сутки? Нет, думаю, в жизни никогда больше не поеду. К вечеру мне стало лучше, но дурной вкус во рту, полное отсутствие аппетита, отвращение к табаку и тупая сонливость продолжались все время. К тому же солнце село в тучи, качка усилилась — и чувство одиночества, пустынности и отдаленности от всех близких еще более возросло. Заснул часов в семь, снова выпил коньяку, — за обедом я съел только крохотный кусок барашка, — изредка просыпался, кутался в пальто и плед, ибо в окна сильно дуло холодом, и снова засыпал. В 2 часа встал и оделся, падая в разные стороны: в 4 часа, по словам капитана, мы должны были войти в Босфор. Выбрался из кают-компания к борту — ночь, тьма и качка — и только. Сонный лакей говорит, что до Босфора еще часа 4 ходу. Каково! В отчаянии опять в каюту и опять спать. Вышел в 4 часа — холодный серый рассвет, но не признака земли, только вдали раскиданы рыбацьи фелюги под парусами... кругом серое холодное море, волны, а внизу — скрип, качка и холод... Снова заснул... От-

крыл глаза — взглянул в окно — и вздрогнул от радости: налево, очень близко, гористые берега. Качка стала стихать. Выпил чаю с коньяком — и на рубку. Скоро сюда пришли и остальные, за исключением дамы, солнце стало пригревать, и мы медленно стали входить в Босфор...

До завтра, пора спать, 1/2 десятого. В противоположном доме, который от Подворья отделен улицей в 2 шага, музыка. Что-то [...] заунывно страстное. Играют, не знаю, на чем, — как будто на разбитом фортепиано... Теперь заиграли польку... В Подворьи тишина.

13 Апр. (воскресенье) 1903

Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где, почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. Похоже немного на Швейцарию... Подробно все расскажу при свидании, а пока буду краток. Босфор порастил меня красотой. К[онстантинополь] тоже. Часов в 10 мы стали на якорь, и я отправился с монахом и греком Герасимом в Андреевское Подворье. В таможене два турка долго вертели в руках мои книги, не хотели пропускать. Дал 20 к — пропустили. В Подворьи занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню.

[Продолжение конспекта:]

Где я весной и летом? В Огневке? Летом, конечно, в Огневке, переводил «Манфреда»⁶.

Конец сентября — я в Москве: Чехов из Ялты сестре (или Книппер?): «Скажи Бунину...»

В октябре — я тоже в Москве: Чехов 28 октября: «Бунину и Бабурину привет». Бабурин — Найденов.

[Впоследствии Бунин писал о Найденове⁷:]

[...] Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава, — именно свалилась⁸ — быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили — то в Петербург, то на юг, то за границу... В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской наивности. [...]

[Продолжение конспекта:]

Любочка?

Декабрь — я в Москве, последние встречи с Чеховым⁹. Репетиции «Вишневого сада». Макс Ли¹⁰. (В ном[ерах] Гунста первая ночь — в это время или раньше?) Тут, кажется «Чернозем»¹¹.

24 Дек. мы с Найденовым уехали в Ниццу. Макс с нами — до Варшавы. Мы в Вену, она в Берлин¹².

[Теперь в сохранившихся конспектах Бунина наступает перерыв в несколько лет.

В 1904 году Бунин потерял сына, одаренного мальчика, умершего после скарлатины. Бунин, разлученный с сыном, нежно любил его всю жизнь.]

1905

[Записи, относящиеся к 1905 году, привожу по книге Веры Николаевны¹, так как оригиналов в архиве не нашла.]

В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября я последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей

Павловной и «мамашей», Евгеньей Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно и очень нелегко для меня: всё вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете — было, как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно всё осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресение» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной.

[17-го октября 1905 года, узнав о революции, Бунин решил поспешно уехать из Ялты.]

«Ксения» 18 Октября 1905 года

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни всё время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М. П. и мамашей (Евгенией

Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна² стала кричать мне в неё, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действует телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава Богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский Вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский Вестник». Возле редакции несколько человек чего-

то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел, наконец, манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса 19 октября.

Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, всё возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет и эти зеленые горы воды и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидел во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и всё везде пусто:

лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерibasовской. Нашел только «Ведомости Градоначальства». Воззвание градоначальника, — призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного Обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли». — Почему? — «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» — «Да ведь могут голову проломить?» — «Могут. Понесут по Преображенской».

Пока пошел к Нилусу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет, и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Буковецкого³ узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба... Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вече-

ром мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент — оборванный совсем до гола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на заматанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь всё везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман. Возле дома Городского музея, где живет Куровский, — он хранитель этого музея, — в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея — большой трехэтажный — стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер «Ведомостей Одесского Градоначальства». В городе пусто, только санита-

ры и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.

В сумерки глядели из окон на зарево — в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режут». Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.

Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому — город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики...

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, запыхаясь, сообщила, что видела собственными глазами — идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, — ходили по деревням и по Молдаванке — «политики» и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, всё с той же целью — громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, — возле гостиницы «Империаль» они увидели кого-то в окне, остановили фургон и дали залп, по всему фасаду.

— Я спросил: по ком это вы? — «На всякий случай».

Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах — «о смягчении сердец».

Был художник Заузе и скульптор Эдвардс. Говорили:

— Да, с хуторов идут...

— На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски...

По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь.

«Южное Обозрение» разнесено вдребезги, — оттуда стреляли...

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: «Встать, ура государю императору!» И все в конке поднимаются и отвечают: «Ура!» — сзади спокойно идет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе «по требованию населения», то-есть, думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на Слободке Романовке «почти не осталось жидов!».

Эдвардс говорил, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первымходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на Слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу думы в Петербург о том, что происходит.

Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин, — знаменитый спортсмен, — при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика еврея, кинулся вырывать его у них из рук... «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела — привезли их целые две платформы, положили в степу — от несчастные, Господи! Трусятся, позамерзли. Их сами козаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели...»

Русь, Русь!

1906

[Москва, Васильевское, Ефремов, где Бунин встречал 1906 год, опять Москва, Петербург и опять Васильевское (Глотово), Ефремов и Москва.]

[24 ноября 1906 г. Бунин пишет П. Н. Нилусу:^{1]}

Петр, прости Христа ради! Такой беспутной осени и не запомню. Я опять в Москве, — был только на минуту в деревне, — адрес все тот же. [...] Завтра узнаю о твоём рассказе у Крашениникова. Немедленно присылай новый. Я устал и боюсь, что не дождусь тебя здесь, — уеду в деревню. [...]

[Но в эту «беспутную» осень произошла встреча с Верой Николаевной Муромцевой, с которой Бунин делил всю последующую жизнь. 4 ноября они встретились на литературном вечере. Вера Николаевна рассказывает в «Беседах с памятью»:²]

[...] Взбежав на четвертый этаж, я, чтобы перевести дух, остановилась у приотворенной двери квартиры Зайцевых³ и увидела в передней груды верхней одежды.

Доносилось невнятное чтение Вересаева. [...]

После Вересаева быстро занял его место Бунин и я услышала опять его хорошо поставленный голос.

Читал он просто, но каждый стих вызывал картину. [...]

После чтения хозяйка со свойственной ей живостью пригласила всех закусить. [...]

Разместились в большой тесноте. Я была знакома почти со всеми.

Привлекал меня Бунин. С октября, когда я с ним встретилась у больного поэта Пояркова, он изменился, похудел, под глазами — мешки: видно было, что в Петербурге он вел, действительно, нездоровый образ жизни, да и в Москве не лучше.

Я вспомнила его в Царицыне, когда впервые, почти десять лет назад, увидела его в погожий июньский день около цветущего луга, за мостом на Покровской стороне, с Екатериной Михайловной Лопатиной. Тогда под полями белой соломенной шляпы лицо его было свежо и здорово. [...]

Наговорившись и нахохотавшись, шумно поднялись, и столовая опустела. Я перешла к противоположной стене и остановилась в раздумье: не отправиться ли домой?

В дверях появился Бунин.

— Как вы сюда попали? — спросил он.

Я рассердилась, но спокойно ответила:

— Так же, как и вы.

— Но кто вы?

— Человек.

— Чем вы занимаетесь?

- Химией.
— Как ваша фамилия?
— Муромцева.
— Вы не родственница генералу Муромцеву, помещику в Предтечеве?
— Да, это мой двоюродный дядя.
— Я иногда выдаю его на станции Измалково.

Мы немного поговорили о нем. Потом он рассказал, что в прошлом году был в Одессе во время погрома.

- Но где же я могу вас увидеть еще?
— Только у нас дома. Мы принимаем по субботам. В остальные дни я очень занята. [...]

В воскресенье, после зайцевского вечера, можно было выспаться. Днем к нам забежала Верочка и сообщила, что они вчера все отправились в «Большой Московский». Передала, что Бунин в следующую субботу приедет к нам вместе с ними, и вихрем куда-то умчалась. [...]

[Завязалась дружба, начался роман:]

[...] Мы уже начали с Иваном Алексеевичем видаться ежедневно: то вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника, бывали и на концертах, иногда я забегала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным шкапом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами. [...]

1907

[Конспект:]

До середины января я в Васильевском. Потом в Москве.

Вечер в Воронеже?

Сборники «Новое Слово», Крашениникова. Я их редактор. В феврале был в Птб. Зачем? Потом Москва. Вечер в Консерватории, читал «Дж[ордано] Бруно»¹ и другое. Приезд Федорова. «Стена» Найденова (?).

Во второй половине² февраля уехал в Васильевское. В Марте возвратился и ездил в Птб. Зачем?³

10 Апр. отъезд с В[ерой] в Палестину.

Возвратились в конце мая.

[Вера Николаевна рассказывает в «Беседах с памятью»:⁴

В марте я наконец решилась поговорить с папой и как-то днем, вероятно, в воскресенье или в праздник, войдя к нему, сказала:

— Знаешь, я с Буниным решила совершить путешествие по Святой Земле.

Он молча встал, повернулся ко мне спиной, подошел к тахте, над которой висела географическая карта, и стал показывать, где находится Палестина, не сказав мне ни слова по поводу моего решения связать с Иваном Алексеевичем мою жизнь. [...]

И вот наступил день 10 апреля 1907 года⁵, день, когда я резко изменила свою жизнь: из оседлой превратила ее в кочевую чуть ли не на целых двадцать лет.

Начались наши странствия со Святой Земли. [...]

Выехали мы из Москвы вечером. [...]

На вокзал я ехала с мамой. [...]

Когда мы приехали, Ян был там с братом Юлием Алексеевичем и двумя племянниками Пущешниковыми. [...]

На Одесском вокзале нас встречает Нилус в цилиндре и бежевом пальто.

— Простите, что без цветов, — говорит он, целуя мою руку. — Иван телеграфировал: «приезжаем», а с кем — неизвестно. Я и подумал, что опять с Телешовым. [...]

[Там же, в «Беседах с памятью», Вера Николаевна подробно описывает их поездку⁶. Первый этап — Босфор, Константинополь, затем Стамбул, Галлиполи, Дарданеллы, Афины.]

К полудню мы прошли мимо Крита. Море терялось в лиловых далах. Мы долго сидели в креслах на спардеке, говорили о том, что завтра Африка, Египет, Александрия... [...]

[И, наконец:]

На горизонте показалась полоска земли, ко мне подошел Ян, и мы стали, молча, смотреть. — Яффа! — сказал он с волнением.

[Из Яффы они направляются в Иерусалим, вместе с музыкантом Д. С. Шором, с которым познакомились на пароходе. Шор ехал с отцом, старозаветным евреем, хотевшим перед смертью совершить паломничество в Палестину.]

Пансион небольшой. Комната наша во втором этаже выходит на какую-то крытую галерею. На притолке у двери прибита деревянная коротенькая трубочка. Ян объяснил мне, что в ней заключаются десять заповедей⁷.

Вечером мы выходим побродить, без всякой определенной цели. Доходим до западной стены, идем вдоль нее. Ян говорит о Христе.

Дома он вынимает Евангелие и дает Его мне, советуя читать особенно серьезно. [...]

[Осмотр Иерусалима, где все «строже, серьезнее», чем в Константинополе, Александрии, даже Яффе. Гроб Господень, Елеонская гора, Иоса-

фова долина, Гроб Богоматери, Гефсиманский сад, «Виа долороза».

Поездка в Хеврон, а по дороге туда — Вифлеем.

Из Хеврона возвращаются другим путем, чтобы «поклониться могиле Рахили».

Сохранилась запись Бунина, относящаяся к этой поездке:]

23 Апреля 1907 г.

На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками. Но горит, трещит только одна из них. Старик Шор зашел за большую гробницу, беленую мелом, прислонился к стене и начал, качаясь, молиться.

Наш извозчик еврей из Америки. Когда вышли, услышали крик в темноте возле нашей повозки: он чуть не подрался с каким-то проезжим, дико ругался, не обращал ни малейшего внимания на гробницу своей праматери.

[Вифания, Гора Испытания, Иерихон, Иордан, Мертвое море. Затем Сион, могила царя Давида, мечеть Омара, Гроб Господень, горница, где была Тайная Вечеря. Вера Николаевна вспоминает:]

В день отъезда из Иерусалима мы с Иваном Алексеевичем были утром на базаре. Купили провизию для вагона.

Затем уже знакомое: фаэтон, вокзал, маленький поезд, путь в Яффу... [...] Вечером разработка плана дальнейшего путешествия. Выбираем морской путь до Бейрута, а оттуда на Баальбек, Дамаск, Генисаретское озеро, Тивериаду, Назарет, Кайфу, Порт-Саид, Каир и Александрию, из Александрии же прямо в Одессу, из Одессы в Москву, а на лето в деревню⁸.

[Сохранились рукописные записи Ивана Алексеевича, относящиеся к этому времени:]

6 Мая 1907 г.

В час дня от ст. Raijak. Подъем. Среди голых гор дико-кирпичного цвета. Вдоль пути шум потока, деревья в зелени. Идет дождь. Все время теснина. Высоко на горах точно развалины крепостей.

1 ч. 45 м., ст. Serehaya. Зеленая покатая круглая равнина. Деревья, посевы, деревни с плоскими глиняными крышами. Кругом горы. Сзади огромная голая гора на фоне дождевой тучи и далекая лиловая гора. Возле станции, налево, тоже горы, дико-фиолетовые, в пятнах снега. Прохладно, скоро перевал.

По долине в зеленых посевах. Справа глиняные холмы. Слева скалистые горы. Впереди — исполинский величавый кряж — серебро с чернью. Перевалы пошли вниз...

Спуск. Земля [? — М. Г.] кирпично-глинистая. В посевах — женщины в чем-то цвета мака.

Ст. Zebdani, вся в садах. Женщины в шароварах, в синих юбках и туфлях, на головы накинута куски темно-лиловой материи.

3 ч. 15 м. Ст. Aiu Fijeh. Поразительная гора над нею. Сады. Перед станцией большие [? — М. Г.] горы, каменно-серо-красноватые.

Тронулись. Теперь кругом горы даже страшные. Шумит зелено-мутная река. Мы едем — и она быстро бежит за нами.

Пошли сады, говорят — сейчас Дамаск.

4 ч. Дамаск.

Огромная долина среди гор, море садов и в них — весь желто- (неразборчиво написанное слово. — М. Г.) город, бедный, пыльный, перерезан-

ный серой, быстро бегущей мутно-зеленоватой Барадой, скрывающейся возле вокзала под землю. Остановились в Hôtel Orient. После чая на извозчике за город. Удивительный вид на Дамаск. Я довольно высоко поднимался на один из холмов, видел низкое солнце и Гермон, а на юге, по пути к Ерусалиму, три сопки (две рядом, третья — дальше) синих, синих. Возвращались вдоль реки — ее шум, свежесть, сады.

7 мая, 9 ч. утра.

На минарете. Вся грандиозная долина и желто-кремовый город под нами. Вдали Гермон в снегу (на юго-западе). И опять стрижи — кружат, сверлят воздух. Город даже как бы светит этой мягкой глинистой желтизной, весь в плоских крышах, почти весь слитный. Безобразные длинные серые крыши галлерей базара.

Потом ходили по этому базару. Дивный фон. Встретили похороны. Шор записал мотив погребальной песни, с которой шли за гробом.

[Вклеена бумажка с мотивом и надписью «Напев при похоронах в Дамаске. Бог, Бог един! Д. Шор. Май 1907 г»]

Магазин Hassan'a.

В 3 часа поехали за город. Пустыни, глиняное кладбище⁹.

Большая мечеть — смесь прекрасного и безобразного, нового. Лучшее всего, как всюду, дворы мечети. Зашли в гости к gidу.

Вечером на крыше отеля. Фиолетовое на Гермоне. Синевя неба на востоке, мягкая, нежная. Лунная ночь там-же. Полумесяц над самой головой.

8 мая.

Проснулся в 5. Выехали в 6¹⁰.

Путь поразительно скучный — голые горы и бесконечная глинистая долина, камень на камне. Ни кустика, ни травки, ни единого признака жизни.

9 ч. 30. Пустыня, усеянная темно серыми камнями. Вдали фигура араба в черной накидке.

10 ч. Строющаяся станция. Пока это только несколько белых шатров. Очень дико. Три солдата-араба в синем, два бедуина, зверски-черных, в полосатых (белое и коричневое) накидках, в синих бешметах, в белых покрывалах, на голове схваченных черными жгутами, босые. Потом опять глинистая пашня, усыпанная камнями. Порой тощий посев. Пашут на волах. И все время вдали серебро с чернью — цепь гор в снегу с Гермоном над ними. Нигде ни капли воды.

2 часа. Тунель. Потом все время спуск в ущелье, среди серо-желто-зеленоватых гор и меловых обрывов, вдоль какой-то вьющейся речки, по берегам которой розовые цветы дикого олеандра (дафля по арабски) и еще какие-то дикие, голубые. Поезд несется шибко. Жарко, весело, речка то и дело загорается серебром.

6 часов, Самак. Пустынно, дико, голо, просто.

Нашли лодку с 4 гребцами (за 10 фр.). Пройдя по совершенно дикарской и кажущейся необитаемой глиняной деревушке, вышли к озеру. Скромный, маленький исток Иордана. Озеро бутылочно-го цвета, кругом меланхолические, коричневые в желтых пятнах горы. Шли сперва на веслах, потом подняли парус. Стало страшно — ветер в сумерках стал так силен, что каждую минуту нас могло перевернуть.

В Тивериаде отель Гросмана, оказалось, весь занят. Пошли ночевать в латинский монастырь. После ужина — на террасе. Лунно, полумесяц над головой, внизу в тончайшей дымке озеро. Ночью в

келье-номере было жарко. Где-то кричал козленок¹¹.

9 мая.

Утром на лодке в Капернаум. Когда подходили к нему (в десятом часу) стало штилеть, желто-серо-зеленые прибрежные холмы начали отражаться в зеркалах под ними зеленоватым золотом. Вода под лодкой зеленая, в ней от весел извиваются зеленые толстые змеи с серебр[яными] поблескивающими брюхами.

Капернаум. Жарко, сухо, очаровательно. У берега олеандры. Развалины синагоги. Раскопки. Монах итальянец.

Из Кап[ернаума] в Табху, на лодке-же. Из гребцов один молодой красавец, другой похож на Петра Ал.¹² в валеной ермолке. Тишина, солнце, пустынно. Холмы между Кап[ернаумом] и Таб[хой] сожженные, желтоватые, кое-где уже созревший ячмень. Возле Т[абхи] что-то в роде водян[ой] мельницы, домишко в ячмене, на самом берегу эвкалипты и два кипариса, молодых, совсем черных. Озеро млеет, тонет в сияющем свете.

В странноприемном немецком доме. Полный штиль. У берегов на востоке четкая, смело и изящно-сильно пущенная полоса, ярко-зеленая, сквозящая. Ближе — водные зеркала, от отраженных гор фиолетово-коричневые. Несказанная красота!

[В. Н. рассказывает об этом вечере¹³.]

Вечерней зарей мы гуляли за монастырем, где колосилась тощая пшеница. Мир, покой и тишина царили над всей, уже позлащенной закатом страной. Мы долго сидели и на самом берегу озера, и золотой шар солнца медленно склонялся к горам, которые казались уже почти бесплотными в своей золотистой дымке.

Ян прочел мне свои новые стихи, которые он написал по дороге из Дамаска о Баальбеке, и сонет «Гермон», написанный уже здесь. Я выразила радость, что он пишет, что он так хорошо передает эту страну, но он торопливо перебил меня:

— Это написано случайно, а вообще еще неизвестно, буду ли я писать...

И перевел разговор на другое. Я тогда не обратила на это его замечание никакого внимания, но оно оказалось характерно для него.

Потом он заговорил о Христе:

— Вот в такие самые вечера Он и проповедывал... Надо всегда представлять прошлое, исходя из настоящего... Правда, зелени здесь было больше, край был заселен, но горы были такие же и солнце садилось все в том же месте, где и теперь, и закаты были столь же просты и прелестны...

Потом он заговорил об апостолах. Он больше всего любит Петра за его страстность. (Я же с детства любила больше всего Иоанна, как самого нежного).

— Петр самый живой из всех апостолов. Я лучше всех его вижу... Он и отрекался, и плакал... и потребовал, чтобы его распяли вниз головой, говоря, что не достоин быть распят так, как Учитель...

Очень интересовал его и Фома. — Хорошо было бы написать о нем, — говорил он. — Это вовсе не так просто, как кажется с первого взгляда, — это желание вложить персты в рану... [...]

[Продолжение записи Бунина:]

Завтрак, сон.

Три часа, сильный теплый западный ветер, зеленое озеро, мягко клонятся в саду мимозы в цветку, пальмочка¹⁴.

На террасу вошел работник в черной накидке на голове и черных жгутах по ней (на макушке), в одной синей рубашке, которую завернул ветер на голых ногах почти до пояса.

Сейчас около шести вечера, сидим на крыше. Ветер стал прохладней, ласковей. Воркуют голуби. Все кругом пустынно, задумчиво, озеро бутылочное, в ряби, которую, сгущая, натемняя, ветер гонит к холмам восточного побережья, из-за которых встало круглыми купами и отсвечивает в озере кремовое облако. Там, с тех холмов, сверг Христос в озеро стадо бесноватых свиней. Возле нас на жестких буграх пасутся козы, какой-то табор, совсем дикий, проехал на великолепной белой кобылице бедуин.

10 мая.

Утром в шесть часов купался. Бродяга с обезьяной. Приехал Шор. В девять выехали из Тапхи. Издали видел Магдалу. Дорога из Магдалы в Тивериаду идет вдоль берега. По ней часто ходил Христос в Назарет. Черные козы.

В Тивериаде очень жарко.

После завтрака выехали в Назарет. Гер Антон, милый Ибрагим. Подъем, с которого видно все озеро и Тивериада. На восток синева туч слилась с синевой гор и в ней едва видными серебряными ручьями означает Гермон. Перевал и снова подъем. Фавор слева, круглый, весь покрытый лесом. Длинная долина, посевы.

Кана. Кактусы, гранаты в цвету, фиговые деревья, женщины в кубовых платьях. Кана в котловине и вся в садах¹⁵. Подъем, снова долина, снова подъем, огромный вид на долину назад. Потом котловина Назарета. Отель Германия. Мальчик

проводник в колпачке на макушке. Церковь и дом Богородицы. Потом лунная ночь.

[Вера Ник. рассказывает¹⁶:]

В Назарет мы приехали в тот час, когда стада возвращаются домой; навстречу нашему спускающемуся вниз по улице экипажу поднимались черные козы с живописным пастухом позади.

У фонтана женщины в длинных синих рубашках, с платками, ниспадающими до самых пят, наполняли глиняные кувшины водой, ставили их на плечо и медленно, грациозно ступая, расходились по своим домам.

— Здесь ничего не изменилось, — сказал Ян, — вот так и Божья Матерь приносила домой по вечерам воду.

Мы как раз подъехали и остановились около дома Иосифа, где прошло детство и отрочество Иисуса, — темной без двери конуры.

— Да, да, — сказал Ян грустно, — вот на этом самом пороге сидела Она и чинила Его кубовую рубашку, такую же, как и теперь носят здесь. Легенда говорит, что Они были так бедны, что не могли покупать масло для светильника, а чтобы Младенец не боялся и засыпал спокойно, в Их хижину прилетали светляки. [...]

[Бунин продолжает:]

11 мая.

Утром из Назарета. Необъятная долина и горы Самарии. Потом подъем, ехали дубовым лесом. Снова долина и вдалеке уже полоса моря.

Удивительный цвет залива в Кайфе сквозь пальмы. В четыре на Кармель¹⁷. Вид с крыши монастыря Ильи, виден Гермон. Лунный вечер, — это уже возвратясь в Кайфу, — ходил за вином¹⁸.

12 мая.

Рано утром на пароходе. Жарко, тяжелое солнце. До Порт-Саида сто франков. В три часа снова Яффа. Опять Хаим и кривой. Закат во время обеда.

13 мая. Порт-Саид.

Купил костюм. В час из Порт-Саида, в экспрессе на Александрию. Озеро Мензалех. Вдали все розовое, плоский розовый мираж. В шестом часу Каир — пыльно-песчаный, каменистый, у подножия пустынного кряжа Мокатама.

Вечером на мосту. Сухой огненный закат, пальма, на мосту огни зеленоватые, по мосту течет река экипажей.

Ночью почти не спал. Жажда, жара, москиты. В час ночи ходил пить в бар. Проснулся в пять. К пирамидам. Туман над Нилом. Аллея к пирамидам — они вдали, как риги, цвета старой соломы. Блохи в могильниках за пирамидами. На обратном пути Зоологический.

Вечером в цитадели. Новая, но прелестная мечеть. Вид на Каир, мутный и пыльный, ничтожный закат за великой Пирамидой.

[Вера Ник. вспоминает¹⁹:]

На Цитадель мы поднялись как раз ввремя, за четверть часа до заката. У ворот нас встречает очень приятный человек в белой чалме и ласково предлагает свои услуги. Он прежде всего ведет нас к колодцу Иосифа, который волнует нас своей древней простотой. В мечеть мы только заглядываем, она в стиле Айа-Софии. Двор ее большой, чистый, выложен мрамором, обнесен высокими стенами, с фонтаном посреди. Цитадель построена Саладином в XII веке, на нее пошли камни с малых пирамид.

Нас тянет к себе западная стена, оттуда открывается вид на весь Каир; сначала мы видим Старый Каир с лесом минаретов, затем Новый, далее Нил, пирамиды, пустыню...

[Продолжение записей Бунина:]

15 мая.

Выехали в семь с половиной часов утра. Равнина. Рамле. Александрия. «Император Николай Второй». Все загружено русскими богомольцами из Палестины. Та-же каюта.

[Вера Ник.²⁰.:]

Ян предлагает ехать завтракать в Александрию:

— Закажем морской рыбы, кебаб...

Берем извозчика и едем в ресторан. Потом бродим немного по улице Шерифа Паши, любуемся в окнах переливающимися серебром, шальями, шарфами, кружевами, страусовыми перьями необыкновенной величины. Затем направляемся к морю, там не так знойно. [...]

[Последняя запись Бунина:]

16 мая, утром, в Средиземном море.

Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода, страшно яркая у бортов.

[Сбоку почерком Бунина приписано:]

Вчера вечером страшная резня кинжалами на палубе (самаркандские евреи).

Четыре часа. Слева волнист[ые] линии Крита, в дымке. У подножия — светлый туман.

[В. Н. продолжает рассказ²¹.:]

В Пирей мы только завернули, а потому в Афины на этот раз не поехали. [...]

Ян опять восхищается сухостью и пустынно-
стью островов.

— Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все представить себе, а уж если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. Редко, кто умеет передать душу страны, дать правильное представление о ней. Вот за что я люблю и ценю, например, Лоти. Он это умеет и всегда все делает по-своему. Я удивлен, как он верно передал, например, пустыню, Иерусалим. Ты обязательно прочти это... [...]

Дарданеллы мы проспали, они были на заре. Мраморное море показалось нам иным, оно не имело на этот раз мраморных разводов.

Ян то читал Саади и все восхищался им, то спускался к паломникам. И я иногда слышала, какой взрыв смеха вызывали его шутки. [...]

В Константинополе мы остались ночевать на пароходе. [...]

[Стамбул, Скутари. Каваки.]

[...] Завтра Одесса, а там Москва [...]

— Вот и Большой Фонтан, — говорит Ян, указывая на что-то белое, блестящее. — Это маяк, он стоит у монастыря. Я очень люблю это место, хорошо было бы провести здесь лето. Если бы не мать, я так бы и сделал...

Спустя час, мы входим в порт. [...]

[Нилус, Куровский, Федоровы — радушный прием путешественников. Затем:]

[...] На вокзал проводить нас приехали друзья Яна. Цветы, прощанье. Наконец, мы двинулись. И вот опять вдвоем в купе, более просторном, чем на других дорогах... Завтра утром Киев, послезавтра Москва. [...]

В вагоне мы стали говорить о наших планах по приезду в Москву. Мне нужно было побыть там некоторое время. [...] Яну же в Москве делать нечего, он должен заехать перед деревней в Грязи, к матери, которая жила у его сестры Маши. Ему хотелось успеть выехать туда в день приезда.

Лето мы будем проводить в имени Софьи Николаевны Пушешниковой, в шести верстах от Предтечева, где была земля и моего деда²².

[Побывав у матери, Бунин направился в Васильевское, куда в начале июня приехала и Вера Николаевна. Он пишет писателю Н. Телешову 6 июня 1907 г.:]

Я уже давно в деревне, выехал сюда тотчас же по приезду в Москву, а Вера Николаевна приезжает ко мне только сегодня²³.

[В очерках «Первые впечатления от Васильевского» и «Будни в Васильевском»²⁴, Вера Ник. пишет:]

[...] Наконец, Измалково. Обычная деревенская станция с высокими деревьями вдоль платформы. Знакомый синий костюм, и чуть-чуть встревоженные густо-синие глаза.

— Здорова? — слышу знакомый голос.

Ян не один, что меня чуть задевает: с ним его племянник Коля Пушешников, которого он очень любит и с которым он близок. Это очень одаренный от природы молодой человек. [...]

Выехав из села, мы стали спускаться вдоль тенистого сада графа Комаровского. Ян сказал мне, указывая вправо на дорогу, поднимающуюся в гору:

— А вот тут сворачивают в Предтечево...

[...] на пригорке, за темными елями серый одноэтажный дом, смотрящий восьмью окнами, — дом, где я буду жить. [...]

Комната моя (гостиная) оклеена темными обоями, велика, со старой мебелью и новой кроватью. [...]

Рядом комната Яна, угловая, с огромными старинными темными образами в серебряных ризах, очень светлая и от белых обоев и от того, что третье окно выходит на юг, на фруктовый сад, над которым вдали возвышается раскидистый клен. Мебель простая, но удобная: очень широкая деревянная кровать, большой письменный стол, покрытый толстыми белыми листами промокательной бумаги, на котором кроме пузатой лампы с белым колпаком, большого пузыря с чернилами, несколько [— их?] ручек с перьями и карандашей разной толщины, ничего не было: над столом полка с книгами, в простенке между окнами шифоньерка, набитая книгами, у южного окна удобный диван, обитый репсом, цвета бордо.

Другая одностворчатая дверь вела в полутемную комнату, в которой стоял кованный сундук Яна тоже с книгами, и умывальник. [...]

После нескольких дней праздной жизни мы принялись за свои дела. Ян без меня не начинал работать, а между тем ему уже хотелось, хотя он высказывал опасения насчет своей бездарности. Мне тоже было пора готовиться к оставшимся выпускным экзаменам. [...]

[...] Ян после моего прибытия все только читал (он всегда перед писанием много читал). [...]

После этого он довольно долго писал стихи. А затем на прогулках читал их, иногда вызывая длинные разговоры, иногда споры. [...]

[В другом очерке Вера Николаевна пишет²⁵:]

Из Васильевского, [...] мы поехали в уездный город Ефремов к матери Яна²⁶. [...]

Дом Евгения Алексеевича²⁷, выделяясь своим красным кирпичным фасадом, находился на Тургеневской улице. [...]

В дверях останавливаюсь, оглядываю увешанную картинами гостиную с мягкой мебелью и большими растениями, затем вижу худую несколько согнутую женщину в темном платье, с кружевной черной наколкой на еще чуть седых волосах, смотрящую темными немного измученными глазами на сына. Это и есть его мать. Людмила Александровна. Удивляюсь ее бодрости, — ведь ей за семьдесят, и она уже много лет по ночам страдает астмой, лежать не может, дремлет в кресле. [...]

Там мы сели в беседке, и тут только Людмила Александровна ласково заговорила со мной.

Расспрашивала о Святой Земле, о Иерусалиме, — она была глубоко религиозным человеком, — высказывала пожелание съездить в Киев, поклониться мощам, — «Ваня свезет», говорила она трогательно. Потом расспрашивала о нашей жизни в Васильевском, вспоминала, как она с детьми и Машей жила там, в тех же комнатах, в каких живем теперь мы, когда ее зять Ласкаржевский был призван во время японской войны.

Потом я стала расспрашивать ее о Ване. Она сказала, что он с самого рождения сильно отличался от остальных детей, что она всегда знала, что «он будет особенный», и «ни у кого нет такой тонкой и нежной души, как у него» и «никто меня так не любит, как он» — говорила она с особенно радостным лицом. В этой беседе я почувствовала, что она считает, что лиризм и поэтичность сын унаследовал от нее. Я думаю, что она была совершенно права: от отца он получил образность языка, силу воображения и художественность образов.

Потом она говорила, что ему пришлось труднее, чем братьям, что он ничего не получил из их

бывшего состояния, что он ушел в жизнь с «одним крестом на груди» и что «Юлий был его путеводителем».

Затем она предалась воспоминаниям, как он в Воронеже моложе двух лет ходил в соседний с их домом магазин за конфеткой, как его крестный, генерал Сипягин, уверял ее, что он будет большим человеком, генералом... Как с самых ранних пор он больше всего любил природу, и в детстве, когда еще не умел произносить буквы «р», он потихоньку будил Машу, и они с ней вылезали неслышно в окно, чтобы на гумне встречать «зою» (зорю), а чтобы она не заснула, рассказывал ей сказки. Рассказывал он и тогда хорошо, а любил больше всего «Аленький цветочек». [...]

[В очерке «Глотова»²⁸ Вера Николаевна описывает ярмарку на Кирики — Престольный праздник 15 июля, приезд родных Ивана Алексеевича, знакомство с троюродным братом Буниных — В. Н. Рѣшковым и его семьей.

В конце августа Вера Ник. с Колей Пущешниковым уехали в Москву. В первых числах сентября 1907 года вернулся в Москву и Бунин и остановился у Муромцевых. В. Н. вспоминает²⁹.]

Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходявшем в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль. [...] Ян любил эту фотографию. [...]

За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило, — в этот день рождение папы, и мне неудобно было бы уехать из дому³⁰.

Зайцевы вернулись из Италии, куда они поехали после Парижа, там встретились с друзьями, все влюбились в эту страну. [...]

Недели три мы тихо прожили, Ян ввел кой-какие нововведения, попросил, чтобы на сладкое ему ежедневно варили яблочный компот.

В середине сентября³¹ он отправился в Петербург, надо было распродать написанное летом. [...]

Побывал он в издательстве «Шиповник», издателем которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха «Шиповник» приобрел у Бунина «Астму». [...]

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство «Земля» и пожелавший выпускать сборники под тем же названием. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3.000 рублей в год, условия хорошие. Ян принялся за дело с большим рвением.

[...] Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким³², узнать, как идут дела «Знания». «Шиповник» переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонился от окончательного ответа, хотя условия «Шиповник» предлагал заманчивые. [...]

[14 окт. 1907 г. Бунин пишет П. Нилусу:]

[...] только что вернулся из Птб., где уже с месяц танцую кадрили с «Шиповн[иком]». Пятницкий все еще за границей, и «Шиповн[ик]», пользуясь этим, хочет оплести меня — перевести к себе, издавать мои книги и осыпать золотом. А я все боюсь — и жду Пятницкого. Говорят, приедет

через неделю и, кто знает, может быть, опять я буду в Птб. — уже четвертый раз! Просто замутился.

Слышал ли ты про судьбу моего «Каина»³³? Его хотел поставить Худож[ественный] Театр и дать мне тысяч 10 за 2 сезона, но воспротивился Синод! Адам, Ева, Авель — святые! — Впрочем, надежда на постановку еще не совсем потеряна. [...]

[В октябре приехал в Москву Леонид Андреев. В «Беседах с памятью» В. Н. пишет³⁴:]

[...] смотрела на Андреева. Он немного постарел и стал полнее с тех пор, как я видела его в «Кружке», показался даже немного ниже ростом, потому что стоял рядом с высоким Голоушевым. [...]

Сразу завязался оживленный разговор, сначала о Горьком, о Капри... Я смотрела на черные с синеватым отливом волосы Андреева, на его руки с короткими худыми пальцами, на красивое (до рта) лицо, увидела, что он смеется, не разжимая рта, — зубы у него плохие, — что черный бархат его куртки мягко оттеняет его живописную цыганскую голову. Говорил он охотно, немного глухим однообразным голосом. Услышав меткое слово, остроумное замечание, заразительно смеялся. О Горьком говорил любовно, даже с некоторым восхищением, но Капри ему не нравилось, — «слишком веселая природа». Он решил построить дачу в Финляндии: «Юга не люблю, север другое дело! Там нет этого бессмысленного веселого солнца».

Затем начались разговоры о его работах. Он говорил о них с особенным удовольствием. Он только что закончил трагедию «Царь-Голод», а новая повесть его «Тьма» скоро должна была появиться в альманахе «Шиповник».

— «Знание», — говорил он, — не простит мне этой измены, но мне нужны деньги, а «Шиповник» гораздо щедрее на гонорары.

Затем он внезапно заявил: — Страшно хочется в «Большой Московский», — еще ни разу не был после возвращения из-за границы. [...]

[В дневничке-конспекте Веры Николаевны, между прочим, отмечено:]

Вечера и ночи у Андреева в Лоскутной. Много вина, шампанского и бесконечные разговоры, уверения Андреева в своей любви к Яну.

Приезжал в Москву и Найденов. Бунин любил его — тяжелый человек, но до чего прекрасный, редкого благородства!

[Когда Вера Ник. покончила с экзаменами, она с Иваном Алексеевичем поехала в Петербург:]

Остановились в «Северной гостинице», против Николаевского вокзала³⁵. Первым делом Ян позвонил по телефону М. К. Куприной, она пригласила нас к обеду, сказав, что у нее будет адмирал Азбелев и Иорданский, оба сотрудники ее журнала. [...]

Вскоре в дверях, немного сутулясь, появился Куприн³⁶ с красным лицом, с острыми, прищуренными глазками. Его со мной познакомили. Александр Иванович молча, грузно опустился на стул между хозяйкой и мною, неприязненно озираясь. Некоторое время все молчали, а затем загорелся диалог между Куприными, полный раздраженного остроумия. [...]

[...] Ян побывал у Блока и приобрел у него стихи, заплатив по два рубля за строку. Блок произвел на него впечатление воспитанного и вежливого молодого человека. Вечером мы поехали в «Вену» и ужинали в этом популярном ресторане

средней руки. Хозяин любил литературу и даже завел книгу, куда литераторы вносили свои впечатления. Около полуночи в зал стремительно вошел Блок с высокой, красивой женой, на ней было блестящее розовое платье и что-то похожее на золотую корону. [...]

[Встреч было много — и Андреев с матерью, и Скиталец, Серафимович, Юшкевич, Копельман, и проф. Гусаков, проф. Гессен, С. Рахманинов, и Ростовцевы, художник Бакст, проф. Котляревский, поэтесса Крандиевская, писательница Леткова-Султанова и многие, многие другие — сливки петербургского культурного общества того времени.

В конце ноября опять Москва, генеральная репетиция Андреевской пьесы «Жизнь человека». Наконец, накануне Рождества, отъезд в деревню. В. Н. вспоминает:]

Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма, и, кончая порядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел во-время, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушешниковых. Сделал исключение для моих [предтеченских. — М. Г.] родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

1908

[В архиве сохранились листки, на которых почерком И. А. Бунина записано, какая была погода в определенные дни. Почерком Веры Ник. на листках написано: 1908?

Привожу некоторые из записей:]

1,2 Янв. —7, метель, 5 Янв. +10, дождь, 11 Янв. —5, солнечно, 16, 17 Янв. —6, метель, 19 Янв. —6, солнечно, лун. н., 28-30 Янв. морозы —25, 1 Февр. —5.

[Вера Николаевна продолжает рассказ в «Беседах с памятью»:]

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку, если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами, Коля знал превосходно все созвездия.

[По свидетельству Веры Николаевны, Бунин писал в то время «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет». Начал переводить «Землю и небо» Байрона, писал стихи, а в конце своего пребывания у Пушешниковых написал «Старую песнь».

В дневничке-конспекте Веры Ник. сказано, что Бунин с Н. Пушешниковым вернулись в Москву в середине января, однако, по записям погоды того года, вернее, что в начале февраля. Эти записи прерываются после 1-го февраля и возобновляются только 12, 13 марта. Вероятно, именно тогда и вернулся Бунин в Васильевское после краткого пребывания в Москве и волнений относительно здоровья серьезно заболевшей сестры.

Судя по записям погоды, в деревне Бунин пробыл весь март¹. Вера Николаевна пишет²:]

Вскоре Ян получил приглашение выступить на вечере в Киеве. Он с радостью туда поехал. Из Киева отправился в Одессу, хотел немного отдохнуть среди друзей-художников, но внезапно оттуда уехал, получив от меня письмо. [...]

[8 апреля 1908 года Бунин пишет из-под Конотопа П. А. Нилусу:]

Дорогой друг, послушай сам и передай товарищам, которых я очень люблю, что я уезжаю все дальше от Одессы, совершенно не насыщенный ею, уезжаю с большой грустью, что мало виделись, много истратили времени на кабаки, будь они прокляты, и не поговорили как следует... в чем виновато, конечно, то, что была полярная погода, что приехал я наспех и еще очень подавлен московской зимой и участью сестры и матери. Расставаясь с тобой, не имел твердого намерения уехать, но, вернувшись в гостиницу, получил письмо от Веры Ник., из которого понял, что она весьма хочет поскорее в деревню.

Стоит-ли только забиваться в деревню, за работу сейчас? Сижу и мечтаю проехать туда на несколько дней, и затем взять Веру Ник., к[ото]рая тоже очень устала, и поехать с ней через Одессу в Крым недельки на две, на три. Это было бы очень недурно уже потому, что ехать за границу, — а Вера Ник. очень мечтала об этом, — нельзя, ибо нельзя бросить на долго сестру и мать, да и нервирует заграница. [...]

[В Великую Субботу, 12 апреля Бунин и Вера Ник. из Москвы уехали в Ефремов навестить мать Бунина, потом 20 апреля поехали в Глотова. «Чудесная погода. Редкая весна», записано у Веры Ник. Но, видимо, погода вскоре резко изменилась, в конспекте погоды у Бунина сказано: «24 Апр. Так холодно, что полушубок. 29 Апр. Холод, весь день дождь. Но все зелено и соловьи. 15 Мая. Белые облака яблочного цвета с розовым оттенком на фоне нежной зелени. Во всех комнатах запах ландышей».

Согласно записям Веры Ник., Бунин за это лето написал: «Бог полдня», «Иудею», «Долину Иосафа», «Последние слезы», «Рыбачку», «В Архипелаге» (?), «Иерихон», «Гробницу Рахили», «Люцифер», «Бедуин», «Солнечные часы», «За Дамаском», «Караван».

В конце августа — Москва, затем Петербург. Осенью 1908 года Бунин писал П. А. Нилусу:]

[...] Кручусь, как в водовороте, а тут еще инфлуэнца замучила. Послал тебе несколько сонетов, посылаю еще — напиши свое мнение. [...]

Бронхит у меня такой и устал я так, что не миновать ехать или в Крым, или за границу. Но туда-ли, сюда-ли — все через Одессу. Собираемся выехать в конце октября. [...]

[Однако, планы не осуществились, в ноябре опять поехали в деревню, на этот раз одни. В. Н. вспоминает:]

[...] я уже тяготилась родственниками Яна, с которыми он проводил почти все досуги, ему же хотелось, чтобы я слилась с ними³. [...]

[Сохранилось письмо Нилусу:]

20 ноября 1908 (Ст. Измалково, Юго-Вост. ж. д.)

[...] Мне очень хочется тебя видеть. Приехал в деревню с обязательством хоть умереть, а написать рассказ к началу декабря. Потом я свободный мальчик. *Когда именно поедешь на север?* Где бы то ни было, а надо встретиться. [...]

[Встреча произошла в Москве, и Иван Алексеевич вернулся в деревню с Колей Пушешниковым.]

1909

[2 января 1909 года Бунин пишет Нилусу:]

[...] Был и я болен с неделю, только нынче чувствую себя мало мальски сносно. Дьявольский насморк, жар, гастрит — и такой геморрой, что и Павлыч бы позавидовал. Это меня выбило из седла, а то было работалось недурно. [...]

[10 января 1909 года он пишет:]

[...] Мои планы таковы: досидеть здесь, если возможно — хотя устал очень, — до начала февраля. Затем на несколько дней — Москва. Затем — в середине февраля — в Одессу недели на две. К 1-му марта туда подъедет Вера и поехать за границу. [...]

[Планы, видимо, несколько изменились: в Одессу Бунин поехал вместе с Верой Николаевной и 28 февраля они уехали за границу. «Вена, Инсбрук, Бреннер-Пасс, Верона, Рим, Неаполь, Капри, Горькие; «Отель Пагано», записывает в дневничке-конспекте В. Н.

Поездка эта описана в «Беседах с памятью», Италия¹:]

[...] Хотя мы платили в «Пагано» за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку [от Горьких. — М. Г.], что нас просят к завтраку, а затем придумывалась всё новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить «животрепещущий вопрос». [...]

[17 марта, как отмечено в дневничке В. Н., именины Горького, танцы, тарантелла, пение, мандолина, стихи.

19 марта отъезд на пароходе в Сицилию:]

[...] Несколько дней мы осматривали столицу Сицилии, смотрящую на север, в бухте которой никогда не отражаются ни солнце, ни месяц.

Мы восхищались замечательными византийскими мозаиками, испытывали жуткое чувство при виде мумий, лишь едва истлевших в подземелье какого-то монастыря. Особенно жуткое впечатление произвела невеста в белом подвенечном платье.

Из Палермо мы отправились в Сиракузы. [...] Оттуда поехали в Мессину, где испытали настоящий ужас от того, что сделало землетрясение.[...]

[26 марта опять на Капри:]

[...] Ян всегда был в ударе. Нужно сказать, что Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но все же главное они любили по-настоящему. [...]

[2 апреля в дневничке у В. Н. записано:]

Рим захватил меня. Погода дивная. С 9 ч. до 9 осмотр города, в 9 спать.

[В Риме прожили неделю. «Еще не раз приедем сюда, — говорил Бунин, — и увидим пропущенное». 9 апреля вернулись на Капри. В. Н. пишет:]

Последнее наше пребывание на Капри было тихое, мы продолжали почти ежедневно бывать у Горьких. Иногда втроем — писатели и я — гуляли. Они часто говорили о Толстом, иногда не соглашались, хотя оба считали его великим, но такой глубокой и беззаветной любви, какая была у Ивана Алексеевича, я у Горького не чувствовала. Алексей Максимович рассказывал о пребывании

Льва Николаевича в Крыму, в имении графини Паниной, в дни, когда боялись, что Толстой не перенесет болезни, и о том, как один раз взволнованная Саша Толстая верхом прискакала к нему о чем-то советоваться. Вспоминал он, как однажды видел Льва Николаевича издали, когда тот сидел в одиночестве на берегу:

— Настоящий хозяин! — повторял он — настоящий хозяин! [...]

Когда [Горький. — М. Г.] вспоминал сына, всегда плакал, но плакал он и глядя на тарантеллу, или слушаая стихи Яна.

Пил он всегда из очень высокого стакана, не отрываясь, до дна. Сколько бы ни выпил, никогда не пьянел. Кроме асти на праздниках, он пил за столом только французское вино, хотя местные вина можно было доставать замечательные. В еде был умерен, жадности к чему-либо я у него не замечала. Одевался просто, но с неким щегольством. [...]

[Осмотрев Помпею, Бунины 12 апреля 1909 отплыли на итальянском пароходе назад в Одессу.]

[...] В первом классе², кроме нас, был всего один пассажир — лицеист из Петербурга, проигравшийся в Монте Карло. [...]

Иногда мы проводили с ним время на спардеке и вели беседы на разные темы. Зашел разговор о социальной несправедливости. Лицеист был первого направления. Ян возражал:

— Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т. д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает. [...]

Подружившись с моряками, мы везде бывали, куда обычно пассажиров не пускают.

Я считаю, что здесь зародился «Господин из Сан-Франциско». [...]

[Афины. Константинополь, наконец, 26 апреля — Одесса. Нилус, Куровский, Федоров — одесские друзья Бунина. В. Н. пишет:]

[...] я познакомилась с художником Буковецким [...] Это был человек с большим вкусом и с причудами, со строгим распределением дня. [...] Теперь он жил один, но всё свободное время от работы и всяких личных дел — свои досуги — он делил с Петром Александровичем Нилусом с которым жил в самой нежной дружбе.

Кроме писания портретов и ежедневной игры на рояле по вечерам, Буковецкий ничем больше не занимался (Петр Александрович Нилус вел все его дела). У него на самом верху дома была прекрасная мастерская, устланная коврами, с удобной мебелью и огромным окном над тахтой. В этой студии было много икон, которые он собирал. [...]

По приезде в Москву⁸ Ян сразу стал торопиться уехать, — была больна его мать. Побывали у тех, кто присутствовал на открытии памятника Гоголя и на всяких заседаниях и раутах. Побывали мы и у Зайцевых. Они много рассказывали. Говорили и про скандал на докладе Брюсова. В Москве очень им возмущались, говорили, что это не торжественная речь. Люди шикали, свистели. Робкие аплодисменты слабо боролись со свистом. Рассказали Зайцевы и о рауте в Думе, где они весь вечер провели с Розановым. [...]

Мнения о памятнике были различные. Рассказывали о том удивлении, которое он вызвал, когда спала с него завеса. Словом, Москва до лета пере-

живала впечатления торжеств по случаю столетия со дня рождения Гоголя.

[13 мая 1909 г. Бунин писал из Москвы Нилусу:]

[...] у меня опять беда: больна мать. Если же останусь до субботы, то все таки выеду в субботу вечером — вместе с братом Юлием (Вера приедет в деревню в конце мая, а Коля уже уехал: повалил на себя горящую лампу, запылал, спасся, накинувши на себя одеяло, но все таки обжегся, обрился — и удрал). Юлий взял заграничный паспорт — и будет (вместе с другим племянником, Митей) 30-го или 29-го в Одессе, откуда 31-го хочет отплыть в Константинополь, Смирну и Афины. Дальше ехать не хочет. [...]

[В архиве сохранились переписанные на машинке записи **Бунина:**]

26 Мая 1909 г.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петя и дьяконов сын пошли через Казаковку ловить перепелов, мы с Колей в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий... Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже⁴. Худой, сильный, как обезьяна, жестокий, спокойный. «Вы что говорите?» И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное, «кляп на животе, как двустволка». Потом перешли к мужицкой нищете, грязи, к мужиц-

кому бессмысленному и грубому разврату с женами, следствие которого невероятное количество детей. «Конечно, каждую ночь. А то как же? Потушат огонь, сейчас за подол и пошел чесать...» Да, я пишу только сотую долю того, что следовало бы написать, но чего не вытерпит ни одна бумага в мире. Еще Евгений рассказывал, как какой-то новосельский мужик привязывал свою жену, всю голую, за косу к перемету и драл ее вожжами до потери сознания.

11 Июня 1909 г. возвратясь из Скородного.

Утро, тишина, мокрая трава, тень, блеск, птицы и цветы, цветы. Преобладающий тон белый. Среди него лиловое (медвежьи ушки), красное (кашка, гвоздика; иначе Богородицына трава), желтое (нечто вроде желтых маргариток), мышинный розовый горошек... А в поле, на косогоре, рожь ходит зыбью, как какой-то великолепный сизый мех, и дымится, дымится цветом.

21 Июня 1909 г.

Полмесяца гробы и холодные ливни, вчера и нынче первые хорошие дни.

Поразительная лунная ночь, светлый дым, туман в саду и на огороде, все мокро, коростель; под Колонтаевкой, на лугу — густой белый слой тумана. Двенадцатый час, на северо-востоке уже затеплилась розоватая Капелла, играет зеленым и красным. Петухи.

У лавочника Сафонова на ковре над постелью был изображен тигр, тело в профиль, морда en face — и подпись:

Ягуар, краса лесов,
Чует близость стаи псов.

Плотники часто пакостят при постройке домов: разозлятся на хозяина и вобьют, например,

гвоздь от гроба под лавкой в переднем углу, а хозяину после того все покойники будут мерещиться.

[27 июня Бунин пишет открытку П. А. Нилусу:]

[...] повторяю то же, что писал тебе (кажется, позавчера) в Париж: это просто усталость, нервность плюс мнительность. Писал тебе, кроме того [...] что мои дела не лучше твоих: дождь не прекращается ни на минуту, на дворе ветер и холод, сплю мало, тяжело, голова тупая. Пропадаю без солнца — и буквально перо валится из рук. [...]

[Вера Николаевна пишет в «Беседах с памятью»⁵.:]

Но всё же, 3 июля он написал «Сенокос» [...]

В мое отсутствие, в мае, он написал стихи «Колдун» [...] 9 июня написал «Мертвая зыбь», 10-го «Прометей в пещере». [...]

Много было разговоров у Яна и с родными, что ему хочется написать длинную вещь, все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пушешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. [...] Рассказывал он образно, порой с юмором. [...]

[10 июля 1909 года в письме Нилусу Бунин сообщает:]

[...] Я, дай Бог не сглазить, поправился, хотя насморк еще держится крепко, да сильно болят пальцы в суставах, как всегда в непогоду. Подагра или суставной ревматизм? Вот вопрос. Как бы то ни было, впрочем, — ничего не пишу. Все собираюсь. [...]

[В письме от 24 июля он пишет:]

[...] Чувствую себя не хорошо и на юг, верно, уеду. Как жаль, что ты пустил мимо ушей мое предложение на счет Крыма! В Крым я и поеду — конечно, через Одессу. Возле вас поселиться нельзя — питаться раз в сутки и жить как попало — это не поправка. Выеду, д[олжно] б[ыть] в начале августа. Совестно мне это говорить, дорогой, — ведь на август ты хотел сюда приехать, — да что же делать? Осточертело мне все здесь, изморило погодой. Да и в доме у нас — точно покойник. Сестра (не Маша, Софья, владетельница моего приюта) форменно сходит с ума: вот уже третий месяц (со времени смерти одного соседа, погибшего от рака) бродит как тень и молчит, как могила — вообразила, что и у нее или рак, или что-то в этом роде. [...]

[Однако в Крым Иван Алексеевич так и не уехал, остался на август в деревне. В конспекте Веры Ник. сказано, что написал: «Сенокос», «Собака», «Могила в скале», «Морской ветер», «До солнца», «Полдень», «Вечер», «Старинные стихи», «Сторож», «Берег», «Спор».

В начале сентября — Москва.

В. Н. вспоминает⁶:]

В три дня Ян написал начерно первую часть «Деревни». Иногда прибегал к маме, говорил «жуть, жуть», и опять возвращался к себе и писал.

[7 сентября Бунин пишет Нилусу:]

Милый Петр, я уже неделю толкусь в Москве и все никак не выеду не в силу своей нерешительности, а по весьма печальным причинам. [...] оказалась — подагра! [...] Не в сильной степени, но подагра. [...] Нужно, наконец, и по-

лучше устроить денежные дела: жить в Одессе придется мне в помещении хорошем, ибо буду усердно писать, питаться придется изысканно — в Лондонской или Петербургской, ванны тоже, небось, обойдутся дорого, переезд дорого, да Вера надо оставить. И решил я выехать числа 16, 17-го Сентября. Кстати-же — разножаю всяческие литературные начинания, м[ожет] б[ыть] кое-что запродам. И уже имел деловые свидания. Завтракал с Сытиным — говорит он, что к концу октября дело он свое обделаает и будет снова просить меня взять его в свои руки. Но выйдет-ли из этого что — еще не знаю, тут есть штуки, о которых расскажу при свидании. Затем совещались мы с Телешовым, Грузинским, Гальберштадтом, братом Юлием и опять таки [с] Сытиным о Телешовском сборнике, часть которого пойдет на подписчиков «Сев[ерного] Сияния». Телешов совсем было хвост опустил — теперь дело, кажется, налаживается крепко. [...]

Завтра снова будет совещание — у Телешова на даче. [...]

Не в Одессе ли Куприн? Поймай его, если так, и передай нашу общую просьбу — непременно дать что-либо для Телешовского сборника. Скажи и Мигрофаньчу⁷ — пусть даст лист, да хороший. [...]

Ужасно хочется мне ехать в Одессу через Севастополь, на денек завернуть в Бахчисарай, на денек в Балаклаву и Успенский монастырь. Не приедешь ли в Севастополь, где мы и встретились-бы, съездили-бы по этим местам и поехали-бы в Одессу? Или: не съездить-ли нам в конце октября, перед моим возвращением в Москву и Питер? [...]

[Вера Николаевна вспоминает⁸:]

Во время отсутствия Яна приехал в Москву Федоров, кажется, на неделю. Он ежедневно обедал у нас, чем был очень доволен папа, так как Федоров много рассказывал о литературной жизни. И папа сказал:

— Вот Иван Алексеевич ничего никогда не рассказывает, а ведь это очень интересно.

[В начале октября Бунин вернулся в Москву. 19 октября ему вместе с Куприным была присуждена Пушкинская премия.

В конце октября праздновалось двадцатипятилетие литературной деятельности Н. Д. Телешова. Вера Николаевна пишет⁹:]

[...] Мы сидели за главным столом: Ян — рядом с Еленой Андреевной Телешовой, а я между юбиляром и артистом Южиным, который за весь ужин не проронил ни единого слова, кроме речи, посвященной юбиляру. [...]

Не помню хорошо, до этого дня или после Ян позвонил к нам по телефону и сказал, чтобы я приезжала с Колей в Большой Московский и захватила рукопись, он там будет читать «Деревню».

Когда мы вошли в отдельный кабинет, то увидели Карзинкина, Телешова, Белоусова и еще кого-то.

На столе стояли бутылки, вина, закуска.

Ян приступил к чтению и прочел всю первую часть. Читал он хорошо, изображая людей в лицах. Впечатление было большое, сильное. Даже мало говорили.

[1 ноября Бунин получил телеграмму от Котляревского: «Сердечный привет от товарищей по разряду. Котляревский». Иван Алексеевич был избран почетным академиком. 4 ноября он пишет Нилусу:]

Дорогой, пока, спешно — два слова (тороплюсь отправить), благодарю за поздравление — удивлен я этим неожиданным! [...]

[А в письме от 24 ноября он рассказывает:]

Дорогой друг, немного беспутный образ жизни вел я последнее время — уж извини за молчание, на этот раз оно довольно простительно. Был я, как ты знаешь, в Питере, трепетал холеры, но — пил, гулял, чествовали меня и пр. Визиты делать товарищам по Академии, слава Богу, не требуется — знакомство и поклоны происходят на первом заседании, где вновь избранный может говорить «вступительную» речь, так что был я только у Великого Князя, да и того не застал: он уехал в Павловск и я ограничился тем, что росписался. Приехал сюда дня четыре тому назад — и опять немного загулял, тем более, что Вера осталась гостить под Петербургом в Лесном, у проф. Гусакова, вместе со своей матерью. Устал я порядочно, и смертельно надоело бездельничать, да и чувствую себя нездоровым. Посему очень подумываю об отлете в теплые края, но куда — еще не придумал. [...] По моему, необходимо мне в самом начале декабря исчезнуть из Москвы — через неделю вытребую сюда Веру и — за сборы. Но куда? Сухое, сухое место надобно. [...]

[Однако, уехать из Москвы в начале декабря Бунину не удалось: заболел ангиной, заразил Веру Николаевну. Рождество и Новый год встретили в Москве.]

1910

[За январь этого года в дневничке-конспекте В. Н. значится: «Пятидесятилетие со дня рождения Чехова. Торжественное утро в Худ. Т., «Среды» у

Телешова. Переписка «Деревни». Раут в Думе по случаю приезда из Франции депутатов Лебук».

Выступление Бунина на литературном утреннике в память Чехова прошло с большим успехом. Станиславский предлагал ему вступить в труппу Художественного театра, привлекал ролью Гамлета. По рассказу Веры Николаевны¹:]

В феврале мы уже готовились к путешествию. Решили ехать на юг Франции, а оттуда, если будет возможно, в северную Африку, но, конечно, с заездом в Одессу, где мы проведем несколько недель. [...]

[2 февраля Бунин писал Нилусу:]

[...] Был в Птб. — продал повесть Марье Карловне² за очень хорошую цену. Перебила у «Шиповника» и «Шип.» почти поссорился со мною. Продал книгоизд. «Обществ[енная] Польза» свой 6-ой т. — 3000 экз. за 800 р. «Знание» меня вывело из терпения своей медлительностью. «Просвещение» ведет со мной переговоры — покупает навек мои сочинения. Прошу 70 тысяч за 9 томов. До 10-15 февр. остаюсь в Москве. [...]

[В дневничке-конспекте В. Н. отмечено, что в феврале Бунины уехали в Одессу, остановились в гостинице «Бристоль» и провели там месяц. В. Н. позировала для портрета Буковецкого. Про пребывание в Одессе В. Н. писала:]

В Одессе было жить приятно. Встречались с художниками. Они по-прежнему устраивали три раза в неделю «мальчишники». [...]

[В марте Бунины уехали за границу: Вена, Земмеринг, Венеция, Милан, Генуя и 10 дней в Ницце³. 3/16 апреля 1910 года Бунин пишет Нилусу из Марселя:]

Дорогой Петр, нынче в 5 ч. вечера уплываем в Оран. Думаю, что потолкаемся по этому берегу Африки и по Южной Испании и поедем пароходом на Одессу. Но откуда? Еще не знаю. Или — из Туниса на Неаполь, или из Барселоны — опять таки на Неаполь (заедем на Капри). [...]

В Марселе чудесно! Думаю, что будем на Капри недели через три.

[В. Н. вспоминает⁴.]

В Орানে мы пробьли сутки, он нам показался уютным, виллы с террасами напомнили мне дачи под Москвой — как и у нас на террасах стояли лампы и свечки с колпаками.

Из Орана мы поехали в Блиду, маленькое, все в зелени, местечко. [...] Пробыв там сутки, поехали в Алжир. Город поразил красотой, мы знали его по Лоти, которого очень ценили и любили. [...]

[В дневничке-конспекте В. Н. о дальнейшем пути сказано:]

[...] Бискра, 1/2 месяца Константина [?] Тунис. Апрель 17, Пасха 18, в ночь на пароходе в Марсалу. Буря двое суток. Пришлось повернуть курс на Эмпидокл. По жел. дороге в Термини. Ночь. Пустой город. Проводники. Незнание языка. Огромный пустой отель. Месина. По ж. д. до Неаполя.

24 [апреля] на Капри. Pagano. Горький в Ницце у сына. М. Ф. [Андреева. — М. Г.] с Пятницким. Их ссора при нас. Просьба М. Ф. переселиться к ней: ее страх Пятн[ицкого]. Неделю с ними. Приезд Каменских. Ухаживание за ними.

Мая 1 — Приезд Горького и Зины [З. Пешков. — М. Г.]. 3 дня при нем. Разговоры о Знании, путанье Горьк[ого] с Пятницким. Процессии детей и праздник рыбаков.

6 [мая]. Все в Неаполе. Обеды, завтраки в Неаполе три дня.

9 — Отплытие на французе. Провожали в лодке Горький, М. Ф. и Зина.

16 — Пересадка на русск[ий] пароход. Много дипломатов, один похож на жабу. Держатся, как дома. Говорят о политике.

18 — Одесса.

Москва.

Глотово.

[В архиве сохранилось письмо Бунина Нилусу от 10 июня 1910 года:]

Дорогой Петр, я опять в Глотове, у сестры Софьи. После Москвы был с неделю в Ефремове и чувствовал себя весьма скверно — матери хуже, у сестры Маши тяжело болен муж и нет денег, Софья по прежнему — тоска, боли в кишках и т. д. И был я в дурацком положении, — где основаться на лето? Искал дачу в имениях под Ефремовым, ездил в Липсук — и, не найдя ничего путного, клял себя, что не нанял дачку под Одессой. Кончилось, все таки, Глотовым. Но опять льют ледяные дожди, опять даже гулять нельзя... а гулять нам необходимо — и мне, и Вере, которой прописано движение, *морское купанье*, солнце, — все, что и мне, подагрику, до зарезу нужно. Мелькает и теперь иногда мысль об Одессе, но холера, холера! — боюсь ее до смерти! [...]

Писать еще не начинал, — приехав сюда, раскис, все валялся и читал. [...]

Давно-ли читал «Воскресение» Толстого? Это одна из самых драгоценных книг на земле.

Где Федоров? Где Куприн? Свидание наше было неважное. Попрекнул меня с первого слова академией... [...]

[В дневничке В. Н. записано:]

Ян все жалеет, что запродал «Деревню». «Гораздо лучше» написал бы несколько портретов мужиков. Мы с ним не соглашаемся. Холера приближается.

[10 июля Бунины уехали в Москву, 11 были на именинах у Телешова. 16 июня умерла мать Ивана Алексеевича. [В. Н. записывает:]

Целый месяц Ян нигде не бывает, работает по 14 ч. в сутки. Гулять выходили лишь под вечер в тенистые переулки.

[3 августа Бунин посылает П. А. Нилусу из Москвы открытку:]

«Искусство всего лучше познается тогда, когда оно облачается в поношенные одежды» (Нитцше). — «Будь поэтом природы — и ты будешь поэтом людей» (Гюго). — «Для человека искусство то же, что для Бога — природа» (Гюго). — «Есть друзья, подобные солнечным часам: они обозначают только то время, когда светит солнце» (Гюго). — «У всякого сокровища (клада) лежит змей» (Гулистан Саади). — Когда один друг боится чумы, другой спрашивает Ценовского, что это за штука, можно ли уберечься — и немедленно сообщает другу (Бунин).

[Сентябрь Бунины провели в Глотове. Бунин занимался окончательной отделкой «Деревни». Вернулись в Москву, поехали в Петербург.

«Северная Гостин. — записано у В. Н. — 25-го [сентября. — М. Г.] именины Елпатьевского. Ов[сянико]-К[уликовский], Мякотин, Горнфельд, Анненский и др.».

10 октября Бунин пишет открытку Нилусу:]

Две недели был в Птб., приехал к похоронам Муромцева. Нездоровится — есть белок [...], надо ехать на юг. Поедем в Египет, поедем! Что ты задолбил — Париж, да Париж! Торгуюсь с «Просвещением» — хотят меня купить. Это задерживает. [...]

[Вернувшись в Петербург, Бунин узнал о смерти Л. Н. Толстого. «Толстой потряс меня, как, кажется, ничто в жизни не потрясало», пишет Бунин Нилусу 11 ноября 1910 года. 29 ноября он сообщает: «Мы собираемся в отлет. Куда бы ни поехали, верно, поедем через Одессу. Хочется дней через 7-10 уже выехать...» 2 декабря он пишет:]

В Москве невероятно гнусная погода — не запомним такой. Все больны. Ужасно боюсь опять свалиться от жабы. Сыпной тиф и прочее так и косят народ. Спешу отделаться поскорее — во всю мочь. Думаю, что числа 6, 7-го — выедем. [...]

[В дневничке-конспекте В. Н. сказано:]

Декабрь 10. Выехали в Одессу. 14 — отплытие на Дальний Восток на Добровольце Владимире. Десять дней жизнь на пароходе. Дружба с моряками. 24 — Порт-Саид. Припадок у Яна⁵. Доктор. Черные морды солдат в фесках. Жуть и красота неба. 25 — Суэцкий канал. 26 — Каир. Метрополь. 28 — Гелуан. Белок у Яна. Жизнь в Арабском доме. Ян написал рецензию о Городецком. Стихи. Гелиополис. Пирамиды. Музей.

1911

[Новый год Бунин встречал в постели. Когда он поправился, — Фивы и Ассуан.

Из письма Бунина Нилусу от 5 февр./23 янв. 1911 года:]

Мы вернулись из Ассуана, раздумав ехать глубже в Африку — утомляет меня железная дорога и убойная, перченная еда в отелях. [...] Ждем теперь, поселившись опять в Гелуане, парохода для продолжения пути, но дойдем-ли до Японии — опять таки не знаю: м. б., дело кончится Коломбо, Сингапуром; повторяю, неважно себя чувствую, да и когда, в случае Японии, вернемся мы в Россию! В пути трудно работать, а меня, дай Бог, не сглазить, уже потягивает. Мечтаю вернуться самое позднее — в начале апреля, а лето провести под Одессой, — это давнишняя мечта. [...]

Что ты бредишь о вещах и душе их? Это что-то пахнет старчеством, опомнись [...]

[Открытие Нилусу из Измаилии от 23/10 февраля:]

Неделю тому назад приехали в Порт-Саид (пожив в Гелуане, откуда я писал тебе, закончив осмотр Каира, побывав у Пирамид Дашура, Ступенчатой, в Серапауме и т. д.) — и, бесплодно прождав в П.-Саиде парохода четверо суток, уехали в Измаилию — городок у озера Тимза, через которое проходит Суэцкий канал, город среди необозримых пустынь песчаных (в Аравийской пустыне), городок, лучше которого я никогда не видал. Нынче опять возвращаемся в П.-Саид. Ожидание парохода измучило! [...]

[Дневник Бунина того времени был напечатан в эмигрантских изданиях 20-х годов, а потом помещен в сборник «Петлистые уши», под названием «Воды многие»¹. Привожу некоторые отрывки:]

12 февраля 1911 г., ночью, в Порт-Саиде.

[...] Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я никогда не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и

благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство, — иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. «Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы...» Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь Тому, Кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной волей, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя — трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои!

13 февраля, Суэцкий канал.

[...] К полудню мы были уже далеко от Порт-Саида, в совершенно мертвом, от века необитаемом царстве. И долго провожала нас слева, маячила в мути пустыни и неба чуть видная, далекая вершина Синая, и весь день прошел под его величавым и священным знаком, был связан с чувством его близости, его ветхозаветного, но вместе с тем и вечного владычества, ибо это вечно, вечно: «Аз есмь Господь Бог твой... Помни дни Господни... Чти отца и мать твою... Не делай зла ближнему твоему... Не желай достояния его...» [...]

Я сидел и думал: все-таки оно есть в мире, — нечто незыблемо-священное. В гигантском человеческом таборе, который стремится, невзирая на все свои блуждания, все-таки вперед, в какую-то обетованную землю, в пестром и шумном стане, который ютится в низкой земной юдоли, а все-таки у подножия неких горних высот, кипит мелкая, будничная жизнь, царит человеческое ничтожество, человеческая слабость, убогая гордыня, злоба, зависть, и Божьи избранники, пророки, мудрецы не

раз содрогались в этом таборе от ужаса перед его мерзостью, в отчаянии дробили о камень скрижали синайского завета между человеком и Богом — и все-таки снова и снова собирали раздробленное, снова воздвигали все те же самые уставы, ибо снова и снова гремели из мглы и туч омраченных высот все те же страшные, но и утешающие, указующие спасительный путь глаголы. [...]

15 февраля.

За вчерашний день все чрезвычайно изменилось, — менялось чуть не каждый час. И вот оно уже наступило, то вечное, светоносное лето совершенно нового для меня мира, которое говорит о какой-то давно забытой нами, райской, блаженной жизни. [...]

[...] А поздно вечером капитан поздравил нас со вступлением в тропики. Итак, заветная черта, о которой столько мечтал я, перейдена. [...]

16 февраля.

В два часа прошли остров Джебель-Таир. Совсем не похож на Средиземные острова. Те всегда очертаниями волнисты, мягки и всегда в голубоватой или нежно-сиреневой дымке воздуха. Этот же совершенно четкий, голый и со всех сторон точно топором обрублен. И цвет его совсем новый для глаза, — верблюжий. [...]

В шесть часов, тотчас же после заката солнца, увидал над самой своей головой, над мачтами, в страшно большом и еще совсем светлом небе, серебристую россыпь Ориона. Орион днем! Как благодарить Бога за все, что дает Он мне, за всю эту радость, новизну! И неужели в некий день все это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, будет сразу у меня отнято, — сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было еще на земле? Как этому поверить, как с этим примирить-

ся? Как постигнуть всю потрясающую жестокость и нелепость этого? Ни единая душа, невзирая ни на что, втайне не верит этому. Но откуда же тогда та боль, что неотступно преследует нас всю жизнь, боль за каждый безвозвратно уходящий день, час и миг? [...]

19 февраля.

Уже в Океане. Совсем особое чувство — безграничной свободы. [...]

[...] Потом был на верхней палубе. Четверть месяца стоит очень высоко и светит очень ярко, — с правой стороны настоящая лунная ночь. Россыпь Ориона в зените. Южный Крест на юге, в большом пространстве почти пустого неба. Смотрел на него и вдруг вспомнил, что у Данте сказано: «Южный Крест освещает преддверие Рая». Слева низко лежала серебром раскинутая по темносинему небосклону Большая Медведица, под нею, почти на горизонте, печально белела Полярная Звезда. А на востоке точно ветром раздувало какую-то огромную и великолепную звезду, ровно и сильно пылавшую красным огнем. И ход наш был прямо на нее.

20 февраля.

[...] Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование — каждую секунду висишь на волоске! Вот я жив, здоров, а кто знает, что будет через секунду с моим сердцем, которое, как и всякое человеческое сердце, есть нечто такое, чему нет равного во всем творении по таинственности и тонкости? [...]

[...] Как смешно преувеличивают люди, принадлежащие к крохотному литературному миру, его значение для той обыденной жизни, которой

живет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды!

«За что, зачем?» Вот для тех арабов, которых мы встретили давеча, не существует этого вопроса. Они знают одно — древнюю «покорность Вожатому», Тому, Кто говорит о себе в Коране: «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила». [...]

23 февраля.

[...] Все утро идем мимо Гвардафуя: далекий берег коричневого цвета, полосы желтеющих у моря песков. Страшное место, славное в летописях кораблекрушений. [...]

25 февраля.

Вчера, потушив огонь, долго лежал, мысленно видя те облачные горы на восточном горизонте. [...]

[...] Потом очнулся и, не зажигая огня, записал:

Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной волной...
Озаряясь жаркою зарницей.
Всходят горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным Силам,
В темном фимиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадиллом.

[...] Я сплю, мы все спим, кроме тех двух-трех бессонных, безмолвных, недвижимых, что бдят за нас там, наверху, на вахте, мы спим, а ночь, вечная, неизменная, — все такая же, как и тысячулетия тому назад! — ночь, несказанно-прекрасная и неизвестно зачем сущая, сияет над океаном и ведет свои светила, играющие самоцветными огнями, а ветер, истинно Божие дыхание всего этого прелестного и непостижимого мира, веет во

все наши окна и двери, во все наши души, так доверчиво открытые ей, этой ночи, и всей той земной чистоте, которой полно это веяние.

28 февраля.

[...] Возвращаясь с кормы к обеду, ахнул: луна — зеленая! Посмотрел из столовой в окно, выходящее на бак: да, зеленая! Нежно-зеленая на гелиотроповом небе, среди пепельных облаков, над зеленым блеском океана! И так качает, что нос «Юнана» лезет в небо, а в окно бьет блаженно проникающий до самой глубины души ветер. [...]

1 марта ночью.

[...] Последняя ночь в океане, завтра Цейлон, Коломбо.

«Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы...» И я был в страшной и сладкой близости Твоей, и безгранична моя любовь к Тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно Твое! [...]

[На Цейлоне Бунины провели 1/2 месяца. Среди бумаг Ивана Алексеевича сохранились 2 рукописных листка с надписью «Цейлон», сделанной карандашом:]

9/22 Марта 1911 г. В вагоне.

В 2 ч. 20 м. дня выехали из Анарадхапуры в Коломбо.

Длинный вагон третьего класса, два отделения. В одном:

1. старик, в профиль губастый, похожий на Шуфа, хотя с более крупными чертами, бронзовый лицом, бритый, как актер, с сережками в ушах; на голове платок чалмой, до пояса голый, грудь в волосах, до пояса закутан в белое;

2. не старик, хотя с сединой в стриженной голове, похожий на Победоносцева, на шее ожерелок

из чего-то вроде сухого чернослива, в ушах сережки, очень худой, тоже до пояса весь голый, ниже окутан ярко-оранжевой тканью;

3. старуха, оч. обыкновенная, — как банщица;

4. малый лет 12, голый до пояса;

5. миловидная молоденькая (лет 14) женщина.

В другом (где мы):

1. старый [неразборчиво написанное слово. — М. Г.], весь бритый, в седой щетине, ноги и жопа закутаны белым, прочее все голое;

2. дикий малый, очень темный (тамил), чернозубый от бетеля, похожий на индейца, верхняя губа в черной щетине (давно не брита), половина головы синяя (бритая), половина — в черных конских волосах, голый, закутаны в простыню опять таки только ноги; жевал бетель и дико глядел; потом, достаточно окровавив пеной бетеля рот, лег; возле — медный кувшин с водой, — как у многих, потому что пить из общей посуды нельзя, да нельзя даже и к собственному кувшину прикасаться губами — слюна считается нечистой;

3. старуха в серьгах, очень черная, похожа на еврейку, голая, но через одно плечо и на ногах — красная ткань;

4. «мужик», лысоватый, черная борода, страшно волосатая грудь, вид рабочего, похож на Петра Апостола.

На станциях продавцы кокосовых орехов кричат «Курумба!»

[В архиве сохранились оригиналы трех писем Веры Николаевны с Цейлона: 2 — матери, 1 — брату Дмитрию Ник. Муромцеву.]

19/7 марта.

[...] Сейчас мы в Кэнди, в гористой местности Цейлона. Здесь очень красиво. Священное искус-

ственное озеро. Очень интересный буддийский Храм. Сегодня мы уезжаем отсюда в горы. Там уже прохладно. За дни, проведенные на этом необыкновенном острове, мы увидели столько нового, ни на что не похожего, столько прекрасного, что я еще не могу как следует освоиться, не могу разобраться во всех впечатлениях. [...] по преданию, рай находился здесь. Есть на Цейлоне Адамов пик, есть и мост, по которому они бежали с Евой в Индию, изгнанные из рая. Да, здесь, действительно, рай. Поразило меня буддийское богослужение. Мы вошли в первый раз в храм их вечером. В полумраке грохот бубен, бой в барабан, игра на флейтах, много цветов с одуряющим запахом, и бонзы в желтых мантиях. [...] Мне очень нравится, что здесь приносятся в жертву цветы. [...]

Мы думаем, если все будет так, как надо, сняться в Коломбо 15 марта. В Одессе быть через месяц, следовательно, в Москве в начале Фоминой. [...]

20/8 марта.

[...] Нурильо, где мы находимся, горное местечко, здесь прохладно, ночью даже холодно. Немного отдохнули от жары. Ян очень истомлен. Мне кажется, что ему вредно потеть при его худобе. Пища здесь ужасная, почти все с перцем. Но зато так хорошо, красиво, интересно, что редко бывает подобное сочетание: и древности, и чудесная растительность, здоровый климат. Много увидели нового, например, здешние туземцы мужчины не стригут волос, и делают прически и все носят гребень, панталон, так же как в Египте нет, а все [в] юбках и босиком. Ездят здесь на людях, как в Японии. Легонький на резиновых шинах двухколесный экипаж везет на себе вместе с толстым англичанином худой черный голый сингалезец, силь-

но обливающийся потом под отвесными лучами солнца.

— Сегодня утром мы поднялись на одну из здешних вершин. Поднимались 3 часа, спускались 1 1/2 ч. Все время шли по хорошей искусственной дорожке, вьющейся среди леса. Растительность здесь какая-то необыкновенная: деревья покрыты мхом, какие-то гелиотроповые цветы. Сухо было поразительно, что-то по временам шуршало в сухих листьях, может быть и змеи. Когда мы взошли на вершины, то увидели целый океан гор, идущих кольцами, а на горизонте серебряная гирлянда облаков, — это было на 8.300 ф. над уровнем моря. Тянуло свежестью, может быть, с океана. Здесь горы конусообразные, только Адамов пик имеет иную форму. [...]

[Письмо В. Н. брату и невестке от 20/8 марта 1911 г., к которому, судя по приписке, был приложен священный цветок из Буддийского храма:]

[...] Мы теперь в Англии, но не в той дождливой со сплином, в какой вы были в прошлом году, а в цветущей, экзотической, где чувствуется нега Азии, с удушающе-сладкими запахами и красной почвой. [...] После 18 дневного перехода по Красному морю и Океану, где мы пережили совершенно новые ощущения, видели очаровательные закаты, необыкновенно красивые лунные ночи, обливались потом и практиковались во французском языке, мы, наконец, попали в Коломбо. И с первого же шага изумление и восхищение попеременно охватывают нас. Прежде всего меня поразила мостовая терракотного цвета, затем рикши-людилошади с их элегантными легкими колясочками, потом необычайная растительность, тут все есть. [...]

В Коломбо мы прожили 2 дня, жили за городом в одноэтажном доме-бунгалове, в саду, комнаты без потолка, всю ночь электрический вентилятор производил ветер, — жара была неугасимая. Ездили мы на рикшах за несколько верст к отелю, стоящему на океане за городом. Возвращались при лунном свете, казалось, что едешь по какой-то волшебной стране. — Из Коломбо мы поехали по железной дороге в Кэнди, путь очень интересный идет среди гор мимо плантации чая [...] проходит через роци кокосовых пальм, по временам поезд несется над пропастями... В Кэнди тоже были 2 дня. Ездили в лунную ночь в горы, видели летающие огоньки. Бездна, освещенная лунным светом, блестела. Несколько раз были в Буддийском храме. Видели танцы дьявола: их танцуют с факелами в руках под бой бубен, грохот барабанов и пение туземцев. Зрелище интересное, но утомительное. Теперь мы поднялись еще выше, в местечко Nuwarn Eliya, выговаривают ее Нурилья. — Едим здесь ананасы, бананы, но виски не пьем, хотя и видим, как пьют их спокойные англичане. [...]

[В дневничке-конспекте В. Н. за апрель/май 1911 г. сказано:]

«Проход по Босфору при лунном свете. Апрель 6 — Приход в Одессу. Одесса. 27 — Москва. Панихида по дяде Сереже. Сева. Май 10 — Отъезд в Глотова».

[С мая 1911 года начинаются дневниковые записи И. А. Бунина. (Первые записи перепечатаны на машинке):]

14 Мая 1911 с[ело] Васильевское-Глотова.
Приехали одиннадцатого.

Нынче прохладно. Еще по ранне-весеннему кричат грачи в глотовском саду на старых голых

березах. Наш сад одевается. Зелень свежая, густая, мягкая даже на вид. На яблонях еще видны ветви, — не совсем еще опушились зеленью, особенно мягкой и сероватой (по сравнению с более зеленой и гораздо более яркой на кленах). Кисти сирени уже серо лиловеют. Густая трава усыпана голубенькими цветочками.

Весь день трезвонят на колокольне — лавочник Ив. Лаврентич нанял мальчишек и велел звонить с утра до вечера, чтобы прошел слух, что он, новый староста, чтит царские дни. Безобразит церковь, — обивает стены железом дикого цвета. [...]

Как дьявольски густы у некоторых мужиков бороды исподнизу! Что-то зоологическое, древних времен.

Царствие Божье, радость внутри нас самих. Для радости порою надо удивительно мало. Бывало, в гимназии, зацепится у учителя панталона за заднее ушко штиблета, — какой смех!

20 Мая 1911 г.

Молились о дожде мужики, потом Бахтеяров, было отдание Пасхи, Вознесение — по целым дням трезвон на колокольне. Так и свяжется в воспоминании эта весна с этим трезвоном. И станет все милым, грустным, далеким, невозвратным.

Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был 14 лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: «выгнали за девочек, игумен поймал за *работой*... Я провиненный монах, значит». Почему хвастается? Думаю, что отчасти, что бы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой цинической откровенности. «Что-ж, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?» — «Чорт меня теперь заставит работать!» — В подряснике, в разбитых рыжих сапо-

гах, женский вид, — с длинными жидкими волосами, — и молоджавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и что-то в груди — не то чахоточный, не то слегка горбатый. «Нет-ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?» Я подарил ему синюю косоворотку. Превеличенный восторг. «Ну, я теперь надолго житель!»

Ездили недавно в Скородное. Как чудесно! Был жаркий день, и какая свежесть и густота трав и зелени деревьев, какая прелесть полураспустившихся дубков! Великое множество мелких желтеньких цветов, — целые поляны ярко-желтые, — и желтых лилий, а больше всего все искраплено какими-то голубенькими, вроде незабудок. И уже много лиловых медвежьих ушек на их высоких стеблях.

Как-то вечером гуляли в Острове. Левитановские мягко-лиловые тучки, нежно-алые краски на закатном небе. И прелесть соединения свежести, сочности молодой зелени с запахом прошлогодней листвы. Необыкновенно тонкое время.

Вчера холод, осенние тучи. Ночь ледяная, с золотой крупной Венерой над закатом, с молодым месяцем.

Нынче ясно, весело, но ветрено и холодно.

Карпушка говорит вместо фокстерьер — фокстерьерц. Конечно, это гораздо более по русски.

28 мая, 1911 г.

Все последние дни лил дождь, холод ужасный.

Сейчас пять часов, резко потеплело. Заходила огромная лилово-синяя туча с юга, гремел гром. Против солнца она стала металлической, зелень сада на ее фоне необыкновенна. Мы с Колей смотрели к югу от людской. Готовский сад, Бахтевровский, зеленая долина под Колонтаевкой — все

образовывало чудеснейший пейзаж, теплый, весенний. Зелень кленов яркая, лозин и берез — нежная, бледная; на зеленях возле Колонтаевки — чуть синеватый налет. Прелестная серебристость старых тополей в лугу под гловатовской усадьбой.

— Карпушка, а ты знаешь, что такое пейзаж?
Молчит.

— Ну что-ж ты молчишь? Немой что-ли? Что такое пейзаж?

— А я знаю?

— Ну, все таки?

Помолчав:

— Лапша.

— Ты очумел!

— Ну матерком что-нибудь...

Стряпуха, его мать, ходила возле ограды, собирала в фаргук желто-пуховых кривоногих утят, боясь нового дождя.

В церковной караулке часы часто останавливаются: мухи набиваются. Сторож бьет по ночам иногда чорт-знает-что, — например, одиннадцать, вместо двух.

5 июня 1911 г.

Настасья Петровна привезла в подарок Софье Петровне Ромашковой огромный белый платок, весь в черных изображениях черепов и костей, с черными надписями: «Святой Боже, Святой Крепкий».

Старуха Луковка; специальность обмывать покойников, быть при похоронах, и это уже давно, чуть не с молодости. «Сюжет для небольшого рассказа». На варке у нее одна овца. Хороша жизнь и овцы этой!

Мужик с култышкой (уродливый большой палец), и узким когтем вместо ногтя.

Ярыга, циник печник.

Дворянская близость с дворовыми и усвоенная, конечно, от них, дворовых, манера потешаться над собой, забавлять собой.

7 Июня.

Приехал Юлий.

Первый хороший день, а то все лютые холода и проливные дожди.

8 Июня.

Юлий привез новость — умер ефремовский дурачок Васька. Похороны устроили ему ефремовские купцы прямо великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли дрончить и покатывались со смеху, глядели, как он «старается», — а похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие... Тоже «сюжет».

Монахиня, толстая старуха, белое лицо обрезано черным клобуком; в очках, в новых калошах.

20 Июня.

Третий день хорошая погода.

Вчера ездили кататься за Знаменское. Лощинки, бугор, на бугре срубленный лес, запах костра. Два-три уцелевших дерева, тонких, высоких; за листвой одного из них зеркальная луна бобом (половинкой боба). Ехали назад мимо знаменского кладбища — там старики Рышковы и уже Валентин с ними. А на кладбище возле Знаменской церкви — наши: дед, бабка, дядя Иван Александрович, на которого я, по словам матери, будто-бы разительно похож.

Нынче опять катались, на Жадовку. Долгий разговор с Натахой о крепостной, старинной жизни. Восхищается.

[В тот же день (20 июня, 1911 г.) Бунин пишет Нилусу:]

[...] Мои дела, как всегда, дрянь: лили дожди, бушевали грозы, ураганы, замирало по ночам сердце от подагры и кишечника — вредны мне дожди и сидение в кресле! В Одессу думаю приехать — или в июле, или в *августе*, но навряд к Федорову: там у него на вышке умрешь. Скажи Евгению²: я целую его и спрашиваю: буде я вздумаю ехать, можно-ли воспользоваться его старым приглашением? Но чур — говорить откровенно, как пододбает настоящим друзьям! [...]

[Продолжение дневниковых записей:]

3 Июля.

Изумительно — за все время, кажется, всего два-три дня хороших. Все дождь и дождь.

Ездили с Юлием и Колей в Слободу.

Нынче опять был дождь, хотя клонит, видимо, на погоду. Сейчас 6 часов, светло и ветрено, по столу скользят свет и тени от палисадника. Речка в лугу как огромное ослепительное, золотое зеркало. Только что вернулись от Таганка, ста восьмилетнего старика³. Весь его «корень» — богачи, но грязь, гнусность, нищета кирпичных изб и вообще всего их быта ужасающие. Возвращаясь, заглянули в избу Донькиной старухи — настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку.

Мужики «барские» называют себя, в противовес однодворцам, «русскими». Это замечательно.

Таганок милый, трогательный, детски простой. За избой, перед коноплями, его блиндаж; там сани, на которых он спит, над изголовьем шкатулочка, где его старый картуз, кисет. Когда пришел, с трудом стащил перед нами шапку с голой головы. Легкая белая борода. Трогательно худ, опу-

щенные плечи. Глаза без выражения, один, левый, слегка разодран. Темный цвет лица и рук. В ладонях. Ничего общего не может рассказать, — только мелкие подробности. Живет в каком-то другом, не нашем мире. О французах слабо помнит — «так, — как зук находит». Ему не дают есть, не дают чаю, — «ничтожности жалеют», как сказал Григорий.

Говорит с паузами, отвечает не сразу.

— Что-ж, хочется еще пожить?

— А Бог ё знает... Что-ж делать то? Насильно не умрешь.

— Ну, а если бы тебе предложили прожить еще год или, скажем, пять лет? Что бы ты выбрал?

— Что ж мне ее приглашать смерть-то? — (И засмеялся и глаза осмыслились.) — Она меня не угрызет. Пускай кого помоложе, а меня она не угрызет — вот и не идет.

— Так как же? Пять лет или год?

Думает. Потом нерешительно:

— Через пять-то годов вошь съест...

15 Июля.

Уже дней десять — и без перерыва — дождь.

Я уже с неделю болен — насморк, бронхит. Вообще, когда-же это кончится, мое самоубийство, летняя жизнь в Васильевском?

Нынче Кирики, престольный праздник, ярмарка. Выходил. Две ужасных шеренги нищих у церковных ворот. Особенно замечателен один калека. Оглобли и пара колес. Оглобли на половину заплетены веревкой, на оси — деревянный щиток. Под концами оглобель укороченная, с отпиленными концами дуга, чтобы оглобли могли стоять на уровне оси. И на всем этом лежит в страшной равнине калека, по женски повязанный платком, с мо-

лочно-голубыми, почти белыми, какими-то нечеловеческими глазами. Лежит весь изломанный, скрюченный, одна нога, тончайшая, фиолетовая, нарочно (для возбуждения жалости, внимания толпы) высунута. Вокруг него прочая нищая братия и почти все тоже повязаны платками.

Еще: худой, весь изломанный, без задницы, один костреч высоко поднят, разлапые ноги в сгнивших лаптях. Невероятно мерзки и грязны рубаха и мешок, и то и другое в запекшейся крови. В мешке куски сального недоваренного мяса, куски хлеба, сырые бараньи ребра. Возле него худой мальчишка, остроухий, рябой, узкие глазки. Весело: «Подайте, папашечки!» Еще: малый, лет двадцати пяти, тоже рябой и веселый. Сказал про одного нищего, сидевшего на земле, у которого ноги в известковых ранах, залепленных подорожником, и в лиловых пятнах: «Его считается по старинному заведению проказа». Потом все нищие деловито двинулись на ярмарку. Прокаженный поехал, заерзал задницей по земле.

Кирюшка рассказывает, что его родственник, «Трегубый», уже лет двадцать пьет, собирая на Иерусалим. Говорят, что в Рождестве ребята страшно франтят и пьют: «По двадцать целковых сапоги. Теперь новый народ пошел!»

Мужик на ярмарке, держа елозившего у него под мышкой в мешке поросенка, целый час пробовал губные гармонии и ни одной не купил. Веселый, ничуть не смутился, когда торгош обругал его.

Грязь страшная. Сейчас, после полдня, опять дождь. На гумне пахнет теплой и сырой землей и «бздюкой».

Для рассказа: бородатый, глаза блестящие, забитый курносый нос, говорит, говорит и налезает на человека.

19 Июля.

Вчера и нынче первые хорошие дни, нынче особенно. Тихо, розоватое солнце сквозь голубой сухой тонкий туман.

Шесть часов. Все стало еще краснее от этого тумана. Река в лугу течет золотым красноватым пламенем.

Половина восьмого. Солнце в аспидной мути, малиново-огненное (особенно сквозь ветки палисадника).

Без двадцати восемь. Совсем помутнело, малиновое.

Юлий и Коля уехали в Ефремов, Софья в Орел⁴.

29 Июля 1911 г.

Все время отличная погода.

Ездили с Юлием на Бутырки. О, какое грустное было мое детство! Глушь, Николай Осипович, мать...

25-го уехал Юлий.

Идешь вечером к Пескам — из-за Острова большая луна, сперва малиновая, потом оранжевая и все прозрачнее и прозрачнее.

Вчера вечером катались (с Верой и Колей) к лугам на Предтеченово. Что за ночь была! И вообще какое прелестное время — начало августа! Юпитер низко на юге, Капелла на севере. Лозинки вдоль дороги, за ними луна. Слева, сзади — чуть алеющий закат, бледно-бледно-синие, необыкновенной красоты облака. Справа жнивье, бледное в лунном свете, телесного цвета. Рисового цвета ряды. Думал о поздней осени: эти луга, очень высокая луна, тонкий туман в лугах... Потом с грустью вспомнил Бутырки, ужин, самоцветные глаза собак под окнами... отец ложится спать под окнами в телегу...

Нынче Вера уехала в Лазавку⁵.

Перед вечером опять было оранжево-золотое солнце и оранжево-золотой блеск в реке.

Сейчас 10 часов. Луна уже высоко, но она на каком-то непрозрачном небосклоне. Ночь вообще странная — тени от меня нет. Луна очерчивается на этом небосклоне розово-желтым, без блеску диском.

Лежали с Колей на соломе. О Петре Николаевиче — как интересна психика человека, прожившего такую изумительно однообразную и от всех внутренне сокровенную жизнь! Что должен чувствовать такой человек? Все одно и то же — дожди, мороз, мятежь, Иван Федоров... Потом о Таганке: какой редкий, ни на кого не похожий человек! И он — сколько этого однообразия пережил и он! За его век все лицо земли изменилось и как он одинок! Когда умерли его отец и мать? Что это были за люди? Все его сверстники и все дети их детей уже давно-давно в земле... Как он сидел вчера, когда мы проходили, как головой ворочал! Сапсан! Из жизни долголетнего человека можно написать настоящую трагедию. Чем больше жизнь, тем больше, страшней должна казаться смерть. В 80 лет можно надеяться до 100 дожить. Но в 100? Больше не живут, смерть неминуема. А при таком долголетии как *привыкает* человек жить! [...]

30 Июля

Сейчас, перед обедом, ходили через деревню на кладбище. Пустое место среди изб — бугры глины, битого кирпича, заросшие лебедою, репьями. Двор Пальчикова, подсолнечники на гумне.

Кладбище все в татарках, ярких, темно лиловых и розовых (другого сорта). И уже приметы осени — уже есть татарки засохшие, из одного

шелковистого серого пуха, который будет осенью летать. В картофеле еще есть цветы. По валам чернобыльник.

«Наглый хохот черных женщин. Спросите ее об ее имени — хохот и вранье». Это из Гончарова. То же самое и в русской деревне.

«Голубое небо с белым отблеском пламени». Очень хорошо.

«Если вы ничего не знаете о жизни, что же вы можете знать о смерти?» Конфуций. [...]

2 Августа 1911 г.,

Погода непрерывно чудесная. Особенно хороши лунные ночи. Вчера, от половины десятого, с час гулял. Обошел весь сад. Уже кое-где хрустит под ногами точно поджаренная листва, чуть пахнет яблоками (хотя их нет), корой, дымком, кое-где тепло, кое-где свежесть. Просветы между стволами на валу. Стоял у шалаша. Какой чудесный пролет на старое кладбище, на светлое поле! Светлый горизонт, розоватый. Сухая наглаженная солома кое-где блестит на земле.

На что похожи копны в поле? Обрывки цепи, гусеницы.

Страстное желание (как всегда в хорошую погоду) ехать. Особенно на юг, на море, на купанье.

8 Августа.

Еду в Одессу, пишу под Киевом в вагоне.

[Поехал Иван Алексеевич один, Вера Николаевна осталась в Глотове: «Очень одиноко», написано у нее 8 августа.

В сентябре — Москва, отъезд Буниных через Петербург за границу вместе с Н. Пущешниковым. Берлин, Нюрнберг, Швейцария, Флоренция, Рим, Неаполь, Капри.

В архиве сохранились две открытки, посланные Буниным П. А. Нилусу:]

1) 2 ноября.

Дорогие друзья, мы на Капри [...]. В Москве все время хворал — глубокий бронхит. Ехали долго — через Питер, Берлин, Швейцарию, с остановками. [...]

2) Почтовый штемпель: Capri, 23. 12. 11

Дни идут в работе. Написал два рассказа⁶ — один послал в «Совр. Мир», другой Сакеру. [...] Ходим в пиджаках, в общем живем — слава Богу. Рано, рано просыпаемся — и все двери настеж на балконы, на морской воздух. «Екатеринослав» пойдет в конце февраля в Японию. Едем? [...]

[В дневничке-конспекте В. Н. сказано: Горькие Ал. М., М. Ф., Черемновы⁷, Piccola Marina, Шаляпин и Терещенко.]

1 9 1 2

[Конспект В. Н.:]

Новый год встречали у Горьких (русский). Ян читал «Веселый двор».

[Сохранились письма Бунина П. А. Нилусу (и Е. Буковецкому):]

4 Янв. 1912 (ст. стиля)¹:

Дорогие друзья, Вы смолкли — крепко, как перепела, когда погорит заря и потянет ночным ветром: сколько ни трюкай — ни звука в ответ. А я уже беспокоюсь: ну, ты-то, Евгений, вообще редко пишешь, а вот Петр — что с ним сделалось? Видел недавно сон какой-то про него, истолковал его дурно — и хотел было послать телеграмму. Где Вы, как живете? Я свою жизнь и труды свои описывал, теперь нового у меня только то, что отлучались мы с Капри на двое суток — были в Неаполе, Пуцуоли, Помпее и Соренто и дьявольски устали и испортили желудки. Теперь снова

уселись на Капри за работу. Но прохладней стало, завертывает иногда дождь с ветром, приходит в голову, не удрать-ли отсюда недельки через две-три? В Египет, например? Ничего еще не знаю, но мысли бродят. [...] Не знаешь-ли, Петр, о «Екатеринославе» чего-нибудь? [...]

[Открытка от 21 (8) Янв. 1912:]

Ужели Вы так сошли с ума на гравюрах, что и не читали двух томов Толстого? А если да — то что скажете? Я порою не нахожу слов для выражения телячьего восторга! В Русских изданиях страсть сколько выпущено — я читал берлинские. [...]

[Открытка, почтовый штемпель 20. 2. 12:]

[...] Живем по прежнему — в работе. Я написал еще рассказ — развратный. [...]

[За февраль, как сказано в дневничке В. Н., Бунин написал: «Игнат», «Захар Воробьев».

Март: Возвращение домой. Неаполь. Бриндизи, австрийский пароход, Котору, Патрас, Афины. Неделя в Афинах. Путь в Константинополь. Астма у Коли. Одесса. Лондонская гостиница. Батистини. Грациэлла². Куровские. Грузинский. Ценовский, ресторан Кузнецова.

Апрель: Мое возвращение в Москву. [...] «Среда» — «Веселый двор». — Успех большой.

В мае возобновляются дневниковые записи Бунина:]

9 Мая 1912 г.

Юлий, Митя и я ездили в Симонов монастырь.

Потом в 5-ом часу были у Тестова. Говорили о Тимковском, о его вечной молчаливой неприязни к жизни. Об этом стоит подумать для рассказа.

Ресторан был совершенно пустой. И вдруг — только для нас одних — развеселый звон и грохот, кэк-уок.

19 Мая. Глотова (Васильевское).

Приехали позавчера.

Пробыли по пути пять часов в Орле у Маши³. Тяжело и грустно. Милая, старалась угостить нас. Для нас чистые салфеточки, грубые, серые; дети в новых штанишках.

Орел поразил убожеством, заброшенностью. Везде засохшая грязь, теплый ветер несет ужасную пыль. Конка — нечто совершенно восточное. Скучная жара.

От Орла — новизна знакомых впечатлений, поля, деревни, все родное, какое-то особенное, орловское; мужики с замученными скукой лицами. Откуда эта мука скуки, недовольства всем? На всем земном шаре нигде нет этого.

В сумерках по Измалкову. У одной избы стоял мужик — огромный, с очень обвислыми плечами, с длинной шеей, в каком-то высоком шлыке. Точно пятнадцатое столетие. Глушь, тишина, земля.

Вчера перед вечером небольшой теплый дождь на сухую сизую землю, на фиолетовые дороги, на бледную, еще нежную, мягкую зелень сада. Ночью дождь обломный. Встал больным. Глотова превратилось в грязную, темную яму. После обеда пошли задами на кладбище. Возвращались по страшной грязи по деревне. Мужик покупал на улице у торгаша овечьи ножницы. Долго, долго пробовал, оглядывал, торгаш (конечно, потому, что надул в цене) очень советовал смазывать салом.

Мужик опять точно из древности, с густой круглой бородой и круглой густой шапкой волос; верно, ходил еще в извоз, плел лапти, пристукивал их кочетыгом при лучине.

Перед вечером пошли на луг, на мельницу. Там Абакумов со своими ястребиными глазами (много есть мужиков, похожих на Удельных Великих Князей). Пришел странник (березовский мужик). Вошел, не глядя ни на кого, и прямо заорал:

Придет время,
Потрясется земля и небо,
Все камушки распадутся,
Престолы Господни нарушатся,
Солнце с месяцем примеркнут,
И пропустит Господь огненную реку,
И поморит нас, тварь земную,
Михаил Архангял с небес сойдет,
И вострубит у трубы,
И возбудит всех мертвых от гроба,
И возглаголет:
Вот вы были-жили
Вольной волей,
В ранней обедне не бывали,
Поздние обедни прожирали:
Вот вам рай готовый, —
Огни негасимые!
Тады мы к матери сырой земле припадаем
И слезно восплачем, возрыдаем.

(Я этот стих слышал и раньше, немного иначе).

Потом долго сидел с нами, разговаривал. Оказывается, идет «по обещанию» в Белгород (ударение делает на «город»), к мощам, как ходил и в прошлом году, дал-же обещание потому, что был тяжело болен. Правда, человек слабый, все кашляет, борода сквозная, весь абрис челюсти виден. Сперва говорил благочестиво, потом проще, закурил. Абакумов оговорил его. Иван (его зовут Ивановом) в ответ на это рассказал, почему надо курить, жечь табак: шла Богородица от Креста и плакала,

и все цветы от слез Ее сохли, один табак остался; вот Бог и сказал — жгите его. Вообще, оказалось, любит поговорить. Во дворе у него хозяйствует брат, сам-же он по слабости здоровья даже не женился. Был гармонистом, то есть делал и чинил гармонии. Сидел в садах, на огородах. Разговор начал певуче, благочестиво, тоном душеспасительных листков, о том, что «душа в волнах, в забытищах».

Потом Иван зашел к нам и стал еще проще. Хвалился, что он так забавно может рассказывать и так много знает, что за ним, бывало, помещики лошадь присылали, и он по неделям живал в барских домах, все рассказывал. Прочитал, как слепые холстину просят:

Три сестры жили, три Марии Египетские были,
На три доли делили, то богаты были.
Одну долю отделили, незрящее тело прикрывали,
А другую долю отделили по тюрьмам темницам,
Третью долю отделили по церквам-соборам.
Не сокращайте свое тело хорошим нарядом,
А сокрасьте свою душу усердным подаяньем.
Ето ваше подаяние будет на первом присутствии
Как свеча перед образом-Богом.
Не тогда подавать, когда соберемса помирать,
А подавать при своем здоровьи,
Для своей души спасенья,
Родителям поминовенья.
На том не оставьте нашей просьбы!

Рассказывал, что если слепым не подадут, они проклинают:

Дай тебе, Господь, два поля крапивы
Да третье лебеды,
Да 33 беды!
Новая изба загорись,
Старая провались!

Вечером гуляли. Когда шли на Казаковку, за нами шла девочка покойного Алешки-Барина, несла пшено. «На кашу, значит?» — «Нет, одним цыплятам мать велит, а нам не дает». Мать побирается, девочка все одна дома, за хозяйку, часто сама топит. «У нас труссы есть, два, цыплят целых двенадцать...»

21 Мая

Еще лучше день, хотя есть ветерок. Ходили на кладбище. Назад через деревню. Как грязны камни у порогов! Солдат, бывший в Маньчжурии. Море ему не нравится. «Японки не завлекательны».

Иван рассказывал, что в Духовом монастыре (под Новосилем) есть такой древний старец, что, чтобы встать, за рушник, привязанный к костылю в стене, держится. «И очень хорошо советует».

Шкурка змеи — выползень.

Перечитываю Куприна. Какая пошлая легкость рассказа, какой дешевый бойкий язык, какой дурной и совершенно не самостоятельный тон.

23 Мая

Встретил Тихона Ильича. Говорит, что чудесно себя чувствует, несмотря на свои 80 лет, только «грызь живот проела». Сам себе сделал деревянный бандаж. «О! Попробуй-ка! Так и побреживает!» И заливается счастливым смехом.

Мужик Василий Старуха похож на Лихунчанга, весь болен — астма, грыжа, почки. Побирается, а про него говорят: «Ишь войяжирует!»

Ездили через Знаменье к Осиновым Дворам.

Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет вилами навоз, а сын: «Ах, как бы я хотел прочитывать «Лунный камень» Бальмонта!»

Из солдатского письма: «Мы плыли по высоким волнам холодного серого моря».

25 Мая

Все зацвело в садах.

Вчера ездили через Скородное. Избушка на поляне, вполне звериное жильё, крохотное, в два окошечка, из которых каждое наполовину забито дощечками, остальное — кусочки стекла и веточки. Внутри плачет ребенок Марфутки, дочери Федора Митрева, брошенной мужем. А лес кругом так дивно зелен. Соловьи, лягушки, солнце за чащей осинника и вся белоснежная большая яблоня «лесовка» против избушки.

Нынче после обеда через огороды. Нищая изба Богдановых, полная детей, баб, живут вместе два брата. Дети идиоты. На квартире Лопата. Любовница Лопаты со смехом сказала, что он очень болен. Он вышел пьяный. Вид — истинный ужас. Разбойник, босяк, вся морда в стручьях, — дрался с любовницей. Пропивает землю и мельницу.

Был на мельнице. Разговор с Андреем Симановым. По его словам, вся наша деревня вор на воле. Разговор о скопцах. Мужик сказал про лицо скопца: «голомысый». Мальчик, похожий на скопца, жуёт хлеб и весело: «Вот выпил, хлебушка закусил, оно и поблажало». [...]

27 Мая. 12 ч.

Ждем Юлия.

Сплю плохо, вчера проснулся очень рано от тоски в животе и душе. Было дивное утро. Свежесть росы, ясность всего окружающего и мысли. Пять часов, а уже все давно проснулось. Все крыши дымились — светлым снизу, тонко и ярко голубым дымом. Нынче опять проснулся около пяти. День дивный, но не выходил до обеда, немного повышена температура. После обеда, часа в два — часто, часто: бам-бам-бам-бам! — набат. Побежали за сад — горит глотовская деревня. Огромный из-

вивающийся столб дыма прелестного цвета, а ниже, сквозь дым, огромное пламя цвета уже совсем сказочного, красно-оранжевого, точно яркой киноварью нарисованного. На деревне творилось нечто ужасающее. Бешено, с дикарской растерянностью таскали из всех изб скарб необыкновенного, дикарского убожества. Бабы каждая точно десять верст пробежала, бледны смертельно, жалкие безумные лица, даже и кричать не могут, только бегают и стонут. Жара — суций ад, конец улицы совершенно застлан дымом. В один час сгорело девять дворов. Народ со всех деревень все бежит и бежит. Бежит баба, за ней коза. Остановится, ударит козу и опять бежит, а коза за ней.

Перед вечером ходили опять на деревню. Встретили рыжего мужика, похожего на Достоевского: «Мой двор девка отстояла, я был в волости. Одна отстояла: ходит и поливает, только и всего. Давайте мне, говорит, воды, — только и всего. Ходит и поливает, ходит и поливает». И от того, что выпивши, и от умиления — слезы на глазах. «Мне давно один человек говорил: ваша деревня процветет, говорит». Подозревают, что деревню сожгли те три двора, что общество хотело выселить в Сибирь (да не выслало, ибо на высылку нужно было 900 рублей). Один из этих дворов — двор тех, что убили Ваньку Цыпляева. Возле песков встретили отца этого Ваньки. Шея клетчатая, пробковая. Рот — спеченая дыра, ноздри тоже, в углах глаз белый гной. Лысый. Потом нас нагнал еще какой-то мужик, а с ним кузнец, он-же и сельский писарь, маленький, говорливый, знаменитый тем, что он всю жизнь посвятил сутяжничеству. К каждому слову: «согласно статье» (не говоря, какой именно) и «глазомерно» (ни к селу, ни к городу).

Все последние дни цвели яблони и сирень. Из зала через гостиную в окне моей комнаты — ярко-

темная зелень, ниже как-бы зимний вид — белизна яблонь, еще ниже купы цветущей сирени.

28 мая

Прелестнейшая погода, и все слава Богу — и Юлий, и Евгений с нами. Евгений рассказывал об отце Николки Мудрого, которого звали Хмеру, за привычку его говорить к каждому слову «к хмеру», т. е. «к примеру». Он пьянствовал совершенно как одержимый, старуху жену убивал чуть не каждый день до полусмерти. Наконец, она сказала ему, что идет к земскому, просить, чтобы у него отобрали все имущество. И ушла к соседкам. Он посидел, посидел на пороге, потом встал, вошел в избу, взял веревку, поцеловал дочь девченку, пошел в закуту и удавился. Когда Николка (который убивал его страшно, каждый праздник) вернулся под вечер домой, он уже давно был мертв. Николка перерезал веревку, на которой он висел, вытащил его из закуты и положил на навоз возле ворот. Лапти Хмеру зачем-то снял, был в одних онучах. И они торчали серыми трубками.

Ходили в Колонтаевку. Говорили, что хорошо бы написать историю Е. с Катькой. Как он потребовал, чтобы она, его любовница, подвела ему Настьку, — «а не то брошу тебя». Лунная ночь, он с Катькой в копнах. Мать подсматривает, а разогнать боится — барин, дает денег. Коля говорил о босяках, которые перегоняют скотину, покупаемую мещанами на ярмарках. Я подумал: хорошо написать вечер, большую дорогу, одинокую мужицкую избу; босяк — знаменитый писатель (Н. Успенский или Левитов)... Евгений рассказывал: у него в саду сидели два босяка, часто ссорились и один, бывший солдат, наконец застрелил другого (с мыслью сказать, что тот сам застрелился). Холод, поздняя осень. Он перемыл в пруде ру-

башки, портки, снятые с убитого, надел их. Варил кашу, ночевал от холода под ящиком для яблок...

Потом о последнем дне нашего отца. Исповедуясь, он лежал. После исповеди встал, сел, спросил: «Ну, как по вашему, батюшка, — вы это знаете — есть во мне *о н а*?» Робко и виновато. А священник резко, грубо: «Да, да, пора, пора собраться».

31 Мая

Прекрасная погода.

Вчера ездили осматривать Жадовскую землю, по межам, среди хлебов.

Нынче часов в пять пришел какой-то нищий солдат, пьяный, плакал, ругал и дворян, и забастовщиков, а царя то ругал, то говорил, что он, батюшка, ничего не видит. [...]

А через час еще один бродяга, в скуфье. Поразительно играл глазами, речь четкая, повышенная, трагическая: «Бог есть добро, добро в человеколюбии!». [...]

7 июня 12 г.

[...] Читал биографию Киреевского⁴. Его мать — Юшкова, внучка Бунина, отца Жуковского.

Поездка в Гурьево. На обратном пути ливень. Оборвался гуж, мучительно тащились по грязи.

Разговаривал с Илюшкой о казнях. Говорил, что за сто рублей кого угодно удавит, «только не из своей деревни». «Да чего-ж! Ну, другие боятся покойников, а я нет».

К Андрею Сенину приبلудилась собака. «Пожила, пожила, вижу — без надобности, брехать не брешет, ну я ее и удавил».

В избе у Абакумова показывал фокусы заезжий, бродячий фокусник. В избе стояла корова. Ее «для приличия» отделили от публики «занавесом» — веретями.

Гуляли с Юлием. Грязь, сырость, холодно. Перебирали ефремовскую компанию. Знаменитый по дерзости еврей Николаев, бывший всех в морду, Анна Михайловна, помощник податного инспектора, сборы Маши в городской сад... Ужасно!

13 Июня.

Все эти дни то хорошо, то дождь.

Вчера ездили в Осиновые дворы.

Сырой, с тучами вечер. Прошли до песков, от туда через деревню. Стояли возле избы Григория, бывшего церковного сторожа. Сдержан в ответах. Очень вообще скрытны, хитры мужики.

У старух, когда они молятся, кладут поклоны, трещат коленки.

— «Что это ты, Тихон Ильич, грустный стал?»
— «Чем *грузный?*»

16 Июня 12 г.

Поездка в лес Буцкого. Выгоны в селе Малинове. Мужик точно древний великий князь. Много мужиков похожих на цыган.

Ребенок, заголив белое пузо с большим пупком, заносит через порог кривую ножку.

За Малиновым — моря ржей, очаровательная дорога среди них. Лужки, вроде бугырских. Мелкие цветы, беленькие и желтые. Одинокий грач. Молодые грачи на косогоре, их крики. Пение мошкары, жаворонков — и тишина, тишина...

Потом большая дорога — и пение косцов в лесу: «На родимую сторонущку...» В лесу усадьба, полумужичкая. Запах елей, цветы, глушь. Огромные собаки во дворе. Говорят, как-то разорвали человека.

На большой дороге деревушка.

Шла отара, — шум от дыхания щиплющих траву овец.

Вечер, половина одиннадцатого. Гроза, ливень, буря. Слепит белой молнией, сполохом с зеленоватым оттенком, — в общем остается впечатление жести и лилового. Туча с запада. А за садом полный оранжевый месяц (очень низкий) за мотающимися ветвями сада. Небо возле него чисто. Выше красивые облака, точно из размазанных и засохших чернил.

Сейчас опять глядел в окно: месяц прозрачный и все таки нежный, молния ослепляет белым, в последний миг оставляя в глазах лиловое.

17 июня.

Ночь провел плохо, — всю ночь гроза. Просыпался в четыре. Был страшный удар.

После обеда сидел в шалаше. Что за прелестный человек Яков, как приятно слушать его. Всем доволен. «И дождик хорошо! Все хорошо!» Был женат, пять человек детей; с женой прожил 21 год, потом она умерла и он был семь лет вдовцом. Жениться второй раз уговорили. Был у родных, пришла дурочка «хлебушка попросить». — «А хочешь замуж?» — «За хорошую голову пошла бы». — «Ну, вот тебе и хорошая голова», — сказал ей Яков про себя. Повенчались, а она «прожила с после Успенья до Тихвинской — и ушла. Меня, говорит, прежние мужья жамками, канахфектами кормили; а ты кобель, у тебя ничего нету...» Земли у него полторы десятины. — «Да что-ж, я не жадный, я добродушный».

Вечером были на выезде из Глотова, в крохотной избушке, где молнией убило малого лет 15 и девочке-ребенку голову опалило.

Видел сына Таганка — страшный, седой, древний старик.

20 Июня.

Не мог заснуть до 2 ночи. Встал в полдень. Холодно, хмуро, дождь. Страшно ярка зелень деревьев. Сев. зап. ветер.

Перечитывал «Пут[ешествие] в Арзрум»⁵, — так хорошо, что прочел вслух Вере и Юлию первую главу. Перечитывал Баратынского (прозу) «Перстень» — старинка и пустяки. Как любили прежде рассказывать про чудаков, про разные «странности»!

21 Июня.

Много ветвей с зелеными листьями нарвало, накидало по аллее холодным ураганом.

Яков: «Ничаго! Не первой козе хвост ломать! Мы этих бурей не боимся!»

Читаю «Былины Олонецкого края» Барсова. Какое сходство в языке с языком Якова! Та же криволапая ладность, уменьшит[ельные] имена...

На деревне слух — будто мужиков могут в острог сажать за сказки, кот[орые] мы просим их рассказывать.

Пришел Алексей (прообраз моего Митрофана из «Деревни»). Жалкий, мокрый, рваный, темный, глаза слабые, усталые. Все возмущается, про что-нибудь рассказывает и — «вот бы что в газетах-то пронести!» Жил зимой в Липецке, в рабочем доме, лежал больной, 41 градус жару. Ужасно!

Холод нынче собачий. У меня болит все тело, жилы под коленками.

Яков в непрестанном восхищении перед своим хозяином, — в холопском умилении. Часто представляет его, — у того будто бы отрывистый говор, любовь к странным выходкам, к тому, что бы озадачить человека чем-нибудь неожиданным.

— Придешь к нему, вздохнешь нарочно голову... «Ай ты с похмелья, Яков?». — С похмелья,

Александр Григорич... «Ну на, вышей сотку! Живо!» — А то сидишь — удруг мальчишка бежит: «Скорей, хозяин кличет!» Я со всех ног к нему: что такое, А. Г., что прикажете?» «Садись!» Сел. «Пей!» И ставит на стол бутылку, и с торжеством: «А ведь сад-то я снял!». [...]

У Якова один сын в солдатах (его жена и правит домом летом), другой хромой, пьяница, сапожник, «отцу без пятака латки не положит», а как нужда — к отцу: «Батя, помоги!»

23 Июня.

В 6 1/2 утра уехал Юлий. Скучно и жалко его. Старееет, слабеет.

Вчера северная холодная погода. Прошли в Остров, вернулись через деревню. Пьяный, довольно молодой мужик, красное лицо, губы спеклись, ругает своего соседа. Вид разбойника, того гляди убьет.

Рагулин рассказывал, как их бил Гришка Соловьев. Один из них схватил черпак и ударил Гришкину беременную мать по животу, хотя она-то была совсем не при чем. Скинула.

Были с Колей на Казаковке, в той избе, куда ударило грозой. Никого нету — мать в поле навоз «бьет», отец в Ливнах — пропал, спился, — девка «на месте»; в избе два ребенка — одному мальчишке 3 года, другому лет 10. Этот трехлетний (идиот) сидит без порток, намочил их, «в чугуи с помоями вляпался». Изба крохотная и мерзость в ней неопиcуемая — на лавке разбитые, гнилые лапти и заношенные до черноты, залубяневшие онучи, на полу мелкая гниющая солома, зола, на окне позеленевший самоварчик...

24 Июня.

Проснулся поздно. С утра был дождь.

Все грустно об Юлии, ужасно жаль его. Вот уехал и точно не бывало ни его, ни времени с ним.

После обеда прошли через кладбище на деревню. Изба Федора Богданова, выглядывает баба. Коля зашел раз в рабочую пору к ней, а она лежит среди избы на соломе — вся черная, глаза огненные — рожает. Четыре дня рожала — и ни души кругом! Вот это «рождение человека»!

Посидели с Яковом.

— Яков Ехимыч!

— Аюшки?

— Ты что любишь из кушаний?

— Моя душа кривая, все примая. И мед — и тот прет. А я всего раз сытый был — когда на сальнях, на бойнях под Ельцом жил.

Потом разговор о старости, о смерти. Я рассказывал ему о Мечникове.

— Да, конечно, стараются, жалованье получают...

26 Июня.

Холода, сумрачно, нынче несколько раз принимается дождь. Сидели опять с Яковом, он начал было рассказывать «Конька-Горбунка» — чудесно путает чепуху — потом надоело, бросил.

Были на мельнице. Грязь, дождь, скука, один Абакумов не унывает, энергия неугасимая.

Мужик, поднимая меру с рожью, прижимая ее к животу, высоко задирает голову.

[В архиве я нашла письмо (написанное карандашом) в конверте, адресованном П. А. Нилусу (почтовый штемпель 5. 7. 12):]

Едем — я, Вера и Коля — в гости к Александру Сергеевичу Черемнову [...] Были в Москве. Почти набран том моих новых рассказов. Как его озаглавить? В нем все только о Руси — о мужиках

да «господах». «Смерть», «Крик» оставил для другого тома, если Бог даст его. Как озаглавить? Придумай! «Русь»? «Наша душа»? Или просто «Повести и рассказы»?⁶ [...]

7 Июля 12 г. Клеевка, Себежский уезд.

Гостим у Черемнова.

В Глодове замучил дождь. Выехали оттуда 29 июня в Москву. В Москве пробыли до утра 4-го. Здесь тоже дождь.

Перебирали с Юлием сумасшедших, вернее, «тронувшихся», в нашем роду: дед Ник. Дм., Олимпиада Дмитриевна, Алексей Дм., Ольга Дм., Владимир Дм., Анна Вл. (Рышкова), Варвара Никол. (сестра нашего отца), Анна Ивановна (Чубарова, урожденная Бунина). Впрочем, все они «трогались» чаще всего только в старости.

Наше родословие: прадед — Дм. Семеныч, его дети — Ник. Дм., Олимпиада Дм., Алексей, Ольга, Владимир. У Дм. Сем. был брат Никифор Семен., его сын — Аполлон, а у Аполлона — Влад. и Федор. Дмитрий Сем. служил в гвардии в Петербурге.

Яков Ефимыч рассказывал, что он иногда и теперь «кой с кем» занимается («займается»), — с какой-нибудь «пожилой бабочкой»:

— Ну, сделаешь ей там валёк (валёк для битья белья) — вот и расход весь...

Про смерть:

— Вона, чего ее бояться! Схоронят з'ызбой (за избой), помянут п...ой.

Про облака:

— Облака, они толстые, непревают, выпарение делают.

Ходил перед отъездом к Рогулину, записывать его сказки. Хозяева пьют чай, их мальчишка конфоркой от самовара об стену — и с радостно-жуткой улыбкой к уху ее: она гудит и щекочет.

[13 июля Бунин пишет Нилусу из Клеевки (Витебская губ.):]

[...] Я вял и бесплоден. Жить здесь очень приятно. Край оригинальный — холмистый, лесистый, пустынный, редкие маленькие поселки среди лесов, хлебов мало. Но погода была почти все дни дурна. Я простудился, немножко повалялся в насморке. И все только читаю. [...]

[Продолжение записей:]

12 Августа 12 г., Клеевка.

Девятого ходили перед вечером, после дождя, в лес. Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют стволами, — точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие — точно паникадила в кисее с блестками (капли дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-синие ягоды на можжевельнике.

Десятого уехали в дождь Вера и Юлий; Вера в Москву, Юлий в Орел.

Нынче поездка к Чортову Мосту. В избе Захара. Угощение — вяленые рыбки, огурцы, масло, хлеб, чай. Дождь в дороге.

С необыкновенной легкостью пишу все последнее время стихи. Иногда по несколько стихотворений в один день, почти без помарок.

[В августе Бунин ездил на Кавказ, из-под Гурзуфа, из Су-Ук-Су послал Нилусу 31 августа открытку. В октябре — Москва, где остановился в Лоскутной гостинице, на бумаге которой 20 окт. пишет Нилусу письмо:]

[...] Неужели не приедешь на юбилей?! Ты с ума сошел! Вот так друг! Как! Не найти 50 целковых на проезд! Отказываюсь верить! [...]

[Дело в том, что 28 октября праздновалось 25-летие литературной деятельности Бунина. У Веры Николаевны отмечено:]

Днем у нас прием депутации, dejeuner dinatoire в зале Лоскутной. Масса цветов. Вечером банкет⁷.

[12 ноября Бунин в открытке Нилусу пишет: «[...] замотался. Едем нынче за границу. [...]» Через Варшаву, Вену, Венецию, Неаполь Бунины в декабре приехали опять на Капри. С ними приехал и Ник. Ал. Пущешников. Судя по конспекту Веры Ник., Бунин в декабре написал «Преступление», «Князь во князьях» и «Вера».]

1913

[В дневничке-конспекте В. Н. записано:]

— Новый год у Горьких, Ян читал.

[В открытке Нилусу (почтовый штампель 25. 1. 13, Capri) Бунин, между прочим, пишет:]

Писал во все руки, переписывал — кое-что отправляю. Сочинил 4 небольших рассказа. [...] Был Андреев 4 дня, пьянствовал, зацеловывал меня и говорил дерзости.

[У В. Н. записано, что за январь и февраль Иван Алексеевич написал: «Илья Пророк», «Забота», «Будни», «Личарда», «Последний день», «Вина», «Иоанн Рыдалец», «Копье Господне», «Псальма».

В марте: «Ян пишет «Чашу жизни». Нервен, раздражителен, придирчив».

В письме Нилусу, написанном на бумаге Grand Hôtel Quisisana, Capri от 2 марта/17 февр. 1913, Бунин сообщает:]

[...] Шлю тебе, Петр один из рассказов, написанных мною. Есть еще штук 5 — лучше. [...] Глупейшая зима — дожди, бури. Чувствую себя паршиво. [...]

Жил Шаляпин неделю. Я ему закатил обед — он пел после обеда часа два. Весь отелъ слушал, трепетал.

[У В. Н. записано, что Шаляпин приехал 2 февраля.]

В конце марта: Отъезд домой. Неаполь, Генуя... Швейцария, высоко снега. Яну очень плохо. Инсбрук. Вена.]

[17/3 апр. открытка Нилусу:]

Вчера приехали в Вену. Завтра-послезавтра думаем выехать отсюда на Одессу — или по ж. д., или по Дунаю. Иду наводить справки. [...]

[Запись В. Н.:]

[...] Скандал на границе из-за книг. Разъезд: Ян в Одессу, Коля в Глотова, я — в Москву.

[В середине апреля вернулся в Москву и Бунин.]

29 апреля: Отъезд в Петербург.

В середине мая Бунины поселились на даче Ковалевского под Одессой: Федоровы, Нилус, Юлий Алексеевич, — записывает В. Н.

Сохранилась перепечатанная на машинке записка Бунина:]

26 Июля 1913 г., дача Ковалевского (под Одессой)

Нынче уезжает Юлий. А наступила дивная погода. Страшно жалко его.

Каждое лето — жестокая измена. Сколько надежд, планов! И не успел оглянуться — уже прошло! И сколько их мне осталось, этих лет? Содрогаешься, как мало. Как недавно было, напр. то, что было семь лет тому назад! А там еще семь, ну, 14 — и конец! Но человек не может этому верить.

Кончил «Былое и думы»¹. Изумительно по уму, силе языка, простоте, изобразительности. И в языке — родной мне язык — язык нашего отца и вообще всего нашего, теперь почти уже исчезнувшего племени.

[Записи В. Н.:]

Июль: Овсян[ико]-Куликовские, Куровск[ий]. «При дороге». Ян читал «Я все молчу».

Август, Сентябрь, Октябрь: Лоскутная. 50-летие Русских Ведомостей. Речь Яна. Банкет. Скандал. Инцидент Строева и Бун[ина].

Приезд в Москву.

М. Ф. Андреева.

«Среда» у Телешовых — Я все молчу.

Ноябрь: «Среда» в кружке — «Чаша жизни». Продажа дома².

Декабрь: 4 — Ян в Петербурге. Именины Белоусова. 6-го вернулся. [...] Сборы за границу [...]

20 — отъезд. [...] Берлин, Мюнхен, Бреннер-Пасс, Меран³, Рим, Неаполь, Капри. Горькие уехали. Мать Ек[атерины] П[авловны], Кончевская, Черемновы.

1914

[Сохранились рукописные странички с записями Бунина:]

Капри 1/14 Янв. 14 г.

Позавчера с Верой и с Колей приехали на Капри. Как всегда, отель «Квисисана».

Горький и Кат. Павл. с Максимом уехали в Россию, он на Берлин, она на Вену.

Вчера встречали Нов. Год: Черемновы, вдова революционера и «историка» Шишко с психопаткой своей дочерью, Иван Вольнов, Янина и мы.

Ныне весь день проливной дождь. Клянусь себя, что приехал. Италия зимой убога, грязна, холодна да и все давно известно-переизвестно здесь.

2. I. 14

Проснулся необычайно поздно — в 9: дождь, буря (со стороны Амальфи).

Потом временами солнечно, временами сыро. Очень прохладно. [...]

Вечером на даче Горького — там живет Шишко и мать Катерины Павл. — старозаветнейшая старуха: воображаю, каково ей жить ни с того ни с сего среди эмигрантов, бунтарей! И с трепетом в душе: шутка-ли, за какую знаменитость попала ее дочка!

4. I. 13 [14]

Весь день мерзкая погода. В газетах о страшных метелях в России. Землетрясение на итальянских озерах.

Лень писать, вялость — и беспокойство, что ничего не делаю.

5. I. 14

Отчаяние — нечего писать!

Солнечно и холодно.

6. I. 14

То же. А день прелестный.

7. I. 14

Пасмурно, прохладно. Пожар в Квисисане.

8. I. 14

Ужасная погода. Опять боль в боку (в правом) ниже ребер, возле кости таза.

9. I. 14

Весь день дождь. Боль.

Старухи (мать К. П. и Шишко) — «сюжет для маленького рассказа». Шишко была в дружбе с Э. Реклю, с Кропоткиным.

11. I. 14

Прохладно, но чудесно.

Начал «Человека» (Цейлонский рассказ)¹. [...]

23. I. 14

Едем с Колей в Неаполь.

24. I. 14

Вчера из Неаполя ездили в Салерно. Удивительный собор. Пегий — белый и черно-сизый мрамор — совсем Дамаск. Потом в Амальфи.

Ночевали в древнем монастырском здании — там теперь гостиница. Чудесная лунная ночь.

Необыкновенно хорошо, только никаких муратовских сатиров².

25. I. 14

Выехали из Амальфи на лошадях. [...] Дивный день.

[Записи В. Н. в дневничке-конспекте:]

Март — Отъезд с Капри, Неаполь. [...] Рим — Страстная, Храм Св. Петра. [...] Сад Боргезе. Катание по Риму. [...] Венеция. [...] В Триесте на пароход. Аббатия. [...] Фиумэ.

30 марта ст. ст. Пасха Католическая. вечером отъезд в Загреб. [...] Будапешт. [...] Отплытие вниз по Дунаю к Черному морю. [...]

Астма³ заставляет нас пересесть в поезд. [...] Бухарест. Провинция румынская. [...]

5 апреля в Одессе. [...]

Москва, Скатертный пер[еулок] и Княжий Двор. [...]

Среда: «Братья».

Май: Отъезд в Одессу. Дача Ковалевских. [...] Зайцев 10 дней у нас. [...]

[В «Происхождении моих рассказов» Бунин вспоминает: «В июне 14 года мы с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля [...]». Вероятно, ко времени этой поездки и относятся следующие дневниковые записи, сохранившиеся в рукописи:]

19. VI. 1914.

На корме грязь, вонь, мужики весь день пьют. Какой-то оборванный мальчишка бесстрастно поет:

Запала мысль злодейская:
Впотьмах нашел топор...

Приземистый, пузатый монах в грязном парусиновом подряснике, желтоволосый, с огненно-рыжей бородой, похожий на Сократа, на каждой пристани покупает ржавые таранки, с золотисто-коричневой пылью в дырах выгнивших глаз.

Вечер, Жигули, запах березового леса после дождя. На пароходе пели молебен.

20. VI. 1914

Половина девятого, вечер. Прошли Балахну, Городец. Волга впереди — красно-коричнево-опаловая, переливчатая. Вдали, над валом берега в нежной фиолетовой дымке, — золотое, чуть оранжевое солнце и в воде от него ослепительный стеклянно-золотой столп. На востоке половинка совсем бледного месяца.

Одиннадцать. Все еще не стемнело как следует, все еще впереди дрожат в сумраке в речной ряби цветистые краски заката. Месяц справа уже блещет, отражается в воде — как бы растянутым, длинным китайским фонарем.

21. VI. 14. В поезде под Ростовом Великим.

Ясный, мирный вечер — со всей прелестью июньских вечеров, той поры, когда в лесах такое богатство трав, зелени, цветов, ягод. Бесконечный мачтовый бор, поезд идет быстро, за стволами летит, кружится, мелькает-сверкает серебряное лучистое солнце.

[А вот страничка, написанная уже старческим почерком Ивана Алексеевича:]

В начале июля 1914 г. мы с братом Юлием плыли вверх по Волге от Саратова, 11 (одиннадцатого) июля долго стояли в Самаре, съездили в город, вернулись на пароход (уже перед вечером) и вдруг увидели несколько мальчишек, летевших по дамбе к пароходу с газетными клочками в руках и с неистовыми веселыми воплями: Экстренная телеграмма, убийство австрийского наследника Сараева [в Сараеве. — М. Г.] в Сербии.

Юлий схватил у одного из них эту телеграмму, прочитал ее несколько раз и, долго помолчав, сказал мне:

— Ну, конец нам! Война России за Сербию, а затем революция в России... Конец всей нашей прежней жизни!

Через несколько дней мы вернулись с ним на дачу Ковалевского под Одессой, которую я снимал в то лето и на которой он гостил у меня, и вскоре началось сбываться его предсказание.

В августе мы уже должны были вернуться в Москву. Уже шла наша война с Австрией.

[Сохранилась еще одна рукописная запись этого времени:]

28. VII. 1914. Дача Ковалевского, под Одессой.

Половина двенадцатого, солнечный и ветренный день. Сильный, шелковистый, то затихающий,

то буйно возрастающий шум сада вокруг дома, тень и блеск листвы в деревьях, волнение зелени, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей акаций, движущийся по подоконнику солнечный свет, то яркий, то смешанный с темными пятнами. Когда ветер усиливается, он раскрывает зелень и от этого раскрывается и тень на меловом потолке комнаты — потолок, светлея, становится почти фиолетовый. Потом опять стихает, опять ветер уходит куда-то далеко, шум его замирает где-то в глубине сада, над морем...

Написать рассказ «Неизвестный». — «Неизвестный» выехал из Киева 18 марта в 1 ч. 55 дня...» Цилиндр, крашеные бакенбарды, грязный бумажный воротничок, расчищенные грубые ботинки. Остановился в Москве в «Столице». На другой день совсем тепло, лето. В 5 ч. ушел на свадьбу своей дочери в маленькую церковь на Молчановке. (Ни она и никто в церкви не знал, что он ее отец и что он тут.) В номере у себя весь вечер плакал — лакей видел в замочную скважину. От слез облезла краска с бакенбард...

[9 ноября Бунин пишет из Москвы Нилусу:]

Дорогие друзья, газеты на этот раз правы — я болен, не так тяжело, как пишут, но болен: недели две держалась инфлуэнца, доходило иногда чуть не до 40°, теперь — уже с неделю — держится боль в правой брови и в глазу, временами, чрезвычайно мучительная. Почти ничего не могу делать, не могу долго читать и писать. [...]

Вера поехала в Вязьму — повидаться с Павликом⁴, который направляется на войну. В Москве уже зима. [...]

[25 декабря 1914 г., на бланке «День печати» в Москве: Редакционный комитет по изданию Московского Сборника на помощь жертвам

в о й н ы обращается к Вам с просьбою принять безвозмездное участие в этом сборнике и прислать рассказ или стихотворение (на любую тему) не позже 15 января 1915 года по адресу: Москва, Покровский бульвар, 18, Ник. Дм. Телешову. (Ив. Бунин, В. Вересаев, Н. Телешов).]

Дорогой друг, вот сборник, в котором тебе следовало бы принять участие. С Вересаевым мы во вкусах не сходимся, а Телешов слаб духом, поэтому есть шанс [...], что тебе могут отказать, но не обращай на это внимания [...]

Через неделю думаю ехать на месяца два или полтора в деревню — в ножки бы тебе поклонился, если бы ты немедля послал туда ружье и патроны. [...]

P. S. Был долгий скандал в «Книгоиздательстве»⁵. Я отказался от редакторства.

1915

[Рукописная запись Бунина:]

Москва, 1 Янв. 1915.

Позавчера были с Колей в Марфо-Мариинской обители на Ордынке. Сразу не пустили, дворник умолял постоять за воротами — «здесь в[еликий] кн[язь] Дм[итрий] Павл[ович]». Во дворе — пара черн[ых] лошадей в санях, ужасный кучер. Церковь снаружи лучше, чем внутри. В Грибоедовском переулке дома Грибоедова никто не мог указать. Потом видели безобразно раскрашенную церковь Ивана Воина. Там готовились крестить ребенка. Возвращались на пьяном извозчике, похожем на Андреева. От него воняло денатур[атным] спиртом, который пьют с квасом. Он сказал: «Дед на бабку не пеняет, что от бабки воняет».

Вчера были на Ваганьков[ском] кладб[ище]. Вся роща в инее. Грелись на Александр[овском]

вокзале. Лакей знакомый, из Лоскутной, жалеет о ней — «привык в кругу литераторов жить», держал чайную возле Харькова, но «потерпел фиаско». Потом Кремль, долго сидели в Благовещ[енском] соборе. Изумительно хорошо. Слушали часть всенощ[ной] в Архангельском. Заехали в Зачатьевский монастырь. Опять восхитили меня стихиры. В Чудове, однако, лучше.

В 12 ночи поехали в Успенск[ий] собор. Черный бесконечный хвост народа. Не пустили без очереди. Городовой не позволил даже в дверь боковую, в стекла заглянуть — «нечего там смотреть!»

Нынче часа в 4 Нов[о]-Дев[ичий] монастырь. Иней. К закату деревья на золотой эмали. Очень странны при дневном свете рассеянные над могилами красные точки огоньков, неугасимых лампад.

[Следующие записи переписаны на машинке:]

2 Января 1915 г.

Иней, сумерки. Розовеют за садом, в инее, освещенные окна.

3 Января

В 2 часа поехали с Колей в Троице-Сергиевскую Лавру. Были в Троицком соборе у всенощной. Ездили в темноте, в мятель, в Вифанию. Лавра внушительна, внутри тяжело и вульгарно.

4 Января

Были в Скиту, у Черниговской Божьей Матери. Акафисты в подземной церковке. Поп выделял голосом разные штучки. Вернулись в Москву вечером. Федоров.

5 Января

Провожал Федорова на Николаевский вокзал — поехал в Птб., а потом в Варшаву. Вечером у

нас гости, Любочка. Был на заседании. Князь Евг. Трубецкой. [...]

7 Января

Поздно встал. Читаю корректуру. Серый день. Все вспоминаются монастыри — сложное и неприятное, болезненное впечатление.

8 Января

Завтракал у нас Горький. Все планы, нервничает. Читал свое воззвание о евреях.

9 Января 15 г.

Отдал в набор свою новую книгу.

Кончил читать Азбуку Толстого. Восхитительно. [...]

11 Января

Была Авилова¹. Говорила, м. пр., что она ничего не знает, ничего не видала — и вот уже седая голова. [...]

14 Января

Все мерзкая погода. Телеграмма от Горького, зовет в Птб. [...]

16 Января

Непроглядный мокрый снег к вечеру. Поехали с Колей в Птб. Страшно ударила меня в левое плечо ломовая лошадь оглоблей. Едва не убила.

17 Января. 15 г.

Птб., гост. Англия.

Дивная морозная погода.

Заседание у Сологуба². Он в смятых штанах и лакированных сбитых туфлях, в смокинге, в зеленых шерстяных чулках.

Как беспорядочно несли вздор! «Вырабатывали» воззвание в защиту евреев.

18 Янв.

Поездка на панихиду по Надсону. Волково кладбище. Розовое солнце.

Был в Куокале у Репина³ и Чуковского⁴. Вечером обедал у Горького на кв[артире] Тихонова. Хорош Птб!

19 Янв.

Вечером с курьерским уехали из Птб. Хотели ехать в Новгород, но поезда ужасно неудобны (в смысле расписания).

28 Янв.

Чествование Юлия. Почтили память худ. Первухина — нынче его похоронили.

29 Янв.

Завтрак с Ильей Толстым⁵ в «Праге». [...]

7 Февраля 15 г.

Вышла «Чаша Жизни». Заседание у Давыдова об ответе англ[ийским] писателям.

18 Февраля

Отпевание Корша⁶ в университетс[кой] церкви. Два епископа. Сильное впечатление.

Вчера ночью в 12 ч. 52 м. кончил «Грамматику любви». «Среда». Читали Шкляр, Зилов, Ляшко.

22. 2. 15.

Наша горничная Таня очень любит читать. Вынося из под моего письменного стола корзину с изорванными бумагами, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает — медленно, с напряженьем, но с тихой улыбкой удовольствия на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется...

Как мы жестоки!

[В начале марта (почтовый штемпель 3 или 5 марта) Бунин пишет Нилусу:]

[...] к креслу я привинчен не по старости, а по болезни: клянусь тебе, что всю зиму тяжело страдаю — заел бок и все истекаю кровью, хотя лечусь и живу, как святой. [...]

29 марта 1915 он пишет:

[...] Слушал «Всенощ[ное] бдение» Рахманинова. Кажется, мастерски обработал все чужое. Но меня тронули очень только два-три песнопения. Остальное показалось обычной церковной риторикой, каковая особенно нетерпима в служениях Богу. [...]

...Рыба кета запала мне в голову. Я над этим и прежде много думал. Все мы такая-же рыба. Но помни, о поэт и художник! — мы должны метать икру только в одно место. [...]

С корректурой для «Нивы» стало легче. Пишу для «Истории Рус[ской] литературы» Венгерова автобиографию. Это мука. Кажется, опять ограничусь заметкой. [...]

[Из дневниковых записей Бунина:]

9 Мая, Рест[оран] «Прага».

Рядом два офицера, — недавние штатские — один со страшными бровными дугами. Под хаки корсет. Широкие, колоколом штаны, тончайшие в коленках. Золотой портсигар с кнопкой, что-то вроде жидкого рубина. Монокль. Маленькие, глубокие глазки. Лба нет — сразу назад от раздутых бровных дуг.

У метрдетелей от быстрой походки голова всегда назад.

Для рассказа: сильно беременная, с синими губами.

Все газеты полны убийствами, снимками с повешенных. А что я написал, как собаку давят, не могут перенести!

Вторник 30 Июня, Глово.

Уехал из Москвы 9 Мая. Два дня был в Орле. Сюда приехал 12.

1 Июля 15 г.

Погода прекрасная. Вообще лето удивительное.

Собрать бы все людские жестокости из всей истории. Читал о персидских мучениках Даде, Тавведае и Таргала. Страшное описание Мощей Дм[итрия] Ростовского. [...]

3 Июля.

Читал житие Серафима Саровского. Был дождь.

4 Июля.

Житие юродивых. Дождь. Записки Дашковой.

1 Августа, Глово.

Позавчера уехал Юлий, утром в страшный дождь. Кажется, что это было год тому назад. Погода холодная и серая. Вечером позавчера долго стояли возле избы отца так страшно погибшей Доньки. Какие есть отличные люди! «Жалко дочь-то?» — «Нет». Смеется. И потом: «Я через нее чуть не ослеп, все плакал об ней». Нынче вечером сидели на скамейке в Колонтаевке. Тепло, мертвая тишина, запах сырой коры. Пятна неба за березами. Думал о любви.

2 Августа 15 г.

Серо и холодно. Проснулся рано, отправил корректуру «Суходола». Во втором часу газеты. Дикое известие: Куровский⁷ застрелился. Не вьжется, не верю. Что-то ужасное — и, не знаю, как сказать: циничское, что-ли. Как я любил его!

Не верю — вот главное чувство. Впрочем, не умею выразить своих чувств.

3 Августа

[...] Все же я равнодушен к смерти Куровского. Хотя за всеми мыслями все время мысль о нем. И умственно ужасаюсь и теряюсь. Что с семьей? Выстрелил в себя и падая, верно, зацепился шпорой за шпору.

Вечером были в Скородном. Заходил в караулку. Окна совсем на земле. 5 шагов в длину, 5 в ширину. Как ночевать тут! Даже подумать жутко. Возвращались — туманно, холодно. Два огня на Прилепах, как в море.

Неужели это тот мертв, кто играл в Мюррене? С кем столько я пережил? О, как дико!

Веры все еще нет, уехала через Вьрьшаевку в Москву еще 10-го июля.

Долго не мог заснуть от мыслей о Куровском.

4 Августа.

С утра дождь и холод. Страшная жизнь караульщика сада и его детей в шалаше, с кобелем. Варит чугуны грибов. [...]

Послал телеграмму Нилусу, спрашивал о Куровском.

6. VIII

Приехала Вера. Привезла «Од[есские] Нов[ости]». Там о Куровском. Весь день думал о нем.

7. VIII

Тихий, теплый день. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи, пусты, безжизненны. Порою полное отчаяние. Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочется написать.

8 ч. 20 м. Ужинал, вошел в свою комнату — прямо напротив окно, над купой дальних лип —

очень темно-зеленой — на темной, мутной, без цвета синеве (лиловой) почти оранжевый месяц.

21 Августа

Две недели не записывал. Время так летит, что ужас берет. 14-19 писал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Плакал, пища конец. Но вообще душа тупа. И не нравится. Не чувствую поэзии деревни, редко только. Вижу многое хорошо, но нет забвенности, все думы об уходящей жизни.

Годные гуляют, три-четыре мальчишки. Несчастные — идут на смерть и всего удовольствия — порыгачь на гармонии.

В Москве, в Птб. — собственно говоря «учредительное собрание».

Все глотовские солдаты — в плену.

[...] Вчера снимали Тихона Ильича. «Вот и Николаю Алексеевичу может идти в солдаты... Да ему что-ж, хоть и убьют, у него детей нету». К смерти вообще совершенно тупое отношение. А ведь кто не ценит жизни — животное, грош тому цена. [...]

[Из письма Бунина Нилусу от 15 сентября 1915 г.:]

Здесь надеюсь пробыть еще с месяц. Потом отправимся в Москву. Где будем проводить зиму, еще не знаю. Верно, здесь-же. Куда теперь денешься! Все битком набито.

Не припомню такой тупости и подавленности душевной, в которой уже давно нахожусь. Вероятно, многое действует, иногда, может быть, даже помимо сознания. А смерть Павлыча прямо сбила меня с ног, хотя странно, *острую* боль я испытывал только минутами. Впрочем, этого не расскажешь, особенно письменно. И не дивись, что я ничего не написал тебе об этом. Ничего не могу выразить.

Пятый месяц живу здесь изумительно однообразной жизнью. Все читаю, да хожу, да думаю. Деревни опустели так, что жутко порой. Война и томит, и мучит, и тревожит. Да и другое многое тоже. «Портфель» мой пуст. [...]

[Вера Николаевна уехала в Москву в конце сентября, в ноябре приехал туда и Бунин. Затем (дневничок В. Н.): Поездка Яна в Петербург. «Среда» у Переплетчикова. 20 декабря — отъезд в деревню. 21 — Глотова.]

1916

[За январь и февраль у В. Н., между прочим, отмечено: Занятие фотографией. Снимание мужиков.

Записи Бунина, переписанные на машинке:]

23. II. 16

Милый, тихий, рассеяннo-задумчивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то детское — так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очаровательная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных полях.

Говорили почему-то о Коринфском¹. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определения не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря опять таки не его лично, но исходя из него и сделав, например, живописца самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с нею) голова в пошло картинном буйстве коричневых волос, в которых вьется каждый волосок, чистый, прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный,

как часто бывает у заик и пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству. [...]

На возвратном пути я говорил о том, какую огромную роль в жизни деревни сыграют пленные. Еще о том, что дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие.

17. III. 16

[...] Нынче именины отца. Уже десять лет в могиле в Грунине — одинокий, всеми забытый, на мужицком кладбище! И уж не найти теперь этой могилы — давно скотина столкла. Как несказанно страшна жизнь! А мы все живем — и ничего себе!

К вечеру свежей. В небе, среди облаков, яркие прогалины лазури. Мокрый блеск на коре деревьев.

Вечер очень темный. От темноты, грязи и воды нельзя никуда пойти. До одиннадцати ходили по двору, от крыльца до скотного двора. Говорили о Тургеневе. Я вспомнил, как Горький басил про него со своей лошадиной высоты: «Парное молоко!» Я говорил еще, что Пушкин молодым писателям нравственно вреден. Его легкое отношение к жизни безбожно. Один Толстой должен быть учителем во всем. [...]

[Следующие страницы написаны рукой Бунина:]

21 Марта 16 г.

Вечером гуляли по задворкам, возле кладбища. Темь, туман. Сад виден неясно, рига совсем не видна, только когда подошли к ней, обозначилась ее темная масса.

Говорили об Андрееве. Все таки это единств[енный] из совр[еменных] писателей, к кому

меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас-же читаю. В жизни бывает порой очень приятен. Когда прост, не мудрит, шутит, в глазах светится острый природный ум. Все схватывает с полслова, ловит малейшую шутку — полная противоположность Горькому. Шарлатанит, ошарашивает публику, но талант. Впрочем, м. б., и хуже — м. б., и самому кажется, что он пишет что-то великое, высокое. А пишет лучше всего тогда, когда пишет о своей молодости, о том, что было пережито.

Дома нашли газеты и «Совр[еменный] мир»². Задирчивая статья Чирикова³ о Тальникове⁴ — Чириков «верит в рус[ский] народ!». В газетах та же ложь — восхваление доблестей рус[ского] народа, его способностей к организации. Все это оч[ень] взволновало. «Народ, народ!» А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действит[ельно] несчастн[ого] народа?

22 Марта.

Коля записал то, что я вчера говорил с ним и принес мне эту запись: «Ив. Алекс. статьей Чирикова и газетами так⁵ взволнован, что до поздней ночи, уже сидя и ежеминутно куря в постели, говорил:

— Нет, с какой стати он так его оскорбляет? Кто дал ему на это право? Ах, уж эти русские интеллегенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские⁶! Все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют о котором слова не дают сказать⁷. А это идиотское деление народа на две части: в одной хищники, грабители, опричники, холопы, царские слуги, правительство и городовые, люди без всякой чести и совести, а в другой — подлинный народ, мужики,

«чистые, святые, богоносцы, труженики и молчаливники». Хвостов, Горемыкин, городской это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство и нечего все валить на самодержавие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления для русского народа, не даром же она продержалась триста лет! Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллегенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллегенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то и т. д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: «мирские устои», «хоровое начало», «как мир батюшка скажет», «Русь тем и крепка, что своими устоями» и т. д. Все подлые фразы! Откуда-то создалось совершенно неверное представление о организаторских способностях русского народа. А между тем нигде в мире нет такой безорганизации! Такой другой страны нет на земном шаре! Каждый живет только для себя. Если он писатель, то он больше ничего, кроме своих писаний, не знает, ни уха ни рыла ни в чем не понимает. Если он актер, то он только актер, да и ничем, кроме сцены, и не интересуется. Помещик?.. Кому неизвестно, что представляет из себя помещик, какой-нибудь синеглазый, с толстым затылком, совершенно ни к чему не способный, ничего не умеющий. Это уж стало притчей во языцех. С другой же стороны — толстобрюхий полицейский поводит сальными глазами — это «правлящий класс».

[Из переписанных на машинке записей:]

24 Марта 16 г.

Яркий, настоящий весенний день. Крупные облака в серых деревьях, серые стволы имеют необыкновенно прелестный тон и глянец. Напоминает картины Бэклина.

После обеда стреляли в галок. [...] Какое-то приторное, гадкое впечатление. Мы еще совершенные звери. А из-за вала мрачно-равнодушно глядел какой-то рыжий малый. Собирается идти добровольцем на войну. Почему? Целый рассказ! — «А если убьют?» — «Ну, что-ж. Все равно». [...]

25 Марта.

Облачный день, на черно-жирных буграх остатки талого снега, — что-то траурное. Опять видели возле попа мужика, утопившего лошадь и розвальни в колдобине, полной воды и снега. Лошадь серая, лежит на животе, вытянув передние ноги, и карабкается ими, а мужик бьет ее кнутовищем по голове, из которой смотрят человеческие глаза. На помощь ему подошел другой и оба долго, раздумывая и заходя с разных сторон, пытались ее вытащить.

Пьеса А. Вознесенского «Актриса Ларина». Я чуть не заплакал от бессильной злобы. Конец русской литературе! Как и кому теперь докажешь, что этого безграмотного удавить мало! Герой — Бахтин — почему он с такой дворянской фамилией? — называет свою жену Лизухой. «Бахтин, душливо приближаясь...» — «Вы обо мне не тужьте... (вместо «не тужите») и т. д. О, Боже мой, Боже мой! За что Ты оставил Россию!

Вечером на кладбище. Месяц блестит в перепутанных сучьях, большая Венера, но все таки как-то сумрачно и траурно от земли и кое-где лежащего снега.

Потом небо стало туманиться и деревья стали еще тоньше и красивее.

Перечитал «Дядю Ваню» Чехова. В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди в сущности наплевать.

26 Марта.

После обеда были на Казаковке, на мужицкой сходке. Изба полна. За столом несколько замечательных лиц. Лысый, с острым черепом старик в розовом полусубке; старик со вздернутым носом и хитрыми глазами; старик с желто-кофейным, морщинистым лицом; мужик с черной курчавой бородой и ярко-румяными щеками, все время игравший как на сцене. Очень хорошо, как всегда для меня, запах полусубков. [...]

27 Марта.

После обеда сидели в избе Ивана Ульянова. Очень милый старик с постоянным приятным смехом. Две половинки. Первая маленькая, с мокрым земляным полом. Тут всегда сидит полуслепая старуха. Во второй — с выбеленными стенами и горшечками для цветов на окнах — живет он сам и его жена, пожилая и уже вянущая. Вошли — она за работой возле окна, он на хорах в полусубке, курит. Солнце ярко освещает часть избы. [...]

А как влияет литература! Сколько теперь людей, у которых уже как бы две души — одна своя, другая книжная! Многие так и живут всю жизнь начитанной жизнью.

30 Марта.

На крыльце у Александра Пальчикова. Богат, а возле избы проходу нет от грязи и навозу. Полусубок, кубовая рубаха, видная из расстегнутого ворота, серо-серебристая борода. Весеннее небо, жидкие облака, ветер дует в голые деревья, качает их, а он говорит: «Ничего не будет после войны,

все брешут. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит, надо и у царя, а этого никогда не допустят». С большим удовольствием рассказывал, как ему на службе полковник раз «засветил пощечину». Крепостного права не хочет, но говорит, что «в крепости» лучше было: «Нету хлеба — идешь на барский двор... Как можно!»

Роман Григорьевой в «Совр. Мире». Ее героиня «легкая, воздушная», «затесалась в толпу...» Кончена русская литература!

1 Апреля.

[...] Большой старик греется на солнце возле избы. Задыхается. В нашу победу не верит. «Куда нам!» [...]

Коля рассказывал⁸, что встретил в «Острове» двух почти голых ребятишек — в рваных лохмотьях, в черных и мокрых, сопревших лаптях. Тащили хворост, увидали Колю — испугались, заплакали... И для этого-то народа требуют волшебных фонарей! От этого-то народа требуют мудрости, патриотизма, мессианства! О разбойники, негодяи!

2 Апреля.

Фельетон Сологуба: «Преображение жизни». Надо преобразовать жизнь и делать это должны поэты. А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преобразует, пища. А писал он всегда о гнусностях, о гадких мальчиках, о возделении к ним. Ах, сукины дети, преобразители.

5 Апреля.

Жаркий последождевой день.

Охота в Скородном на вальдшнепов. [...] В лес пошли от караулки. В редких жидких верхушках деревьев белые глыбы грозových облаков. Гремел гром. По низам прохлада, колокольчиками звенят птицы. Кое-где снег, ослепительный на солнце, на нем легкие лазурные отблески неба.

Возле караулки Настька моет калоши, собирается в церковь. Желтое страшно яркое на солнце платье. В избе дышать нечем, натоплено, все купались. Федор с мокрыми волосами, розовый.

При возвращении домой на несколько минут густой быстрый дождь. Все думаю о той лжи, что в газетах на счет патриотизма народа. А война мужикам так осточертела, что даже не интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. «Да что, пора бросать. А то и в лавках товару стало мало. Бывало зайдешь в лавку...» и т. д.

8 Апреля.

Уезжаем в Москву, на Становую, на тройке. [...]

Никогда в русской литературе не было ничего подобного. Прежде за одну ошибку, за один неверный звук трепали по всем журналам. И никогда прежде русская публика не смотрела на литературу такими равнодушными глазами. Совершенно одинаково она восхищается и Фра Беато и Анджелико, и Барыбой Городецкого. [...]

[Из Москвы Бунин ездил в Петербург, затем в Одессу. 25 мая 1916 года пишет Нилусу: «Приехал в Глотова».]

23 Мая 16 г., Елец⁹.

У парикмахера. Стрижет и разговариваем. Он про женский монастырь (оговорился от привычки быть изящным): дамский монастырь.

Для рассказа: встречный пароход на Волге всегда страшно быстр; ночь, уездн. город. Крепкий костяной стук колотушки.

Беллетрист. Пошлость «Белая как дебелая купчиха». [...]

Пьяный мужик шел и кричал:

Проем усе именье.

Сам заруюсь у [нрзб. — М. Г.]

В этом вся Русь. Жажда саморазорения, ата-
визм.

26 VI 16.

Гнало ветром дождь. Сейчас — 7 часов вечера — стихло. Все мокро, очень густо-зелен сад. За ним, на пыльной туче бледная фиолетово-зеленая радуга. Хрипел гром. [...]

[18 июля 1916 года Бунин пишет П. А. Нилусу:]

[...] Серьезно, — не о чем даже написать, так однообразно живу. Лето плохое, писать не пишу, разве стишки изредка... Все мы — Юлий, Вера, Коля — целуем, все мы здоровы пока. [...]

[Дневниковые записи Бунина возобновляются осенью:]

27 Октября 1916 г.

Читаю записки В. Бертенсона «За тридцать лет». Еще раз убеждаюсь в ничтожестве человеческих способностей — сколько их, людей, живших долго, видевших очень многое, врацавшихся в обществе всяких знаменитостей и обнаруживших в своих воспоминаниях изумительное ничтожество. Вспоминаю книгу Н. В. Давыдова — то же думал и ее читая.

Прочел (перечел) «Дневник Башкирцевой». [...] Все говорит о своей удивительной красоте, а на портрете при этой книжке совсем нехороша. Противное и дурацкое впечатление производит ее надменно-вызывающий, холодно-царственный вид. Вспоминаю ее брата, в Полтаве, на террасе городского сада. Наглое и мрачное животное, в башке что-то варварски-римское. Снова думаю, что слава

Б., (основанная ведь больше всего на этом дневнике,) непомерно раздута. Снова очень непр[иятный] осадок от этого дневника. Письма ее к Мопас[сану] задиричивы, притязательны, неуверены, несмотря на все ее самомнение, сбиваются из тона в тон, путаются и [в] конце концов пустяковы. Дневник просто скучен. Французская манера писать, книжно умствовать; и все — наряды, выезды, усиленное напоминание, что были такие-то и такие-то депутаты, графы и маркизы, самовосхваление и снова банальные мудрствования. [...]

Мой почерк истинное наказание для меня. Как тяжело и безобразно ковыляю я пером. И всегда так было — лишь иногда немного иначе, легче.

Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие все продолжается. Уж как давно я великий мученик, нечто вроде человека, сходящего с ума от импотенции. Смертельно устал, — опять таки уж очень давно, — и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война, — какое великое душевное разочарование принесла она мне!

24 уехала Вера, на тройке, на Становую. Мы с Колей на бегунах провожали ее до поворота на Озерскую дорогу. [...]

Коля по вечерам мне читает. [...] Продолжаем «Мелкого беса»¹⁰. Тоже хорош! Не запомню более скучной, однообразной книги. [...] В стихах у него был когда-то талант. [...]

28 Октября 16 г.

Почти весь день тихо, тепло, туман. Ходил с ружьем за голубями. Кисловато пахнет гнилью трав и бурьянов, землей.

Ночь изумительная, лунная. Гуляли, дошли до Пушешниковского леса. Вдали, низко по лесной

лощине, туман — так бело и густо, как где-нибудь в Нижегородской губ.

29 Октября 16 г.

Не запомню такого утра. Ездили кататься — обычный путь через Пушешниковский лес, потом мимо Победимовых. С утра был иней на деревьях. Так удивительно хорошо все, точно это не у нас, а где-нибудь в Тироле.

Писать не о чем, не о чем!

4 Декабря 16 г.

Четыре с половиной часа. Зажег лампу. За окнами все дивно посинело. Точно вставлены какие-то сказочные зелено-синие стекла.

Вчера прекрасный морозный вечер. Кривоногие китайцы коробейники. Называли меня «дядя».

[Выписка из дневничка Веры Николаевны:]

Декабрь. [...] 14. Приезд Яна [в Москву. — М. Г.] [...] Убийство Распутина. Обед у Устиновых. Пьеса Зайцева у Корша. [...] 31 Ян лежит в постели. Встречали дома с индейкой и шампанским.

1917

[Видимо, первые месяцы этого года Бунины оставались в Москве. В марте, как отмечено в дневничке В. Н.: «Отречение Государя. Революц. войска на улице».

В письме от 12 марта 1917 года Бунин пишет Нилусу:]

[...] не вини меня, что не писал тебе, — причина тому необыкновенно беспорядочная и неопределенная жизнь, которой я живу в Москве вот уже три месяца, из которых, кстати сказать, я целый месяц был болен. Я за это время строил не мало

планов относительно упорядочения этой жизни, отъезда из Москвы и пр. — и все это разрушалось то вестями из Петербурга, то приостановкой железнодорожного движения. А потом мне было до не [не до] планов и не до писем. [...]

Федоровы пишут, что их сосед Чарпов продаст свою дачу, т. е. не дачу, а главную часть ее с домом — за 18 т. Прошу ради Бога: поезжай к Федоровым, посмотри дачу. [...] и напиши мне свое дружеское мнение по сему поводу. Да *поскорее*, *поскорее* сделай все это. Если посоветуете покупать, приеду непременно в Одессу. [...]

[В открытке с почтовым штемпелем 19. IV. 17 Бунин пишет:]

Только что вернулся из Петрограда¹. Завтра буду наводить справки, можно-ли мало-мальски по человечески проехать в Одессу. Не понимаю, сколько же в конце концов просят за дачу!

[В Одессу Бунин, видимо, не поехал. 27 мая 1917 года он пишет Нилусу из Глотова:]

[...] Из Москвы, в апреле, я писал тебе — кратко, но дельно, хотел написать подробнее, да все тянул, а затем стал собираться в отъезд, а приехав сюда (три недели тому назад, в *ужасную метель* — это в начале мая-то!) захворал, — простудился.

Теперь скажу прежде всего о даче: повторяю, мысль о покупке дачи парализовалась у меня страхом немцев, которые еще, может быть, возьмут Одессу, а кроме того «товарищами». Теперь и так-то жить ужасно, а каково с собственностью! Словом, я это дело немножко отложил, но вовсе не поставил на нем креста. Все таки приютиться мне где-нибудь необходимо, а где, в некоторых отношениях, лучше Одессы? Здесь, я, очевидно, послед-

нее лето. Если и не отберут у Пушешниковых землю, жить в деревне все равно им нельзя будет — мужики возьмут не мытьем, так катаньем. И, значит, возникает оч. серьезный вопрос: где мне существовать, летом, по крайней мере?

Ужасно, необыкновенно хотелось в апреле поехать куда-нибудь на юг. И будь возможность, я непременно приехал бы в Одессу. Но ты имеешь понятие, что такое значит ездить теперь по ж[елезной] д[ороге]? Наведя справки в Москве, я пришел к твердому убеждению, что поездку в Одессу надо отложить. Теперь мне кажется, что я все таки буду у вас, — м. б., в конце лета. *И посему помни, что мысль о покупке дачи я еще не оставил.* Я из-за этой дачи даже собрание сочинений продал. [...]

Жить в деревне и теперь уже противно. Мужики вполне дети, и премерзкие. «Анархия» у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское непонимание не то что «лозунгов», но и простых человеческих слов — изумительные. Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, — это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни² и изолгавшееся на счет совершенно неведомого ему народа, — вспомнит мою «Деревню» и пр.!

Кроме того и не безопасно жить теперь здесь. В ночь на 24-ое у нас сожгли гумно, две риги, молотилки, веялки и т. д. В ту же ночь горела пустая (не знаю, чья) изба за версту от нас, на лугу. Сожгли, должно быть, молодые ребята из нашей деревни, побывавшие на шахтах. Днем они ходили пьяные, ночью выломали окно у одной бабы солдатки, требовали у нее водки, хотели ее зарезать. А в полдень 24-го загорелся скотный двор в усадьбе нашего ближайшего соседа (живет от нас в двух шагах), зажег среди бела дня, как теперь оказывается, один мужик, имевший когда-то судебное дело с ним, а мужики арестовали самого-же по-

страдавшего, — «сам зажег!» — избили его и на дрогах повезли в волость. Я пробовал на пожаре урезонить, доказать, что жечь ему самому себя нет смысла, — он не помещик, а арендатор, — пьяные солдаты и некоторые мужики орала на меня, что я «за старый режим», а одна баба все вопила, что нас (меня и Колю), сукиных детей, надо немедленно швырнуть в огонь. И случись еще пожар, — а ведь он может быть, могут и дом зажечь, лишь бы поскорее выжить нашего брата отсюда, — могут и бросить, — нужды нет, что меня здесь хотят в учредит[ельное] собрание выбирать, — «пусть Ив. А. там в Петербурге за нас пролазывает». [...]

Целую за посвящение, за похвалы и хулы «Петлистым ушам». [...] Тут главное — адский фон и на нем здоровенная и ужасная фигура. А согласись, что это удалось. [...]

[Из следующих записей Бунина первая — рукописная, другие перепечатаны на машинке:]

11 июня 17 г.

Все последн[ие] дни чувство молодости, поэтич[еск]ое томление о какой-то южной дали (как всегда в хорошую погоду), о какой-то встрече...

В ночь на пятое Коля уехал в Елец — пересвидетельствование белобилетчиков. Все набор, набор! Идиоты. [...]

Шестого телеграмма от Веры. Седьмого говорил с ней по телефону в Елец. Условились, что я приеду за ней и за Колей, а по дороге заеду к Ильиным. Вечером Антон (австриец) отвез меня на Измалково. На станции «революционный порядок» — грязь, все засыпано подсолнухами, не зажигают огня. Много мужиков и солдат; сидит на полу и идиотски кричит Анята-дурочка. В сенях вагона 1-го кл[асса] мешки, солдаты. По поезду идет сол-

датский контроль. Ко мне: сколько мне лет, не дезертир ли? Чувство страшного возмущения. Никаких законов — и все власть, все, за исключением, конечно, нас. Волю «свободной» России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр. нет совета дворянских, интеллигентск[их], обывательских депутатов? [...]

15 Июня 1917 г.

10 часов веч. Вернулись из Скародного. Коля, Евгений (который приехал вчера с Юлием из Ефремова) и Тупик ездили в усадьбу Победимовых, я, Юлий и Вера пошли к ним навстречу. День прекрасный, вечер еще лучше. Особенно хороша дорога от Крестов к Скародному — среди ржей в рост человека. В лесу птичий звон — пересмешник и пр. Возвращались — уже луна над морем ржей.

У Бахтеяровой сейчас хотели отправить в Елец для Комитета 60 свиней. Пришли мужики, не дали отправить.

Коля рассказывал, что Лида говорила: в с. Куначьем (где попом отец Ив. Алексеевича, ее мужа) есть чудотв[орная] икона Ник[олая] Угодника. Мужики, говоря, что все это «обман», постановили «изничтожить» эту икону. Но 9-го мая разразилась метель — испугались.

Тупик говорит, что в с. Ламском мужики загалдели, зашумели, когда в церкви запели: «Яко до царя»: «Какой такой теперь царь? Это еще что такое?»

В Ефремове в городском саду пьяный солдат пел:

Выну саблю, выну востру
И срублю себе главу —
Покатилась головка
Во зеленую траву.

Замечательно это «себе».

В Ефремове мужики приходили в казначейство требовать, чтобы им отдали все какие есть в казначействе деньги: «Ведь это деньги царские, а теперь царя нету, значит, деньги теперь наши». [...]

7 Июля

[...] О бунте в Птб. мы узнали еще позавчера вечером из «Ранн[его] Утра», нынче вести еще более оглушающие. Боль, обида, бессильная злоба, злорадство.

Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинск[ого] начальника били, водили босого по битому стеклу.

13 Июля 17 г.

Все еще мерзкая погода. Холодно, тучи, сев. зап[адный] ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику. [...]

27 июля 17 г.

Счастливейший прекрасный день.

Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, — рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, — совсем неизвестные мне, — только смутные образы, только мое воображение, но всегда со мною, близ-

ки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого.

Еще утро, легкий ветерок проходит иногда по комнате, — открыты все окна. Которое нынче число? Если бы я даже не знал какое, я бы и так, кажется, мог сказать, что это конец июля, — так хорошо знаю я все малейшие особенности воздуха, солнца всякой поры года. В то окно, что влево от меня, косо падает на подоконник радостный и яркий солнечный свет, и глядит зеленая густота сада, блестящая под солнцем своей несметной листвой, в глубине своей таящая тень и еще свежую прохладу и то замирающая, затихающая, то волнуемая и тогда доходящая до меня шелковистым, еще совсем летним шорохом. В другие окна я вижу прежде всего ветви и сучья старых деревьев — серебристого тополя, сосен и пихт, — и бледно голубое небо среди них, а ниже, между стволами, деревенскую даль: слегка синеющий на горизонте вал леса, желтизну уже скошенных и покрытых копнами полей, ближе — раскинувшееся по склону к мелкой речке поместье Бахтеярова, а затем, уже совсем близко, — старую низкую ограду нашей усадьбы, молодые елки, идущие вдоль нее, и часть двора, густо заросшую крапивой, — и глухой и жгучей, — которую припекает солнце и над которой реет крупная белая бабочка. Уже по одному тому, как высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того, сколько едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам!

И течет, течет мое спокойное, родное, счастливое деревенское летнее утро. Смотрю на пятна тени, косо испещрившей под елками ограду, на крапиву, на бабочку; потом на тихо колеблющуюся

возле окон серо-зеленую бахрому корявых горизонтальных сучьев пихты, на воробьев, иногда садящихся на солнечный подоконник и с живым, милым, как будто чуть чуть насмешливым любопытством оглядывающих мою комнату. Не слушая, я слышу то непередаваемое, летнее, как будто слегка завораживающее, что производят летающие вокруг меня и роящиеся на подоконнике мухи, слышу шорох сада, отдаленные крики петухов — и чуть внятную детскую песенку кухаркиной девочки, которая все бродит под моими окнами в надежде найти что-нибудь, дающее непонятную, но великую радость ее маленькому бедному существованию в этом никому из нас непонятном, а все таки очаровательном земном мире: какой-нибудь пузырьрек, спичечную коробочку с картинкой... Я слушаю эту песенку, а думаю то о том, как вырастет эта девочка и узнает в свой срок все то, что когда-то и у меня было, — молодость, любовь, надежды, — то о том, где теперь косят работники, — верно уже у Крестов, — то о Тиверии, о Капри... Почему о Тиверии? Очень странно, но мы невольны в своих думах. И я представляю себе вот такое же, как сейчас летнее утро, с тем-же самым солнцем, что горит на моем подоконнике, и совершенно ясно вижу белый мраморный дворец на горном обрыве острова, столь знакомого мне, и этого человека, которого называли императором и который жил в сущности очень недавно, — назад тому всего сорок моих жизней, — и очень, очень немногим отличался от меня; вижу, как сидит он в легкой белой одежде, с крупными голыми ногами в зеленоватой шерсти, высокий, рыжий, только что выбритый, и щурится, глядя на блестящий под солнцем, горячий мозаичный пол атрия, на котором лежит, дремлет и порой встряхивает головой, сгоняя с острых ушей мух, его любимая собака...

Во втором часу вышел из дому, пошел в сад по липовой аллее, в конце которой, за воротами, светлело, белело небо. Земля суха и тверда, приятно идти, на земле лежат уже кое-где палевые листья. Солнце скрылось, потускневший сад был под синеватой тучей, заходившей с юга, — очень хорошо. За воротами серо-зеленые бугры кладбища (давно упраздненного), дальше открытое поле, желтое, покрытое где-то копнами, кое-где рядами. Удивительная бирюза между ними на севере, сладкий, еще совсем летний ветер дует с юга из-под тучи и еще по летнему доносится хлопанье перепела.

Четвертый час. Крупный ливень, град, — даже крыша от него дымилась как будто. К северу из-за тучи белая гора другой тучи и млеющий синий яхонт неба. В комнате с решетчатыми окнами сырая свежесть, запах дождя, мокрой крапивы, травы.

Пять часов. Сад на низком фоне свинцово-синей тучи. Высовывался из окна под редкие капли дождя на эту сырую пахучую свежесть, в одной рубашке — необыкновенно приятно, но почему-то страшно напомнило детство, свежесть и радость первых дней жизни.

Все дождь — до заката. К закату стало на западе, под тучей, светиться. Сейчас шесть. В комнате от заката, сквозь ветки палисадника, пятно странного зелено-желтого света.

Опять прошел день. Как быстро и как опять бесплодно!

[На этой записи кончаются деревенские записи Бунина, находящиеся в архиве. Дневник его с записями от 2 августа 1917 года до мая 1918 попал каким-то образом в Сибирь и отрывки из

него были опубликованы в «Новом мире», Москва (10/1965, стр. 213 — 221), но среди напечатанного нет записей после 21 ноября 1917 года.

25 июля 1917 года Бунин в письме Нилусу писал, между прочим, следующее:]

[...] Добрых и бодрых настроений твоих не разделяю. В будущем, конечно, лучше будет — и относительно, и безотносительно, но кто-же вернет мне прежнее отношение к человеку? Отношение это стало гораздо хуже — и это уже непоправимо.

До ярости, до боли кровной обиды отравляемся каждый день газетами. Порою прямо невыносима жизнь и здесь. [...]

[В письме от 7 октября он пишет:]

[...] прости, что так мало и редко пишу, — скверно себя чувствую, примотаны нервы всем, что творится, до-нельзя, а тут еще новая беда — болен Юлий Алексеевич (которого ты вообще не узнал бы теперь, — так он постарел, ослабел, изменился). [...] — думаю, что это неизлечимо, и полон самых ужасных ожиданий. [...]

Пока сидим в деревне. Скверно и жутко порой, но что делать! В Москву хотим поехать к концу октября. [...]

[16 октября Бунин все еще из деревни пишет Нилусу:]

[...] В Одессу на зиму? И это серьезно? Но, дорогой, где-же там жить, что есть? (Хотя я, вообще, не понимаю — где мы будем жить и что будем есть! Серьезно — *трагическое* положение!). [...]

В деревне невыносимо и оч[ень] жутко.

[В деревне Бунины оставались до конца октября. В дневничке Веры Николаевны сказано:]

22 октября: Первое известие о погромах за Предтечевым. [...] Волнение среди местной интеллигенции. Сборы.

[23 октября Бунин навсегда покидает родные места. Конспект Веры Ник.:]

Бегство на заре в тумане. Пленные. Последний раз Глотова, Озерки, Большая дорога... Бабы: «войну затеяли империалисты». Бешеная езда. Рассыпалось колесо. Семь верст пешком в валенках и шубах. Елец. Ни единой комнаты ни в одной гостинице.

[В Ельце Бунины пробыли до 25 октября (остановившись у Борченко), в Москву выехали 25-го. «Отъезд в I классе, — записано у В. Н., — мы — втроем и Орлов. Солдаты в проходах. Отношение не вражд[ебное]».

В открытке от 7 ноября 1917 года Бунин сообщает Нилусу:]

Мы с 26-го Окт. в Москве. Живы, здоровы. Адрес: Москва, Поварская, 26, кв. 2. [...]

[В дневничке В. Н. за конец ноября записано:]

26 Москва. Первые слухи о восстании. Телефон к Телешовым. Спасение 8000 рублей. Обед и вечер у них. Возвращение пешком домой. 27 — Начало большев. восстания. Горький у Ек[атерины] П[авловны]. Отказ Яна позвонить ему.

[Декабрь. — М. Г.]: 3. Конец больш[ого] восст[ания]. Обыски. [...] Серафимович. Его доносы на гимназиста и писателей. Среда. Изгнание Серафимовича. Книгоиздательство. Отказ писателей

участвовать в одном сборнике с Сераф[имовичем]. [...]

6 [...] Устиновы пригласили Яна в Воронеж. Ян вечером у Толстых.

Рождество.

Среда у нас. [...]

1918

[Дневничок-конспект В. Н.:]

Январь: Вечер писателей. Ужин у Толстых, устр. Делидзе. Среды в Кружке. Среды у нас.

[Дневниковые записи Ивана Алексеевича от 1 января 1918 г. до 20 июня 1919 г. вошли в его книгу «Окаянные дни».

Среди бумаг Веры Николаевны я обнаружила перепечатанные на машинке страницы воспоминаний о весне 1918 года. Привожу выдержки:]

Первое мая нового стиля падало на Среду Страстной. Большевики, истративши очень много денег на праздник пролетариата, отметили его, как полагается, красным цветом, шествиями, музыкой, пением интернационала рабочими и работницами, которые приплясывая и нестерпимо перевирая мотив, кричали: «вперед, вперед, вперед!..» и всю ночь Москва, давно уже привыкшая с заходом солнца погружаться во тьму, пылала всеми огнями дорого стоящей иллюминации вплоть до рассвета... А в Святую ночь новые хозяева не только решились нарушить вековой обычай — лишить москвичей Кремля и волнующих полновесных ударов Ивана Великого, — но даже ради такого большого праздника не позволили хотя бы скудно осветить улицы. И все мы, пробиравшиеся в полной темноте в свои приходы или соседние церкви, ежеминутно оступались, споты-

кались, — уже дворники, переименованные в «смотрители дворов», ничего не делали, и на тротуарах лед не скалывался, и образовывались неровные бугры.

Мы с Яном были у Заутрени в церкви «Никола на Курьих Ножах». Родители не рискнули пробираться в темноте... Маленькая уютная старинная церковка была полна народом. Когда мы вошли, пели «Волною морскою» и слова «гонители» и «мучители» отзывались в сердце совершенно по-новому. Настроение было не пасхальное, — многие плакали. И первый раз за всю жизнь «Христос Воскресе» не вызвало праздничной радости. И тут, может быть, мы впервые по-настоящему поняли, что дышать с большевиками одним воздухом невозможно. [...]

Большинство уже не доедало. Сыты были лишь те, у кого имелись запасы. [...]

Почему-то у нас в доме не придавали серьезного значения «экономической разрухе», о которой более жизненные люди порой нам говорили и всерьез никто не представлял, что жизнь дойдет до того, до чего дошла в 1919-20 годах, а потому в ожидании лучших времен мы лишь сокращались и сокращались в потребностях. Хозяйство с каждым днем делалось все менее и менее сложным, и свободного времени оказывалось очень много. [...] устанешь от впечатлений шумных улиц, приобретающих все более хамский вид, от бульваров с зелеными газонами, где в прежнее время желтели или мохнатились одуванчики, а теперь парами лежит освобожденный народ и усыпает шелухой подсолнечной свежую траву — вот и свернешь незаметно для себя в переулок и ходишь от одного особняка до другого и думаешь о былых временах, смутно ощущая уже, что ста-

рый мир, полный несказанной красоты и прелести, уходит в Лету! [...]

Об отъезде я думала тоже мало. С одной стороны, отгоняла неприятную мысль о разлуке с близкими, а с другой, привыкнув за одиннадцать лет к скитальческой жизни, я довольно просто относилась к отъезду в полной уверенности в скором возвращении назад.

Жить мы уже стали кварталами. Развлекаться — только литературными «Средами», которые после изгнания из «Кружка» происходили в воскресенье в приютившем их «Юридическом Обществе» на Малой Никитской.

В начале мая Ян вместе с Ю. И. Эйхенвальдом¹ ездили в Тамбов и Козлов, где устраивались «Бунинские вечера», откуда они привезли окорока, муки и круп, а Ян еще твердую и непоколебимую уверенность, что нужно уезжать, и как можно скорее, на юг, где с воцарением Гетмана большевики были прогнаны. Его поездка дала ему подлинное ощущение большевизма, разлившегося по России, ощущение жуткости и бездонности.

К хлопотам и сборам в связи с отъездом я относилась пассивно. Все делал Ян. [...]

По совету опытных людей Ян решил ехать через Оршу. Ему обещали в санитарном поезде устроить проезд. Была пора обмена пленными. И довольно часто из Москвы уходили эшелоны с немцами. [...]

Мы звали с собой ехать Юлия Алексеевича, но он решил ждать выздоровления Н. Ал. П[ушешникова], который тоже намеревался приехать к нам. [...] Почему не поехал Юлий Алексеевич? Трудно сказать. Вероятно, и он, несмотря на свой пессимистический ум, не представлял, до чего могут довести страну большевики и до чего они упрочатся. [...] Кроме того, у него была квартира,

были книги, конечно, если бы он уехал, то квартиру потерял бы. [...]

В четверг утром 23 мая я, наконец, услышала давно жданные, но все же для меня жуткие слова: «Поезд № такой-то отходит сегодня в 5 часов пополудни, в три часа вы должны быть на вокзале. [...]

[Эти воспоминания В. Н., как и ее записи, сделанные во время пути (листки, вырванные из записной книжки, исписанные карандашом) да той отъезда называют 23 мая.

В «Розе Иерихона»² Бунин писал, что Москву он покинул 21 мая 1918 года. Думается, что эта дата основывается на другом источнике, а именно дневничке-конспекте Веры Ник. Записи, относящиеся к отъезду из Москвы, более позднего, судя по почерку, происхождения, чем все другие. Вера Ник., видимо, по памяти заполняла этот пробыл и, несмотря на свое исключительное внимание к датам и прекрасную память, ошиблась, а может, просто описалась.

Немногочисленные записи этого времени, очевидно, стилистическая переделка путевых заметок Веры Николаевны. Они написаны чернилами, почерком Бунина:]

25 Мая 1918 г. (старый стиль).

11 часов утра (по «нов[ому] времени»), Орша.

Вдоль полотна ж[елезной] д[ороги] досчатые шалаши, в них беженцы из России, возвращающиеся на родину, на Украину.

Мы третий день в пути. В Москве приехали на Савеловский вокзал в 3 ч. дня, 23-го, провожал Юлий, простившийся с нами на подьезде. В поезд сели только в 7 ч. — раньше отправляли «пролетарских» детей на каникулы в Саратовскую губ. — затеи Луначарского. С Сав. вокзала

мы тронулись только в час ночи, а с Александровского — в 3 ч. Спать пошли только в 4 — до того сидели с доктором этого санитарного поезда, пили тминную водку³. В Вязьме были в 3 ч. 24 мая и стояли там до вечера. В Смоленск прибыли рано утром 25-го, откуда тронулись в 5 утра. В Орше стоим уже 3 часа, не зная, когда поедем дальше.

26 мая.

Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. мы на «немецкой» Орше — за границей. Ян со слезами сказал: «Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!» Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по большевицки.

Время здесь уже нормальное.

Немецкий пост, купил у немцев бутылочку кюммеля. За завтраком и обедом у нас в поезде был помощник коменданта станции, немец 23 лет.

Едем на Жлобин.

27 мая (9 июня). Воскресенье.

Утром Минск. Серо, скучно. Узнали, что поезд пойдет на Барановичи. Из поезда пришлось непосильно тащить вещи на другой, Александровский, вокзал — больше версты. Помогли 2 больных солдата.

[Путевые записи Бунина на этом кончаются. Следующая запись касается Киева. О продолжении пути говорится в заметках Веры Николаевны:]

[...] На вокзале [т. е. Александровском вокзале в Минске. — М. Г.] выпили кофе с миндальными пирожками. Рядом сидели два студента из Киева, кот[орые] дали нам сахару и рассказали о взры-

ве. От коменд[анта] станции, немца, я узнала, что нам нужно ехать на Виленский вокзал. [...] На вокзале мы узнали, что нужно взять пропуск для получения билетов на выезд. Поехали за разрешением, на главной улице в каком-то большом доме у подъезда стоят пруссаки и жаждущие выехать обыватели.

Когда мы поднялись наверх и прошли мимо немецких часовых и, наконец, попали в комнату, где что-то писали и чего [-то. — М. Г.] ожидали, нас охватило отчаяние, т. к. выяснилось понемногу, что пропуска выдаются с большим трудом, что нужно коменданту подавать прошение, написанное на немецком языке. [...]

Ян был взбешен, расстроен, прямо не знал, что делать. Я все думала, все обращалась то к тому, то к другому, и получала в ответ «keine Zeit», довольно грубым тоном.

Вдруг мы увидели сестру милосердия, в кожаной куртке и пенсне. Когда она узнала, в чем дело, она выразила готовность помочь, сказав: «Да кто же вас не знает, Ив. Ал.». Она сказала немцам, кто Ян, и те согласились дать нам пропуск. [...] в конце концов мы получили пропуск и, поблагодарив сестру, отправились на вокзал. [...]

Затем мы сели обедать, и вдруг Ян говорит: «Да это Вера Инбер⁴ идет». Мы раскланялись, они подошли к нам. Оказывается, она проехала с датским посольством. В Орше ее чуть было не вернули обратно в Москву. Она едет в Одессу.[...]

Билеты нам продали в III-ий класс. [...] Ян был мокр, ветер гулял по вагону. Когда пошел контроль, я попросила их, нельзя ли за хорошую мзду перевести нас во второй класс, и он быстро согласился. Они перенесли наши вещи и посадили нас в просторное купе, где уже сидело 2 польских офицера, инженер-поляк и какой-то усач. [...]

[Без даты:]

Сидим на палубе⁵. Как хорошо. Легкий ветерок, солнце. [...] Мне только жаль оставшихся в Московии. Но Ян долго не позволяет быть на воздухе и сейчас мы пьем пиво и едим удивительно хорошее сало. Он повеселел. Много говорит. [...]

Седьмой час, мы где-то стоим. После грозы в воздухе разлилась приятная прохлада. Чувствуем сильную усталость и очень рады, что плывем на пароходе. В вагоне могла быть такая же теснота, какая была и вчера, когда в наше купэ ввалилось человек 8 офицеров польского легиона со своими пожитками, занявшими все пространство на полу и целую верхнюю лавочку. [...]

[Заметки В. Н. обрываются. Возвращаюсь к записям Ивана Алексеевича:]

Лето, восемнадцатый год, Киев.

Жаркий летний день на Днепре. На песчаных полях против Подола черно от купающихся. Их всё перевозят туда бойкие катерки. Крупные белые облака, блеск воды, немолчный визг, смех, крик женщин — бросаются в воду, бьют ногами, заголяясь в разноцветных рубашках, намокших и вздувающихся пузырями. Искупавшиеся жгут на песке у воды костры, едят привезенную с собой в сальной бумаге колбасу, ветчину. А дальше, у одной из этих мелей, тихо покачивается в воде, среди гнилой травы, раздувшийся труп в черном костюме. Туловище полулежит навзничь на бережку, нижняя часть тела, уходящая в воду, все качается — и все шевелится равномерно выплывающий и спадающий вялый белый бурак в растегнутых штанах. И закусывающие женщины резко, с хохотом вскрикивают, глядя на него.

Часть вторая

О Д Е С С А

1918

[В Одессу Бунины приехали в начале июня 1918 года, вероятно 3/16 июня, так как в Одесском дневнике Веры Николаевны под датой 3/16 июня 1919 года сказано: «Год, как мы в Одессе». Жизни в Одессе посвящен пространный дневник В. Н., как и страницы записей Бунина, сохранившихся в том виде, как были сделаны в свое время. Это пожелтевшие, исписанные его рукой листки бумаги, размера «фолио», сложенные пополам. Почерк нервный и местами неразборчивый. Начало и конец отсутствуют. Относятся эти записи ко времени, когда Одесса находилась в руках большевиков в 1919 году. Предполагаю, что из этих заметок частично родились впоследствии «Окаянные дни».

Из дневника Веры Николаевны, перепечатанного на машинке, иногда в нескольких вариантах:]

17/30 июня.

Мы на даче Шишкиной¹. Опять новая жизнь. [...] Я сижу на веранде с цветными стеклами — как это хорошо! На столе розовые лепестки розы, а в бутылке красная роза — принес Митрофаных²: «Лучшая роза из моего сада!»

У нас Нилус. Он согласился на предложение Яна жить с нами, Буковецкий еще колеблется.

19 июня/2 июля.

[...] Ян опять в городе. Мне жаль его. Но сама я еще не способна на трепку. [...] Отдыхаю от людей, от забот. Рада, что мы живем вдвоем. [...] Отравляет мысль о Москве. Как там живут? Голодают ли? Мы ничего не знаем почти месяц.

Объявился Керенский. «Одесские Новости» поднимают его на щиты, сравнивают с Гарибальди и Мицкевичем... [...]

20 июня/3 июля.

[...] Ян все «вьет свое гнездо», — дай-то Бог, чтобы его труды не пропали даром!

22 июня/5 июля.

[...] Вчера вечером пили чай у Недзельских. У них был художник Ганский, первый русский импрессионист. [...] Пришли туда и Тальниковы³. Впрочем, Юлия Михайловна скоро ушла и хорошо сделала, т. к. между Ганским и Тальниковым возник очень острый разговор по поводу евреев. Ганский ярый юдофоб, почти маниак. [...] Тальников сдерживался, но все таки горячился. [...] Слушать было тяжело, неприятно-остро. [...]

Ян опять в городе. Он понемногу приходит в себя. О политике говорит мало. [...]

25 июня/8 июля.

Месяц уже прошел, как мы уехали из Москвы. Живем в другом мире: другие люди, другая природа. Получили всего несколько открыток от Юлия Алексеевича и письмо от мамы⁴. 14 июня они еще не знали, где мы. Знают ли теперь?

Приехали Гребенциковы⁵. Настойчиво поселились у Федоровых в подвале. Мне кажется, они

сердятся, что мы не предложили им жить с нами. [...]

26 июня/9 июля.

Вчера неожиданно у нас был five o'clock. Пришли Овсянико-Куликовские⁶, Ян позвал Недзельских, пришли Федоровы, Тальниковы, Гребенциковы. [...] Тальников сделал предложение от «Одесских Новостей» взять в свои руки журнал «Огонек» писателям и самим быть его хозяевами. [...]

30 июня/13 июля.

[...] Пришел Катаев⁷. Я лежала на балконе в кресле. Ян вышел, поздоровался, пригласил Катаева сесть, со словами: «Секретов нет, можем здесь говорить». Катаев согласился. Они сели. Я лежала затылком к ним и слушала.

После нескольких незначущих фраз, Катаев спросил:

— Вы прочли мои рассказы?

— Да, я прочел только два, «А квадрат плюс Б квадрат» и «Земляк», а больше читать не стал, — сказал с улыбкой Ян, — так как подумал: зачем мне глаза ломать? Шрифт сбитый, да и то, что на машинке переписано, тоже трудно читать, и я понял из этих вещей, что у вас несомненный талант, — это я говорю очень редко и тем приятнее мне было увидеть настоящее. Боюсь только, как бы вы не разболтались. Много вы читаете?

— Нет, я читаю только избранный круг, только то, что нравится.

— Ну, это тоже нехорошо. Нужно читать больше, не только беллетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Возьмите Брэма, как он может обогатить словарь. Какое описание окрасок птиц! — Вы и представить не можете.

— Да, это верно, — соглашается Катаев, — но, по правде сказать, мне скучно читать не беллетристические книги.

— Я понимаю, что скучно. Но это необходимо, нужно заставлять себя. А то ведь как бывает: прочтут классиков, а затем начинают читать современных писателей, друг друга, и этим заканчивается образование. Читайте зарубежных писателей. Одолейте Гете.

Я искоса поглядываю на Катаева, на его темное, немного угрюмое лицо, на его черные, густые волосы над крепким невысоким лбом, слушаю его отрывистую речь с небольшим южным акцентом. Он любит больше всего Толстого, о нем он говорит с восторгом, затем Чехова, Мопассана, Флобера, Додэ, но Толстой и Пушкин — выше всех, недосыгаемы. Уже три года он пишет роман, но написал только девяносто пять страниц. Хочет дать прочесть Яну первую часть его.

5/18 июля.

Вчера вечером я слышала, как Ян, гуляя с Нилусом в саду, сказал: недавно я вспомнил молодость и так ярко все представил, что расплакался.

Они ходили по саду и долго говорили о художественной литературе.

— Я только того считаю настоящим писателем, который, когда пишет, видит то, что пишет, а те, кто не видят, — это литераторы, иногда очень ловкие, но не художники, так, например, Андреев. [...]

8/21 июля.

[...] Ян по утрам раздражителен, потом отходит. Часами сидит в своем кабинете, но что делает — не говорит. Это очень тяжело — не знать, чем живет его душа. [...]

Известие о расстреле Николая II произвело удручающее впечатление. В этом какое-то безграничное хамство: без суда...

[...] ночью я долго не могла спать, меня взял ужас, что, несмотря на все ужасы, мы можем еще есть, пить, наряжаться, наслаждаться природой.

9/22 июля.

Дождь. Именины Федорова пройдут тускло. [...] Мы живем здесь так однообразно, что именины — целое событие! Вспоминаются его именины до-военного времени. Первый год, когда мы были так беззаботны, веселы, многие пьяны, пир был на весь Фонтан! Второй год было тревожно, уже чувствовалось в воздухе, что «назревают события», но все-таки все были далеки от мысли о всемирной войне, о революции в России, обо всем, что пришлось пережить за все эти годы. [...]

12/25 Июля.

[...] Был разговор о Гете, Ян хвалил Вертера и рассказал, что в прошлом году он хотел развенчать любовь.

— Ведь все влюбленные на манер Вертера — это эротоманы, то есть весь мир вколачивающие в одну женщину. Я много перечитал уголовных романов, драм, кое-что припомнил из своей жизни, когда я также был эротоманом...

— Разве ты мог быть так влюблен? — спросил Буковецкий. — Это на тебя не похоже.

— Да, это было, — только я никогда не молился *ей* и не считал *ее* совершенством, а скорее был напоен чувством любви к ней, как к облаку, к горизонту. Может быть, вы не понимаете моих отрывистых фраз, но это так, когда-нибудь расскажу подробнее. [...]

Нилус очень хорошо разбирается в музыке, понимает и любит ее, знает очень много сонат, ро-

мансов наизусть, может их пропеть. Он в музыке гораздо более образован, чем в литературе. О Чайковском он говорит: «Местами он гениален, а местами ничтожен», поэтому он кажется ему неумным. Ян оспаривал это мнение, говоря, что нужно судить по лучшим местам, а «человек, который одной музыкальной фразой дал почувствовать целую эпоху, целый век — должен быть очень большим». [...]

— Прочел биографию Верлэна, — сказал Ян, выходя из своего белого кабинета, — и во время чтения чувствовал и думал, что когда-то жил Гете, а потом Верлэны — какая разница! [...]

14/27 июля.

Иметь прислугу теперь это мука, так она распустилась — как Смердяков поняла, что все позволено. У Мани, нашей кухарки, в кухне живет, скрывается ее любовник, большевик, матрос, и мы ничего не можем сделать. Если же принять серьезные меры, то может кончиться вся эта история и серьезными последствиями. [...]

У Овсяннико-[Куликовских] велись довольно интересные разговоры. Между прочим, и о народе, о религиозности его.

— Русский народ все-таки очень религиозен, — сказал Д[митрий] Н[иколаевич] своим мягким голосом.

— А что вы подразумеваете под религиозностью? — спросила я.

— Веру в высшее существо, которое нами управляет, страх перед явлениями природы, — ответил он.

— Но ведь это каждый народ тогда религиозен... [...] — заметил Ян. — Ведь это все равно, что говорить, что на руке русского человека пять

пальцев. Разве в Германии, Англии, я уж не говорю об Америке, нет религиозного движения. [...]

— Да, чем народ культурнее, тем он религиознее, — согласился Д. Н.

— Русский народ религиозен в несчастии, — заметил Ян. [...]

26 июля/8 авг.

Ян повеселел, стал говорить глупости, так что жаловаться не на что.

После пяти часов вечера мы с художником Шатаном, который пишет меня, отправились в «степь» за пшеникой, по-нашему кукурузой. [...] Шатан очень милый человек, но таланта у него мало. [...]

27 июля/9 августа.

Вчера перед обедом пришел Тальников. [...]

— Расскажите, что вы читали на чеховском вечере в Одессе, — попросила я. [...]

Сначала он рассказал, что Овсяннико-Куликовский говорил всего пятнадцать минут.

— [...] он говорил, что Чехов отрицательно относился к русскому народу, — раньше он об этом не решился бы сказать. [...]

Я спросила, а что же говорил сам Тальников.

— Я говорил, что Чехов не великий писатель, потому что в нем нет железа. Он лирик. Ведь несмотря на то, что мы все Чехова читаем и любим, мы почти не помним образов, остается в памяти: «Мисюсь, где ты?» и тому подобные фразы. Остается впечатление, как от музыки. [...]

— А куда вы отнесете Мопассана? — спросил улыбаясь Ян.

— Мопассан — другое дело, — он создал пятнадцать томов мужчин, женщин, — возразил Тальников.

— Да и мироотношение у него иное, очень глубокое, — добавил Ян.

— Вот у вас есть то, чем характеризуется великий талант, — продолжал Тальников.

Но Ян не поддержал этого разговора. И мы заговорили о Короленко. Ян возмущался его речью: — Разве художник может говорить, что он служит правде, справедливости? Он сам не знает, чему служит. Вот смотришь на голые тела, радуешься красоте кожи, при чем тут справедливость?. [...]

[...] вскоре пришел профессор Лазурский с женой. [...] Разговор вертелся на политике: Архангельск занят англичанами, есть слухи, что Вологда — тоже. Начинается мобилизация и в Восточной России и здесь. [...]

28 июля/10 августа.

Письмо от Юлия Алексеевича и Коли.

[Вероятно, полученное от Ю. А. Бунина письмо было от 13 июля 1918. Оно сохранилось в архиве. Привожу выдержки:]

«[...] Письмо это пересылаю через Н. А. Скворцова, который возвращается на Украину. На счет нашей поездки на юг не так складось, как ждалось. Коля до сих пор еще лежит; теперь поправляется, но, по мнению докторов, поехать куда-либо может не раньше, как месяца через полтора, если не будет никаких осложнений. [...]

Сам я положительно истомился и изнервничался. Да, проводить лето при наших условиях не легко. Многие разъезжаются. Телешов в Малаховке (ютится в 2-3 комнатах). Уехали Шмелевы, Гусев-Оренбургский, Никандров и др. в Крым. Вересаев еще не возвращался из отпуска. [...]

Довольно часто захожу к Муромцевым. [...] Все они здоровы. [...] Газеты [...] целую неделю не выходят, кроме советских. [...] Дороговизна становится невыносимой. Сейчас, напр., купил [...] копченой колбасы по 24 р. фунт. Бутылка сельтерской воды стоит 3 р. Последние 2 дня получали хлеб по 1/8, а то давали рису или гороху. [...]

4/17 августа.

[...] Про Елец рассказы страшны: расстреляно много народу. [...] Когда подходили немцы к Ельцу, то большевики созвали съезд крестьянский, Микула Селянинович, и хотели, чтобы он санкционировал диктатуру, всеобщую мобилизацию и еще что-то. Но Микула не согласился ни на один пункт, тогда президиум объявил, что это не настоящие крестьяне, а кулаки, и председатель стал стрелять в публику, но члены съезда кинулись на него, и начался рукопашный бой, какой всегда бывал в древней Руси, когда решались общественные вопросы. Бежали по улицам мужики, за ними красноармейцы. [...] Многих мужиков арестовали, четырнадцать человек из них расстреляли. Когда на следующий день жены принесли в тюрьму обед, то им цинично сказали: «Это кому?» — «Как кому, да мужьям нашим!» — «Да нешто покойники едят?» Бабы с воплем разбежались по городу.

Прислуга в Ельце вся шпионы. Продовольствия мало. [...]

11/24 августа.

Из Москвы приехала Толстая — жена А[лексея] Н[иколаевича]. — Вид сытый, она очень хорошенькая. Муж в поездке, зарабатывает на жизнь. О Москве рассказывает много ужасного. Нет молока, наступил голод. Что делают наши? Она рассказывала, что видела издали Юлия Алексеевича, сидящего на Тверском бульваре, и мне

так сделалось жалко его, одинокого старика, напрасно мы не захватили его с собою, погибнет он там! Нет энергии уехать. Ведь он и здесь устроился бы. Нет отваги. Страх перед жизнью! [...] Вот разница — Толстой. Что за жизнеспособность — нужно пять тысяч в месяц, и будет пять. [...]

12/25 августа.

[...] Ян совершенно забыл, что Толстой вел против него кампанию в «Среде». Как будет он держаться с нами?

Толстая понравилась Нилусу, да не очень, «злые глаза и большие зубы». Сразу заметил, что она хищница.

14/27 августа.

[...] Ян и Нилус в городе. В 11 часов утра назначено свидание с Брайневичем насчет книгоиздательства, товарищества на паях в Одессе. [...]

Деньги, взятые из Москвы, приходят к концу. Ян не работает. Проживать здесь нужно минимум 2000 р. в месяц. Ехать в Россию?.. А там что? Голодать, доживать на последние деньги.

[Сохранилась одна запись Ив. Ал. Бунина этого времени:]

15/28 дача Шишкиной (под Одессой).

Пятый час, ветер прохладный и приятный, с моря. За воротами стоит ландо, пара вороных лошадей — приехал хозяин дачи, ему дал этих лошадей приятель, содержатель бюро похоронных процессий — кучер так и сказал — «это ландо из погребальной конторы». Кучер с крашеной бородой.

Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду «радикалов» и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всяким клас-

сам общества, кроме этих самых «радикалов». О проклятие!

[Следует длинный перерыв в записях Бунина, вплоть до весны 1919 года. Продолжаю выдержки из дневника Веры Николаевны:]

18/31 августа.

В четыре часа дня начались взрывы. Где, неизвестно. Наверху из западной комнаты было хорошо наблюдать. Нилус некоторое время сидел и делал наброски карандашом. Ян сказал, чтобы я записала. Сначала появляется огонь, иногда небольшой, иногда в виде огненного шара, иной раз разбрасывались золотые блески, после этого дым поднимается клубом, иногда в виде цветной капуты, иногда в виде дерева с кроной пихты...

Из города едут массы народа, платформы полны людьми; из Люстдорфа многие кинулись в город спасать вещи, [...] Неужели это повторение киевских взрывов?

[...] Масса народу с Молдаванки бежит в Люстдорф, на степь. Люди в панике. Говорят, что выбиты окна в высоких домах. Все взволнованы. Рассказывают, что вся Одесса горит, что есть человеческие жертвы.

Весь вечер стояло зарево. Иногда вспыхивали и окрашивали пол-неба огненные шары, а секунд через 20-30 доносились раскаты взрыва. [...]

Нилус сказал о Толстом: «Он, как актер, приехал в Новый край для себя и хоть бы звук наблюдений. [...] Все разговоры такие, как будто и из Москвы не выезжал...» Это действительно так. За весь путь его больше всего поразил армянин, который просил: белую сажу или черную.

Он рассказывал с чьих-то слов об убийстве Распутина: травили и не отравили. Почти слово в

слово, как мне рассказывал Воля Брянский^{7а} со слов Эльстона. [...]

25 авг./ 7 сент.

[...] Завтра приглашены к Толстым. Обеды с ними проходят оживленно и весело. Масса шуток, воспоминаний из литературной жизни. [...] у него много актерских черт, больше, чем писательских. [...] Но интересных разговоров не бывает, как иногда бывало на Капри. [...]

29 авг.

[...] Газета принесла кошмарные вести: расстрелян Брусиллов, Великие князья, начался истинный террор. Что испытывают люди в Москве, Петрограде и других городах — трудно даже представить. Но в такие минуты лучше быть там, а не здесь. [...]

30 авг./12 сентября.

[...] В семь часов пришли Лазурские. [...] Затем вскоре явились и остальные. Сразу сели за стол, т. к. нам очень хотелось есть. [...] Катаев привез 6 б. вина, 5 было выпито, шестую Ян отстоял. Много по этому случаю было шуток. Толстая читала свои стихи. [...] Озаровский изображал в лицах неаполитанский театр и оперетку. [...]

31 авг./13 сент.

Мы провожали всех до Люстдорфа. Дорогой был принципиальный спор о евреях. [...]

Мы как-то с Яном говорили, что здешние места не дают нам той поэзии, тех чувств, как наши. И это правда.

Возвращалась с Валею [Катаевым], всю дорогу мы с ним говорили о Яновых стихах. Он очень неглупый и хорошо чувствует поэзию. Пока он очень искренен. Вчера Толстому так и ляпнул, что его пьеса «Горький цвет» слабая.

Сегодня уехал Нилус. Завтра с нами селится Кипен⁸.

1/14 сентября.

[...] Квартира на Княжеской нам улыбнулась. [...] [Буковецкий. — М. Г.] расспрашивал меня, как мне представляется жизнь у него. [...] Его идеал близок нашему.

— Хорошо перед сном в половине одиннадцатого нам всем сходиться на часок и проводить в беседе время, — сказал он полувопросительно.

Потом опять показывал и рассказывал, как будет у нас. [...]

[В сохранившейся копии письма родным (или же не отосланном за неимением okazji письма) Вера Николаевна пишет:]

Вчера окончательно решили и сняли две комнаты у Буковецкого — *до июня месяца будущего 1919 года* — это его желание. Квартира очень красивая, со вкусом убранная, много старинных вещей, так что с внешней стороны жизнь будет приятной, а с внутренней — увидим. Кроме платы за комнаты, все расходы по ведению дома и столу будем делить пополам. Деньги, взятые из Москвы и полученные в Киеве, приходят к концу. Ян делает заем в банке, тысяч на десять. [...] Он очень озабочен, одно время был оживлен, а теперь снова загрустил. Писать не начинал. Последний месяц он берет ванны, много гуляет, но вид у него почему-то стал хуже. Вероятно, заботит предстоящая зима, а теперь и здоровье Юлия Алексеевича. [...]

[В другом, тоже сохранившемся среди ее бумаг письме В. Н. говорит:]

[...] В такой обстановке не приходилось жить: у нас две комнаты, большие, высокие, светлые, с

большим вкусом меблированы, но лишних вещей нет. Удобств очень много. Даже около моего письменного стола стоит вертящаяся полка с большим энциклопедическим словарем, — это то, о чем я всегда мечтала.

[Выписки из дневника Веры Николаевны:]

5/18 сентября.

Как только прочтешь известия из Совдепии, так холодеешь от ужаса. [...]

7/20 сентября.

— Вы слышали, — спросил Ян Яблоновского⁹: — говорят, Горький стал товарищем министра Народного Просвещения?

— Это хорошо, теперь можно будет его вешать, — с злорадством ответил Яблоновский.

Харьковская городская Дума протестует против террора. Возмущается, а в заключение говорит, что это «наносит последний удар революции и демократии». [...]

24 сентября/7 октября.

Комнаты, снятые нами у Буковецкого, реквизированы. Третий день Ян хлопочет. [...]

Я присутствовала в квартире Буковецкого, когда ввалились австрийцы, — нынешние хозяева наши — и стали занимать [нашу] будущую комнату, где живет пока Нилус, чтобы водворить в ней украинского морского офицера. Я два раза нарочно загораживала путь, и два раза на меня направляли штык. Русский, т. е. украинский, морской офицер стоял и спокойно смотрел. [...]

6/19 октября.

[...] Яблоновский написал открытое письмо Горькому. [...]

7/20 октября.

Письмо от Н. А. Скворцова. Юлий Алексеевич был в постели довольно долго. Письма посылать запрещено. Телешов не может добиться разрешения на выезд из Москвы. Скворцов пишет про него: «Он похудел, отоцал, стал чрезвычайно нервен». Про Юлия Алексеевича: «осунулся, почернел, глаза ввалились». [...]

[...] Ян говорит, что никогда не простит Горькому, что он теперь в правительстве.

— Придет день, я восстану открыто на него. Да не только, как на человека, но и как на писателя. Пора сорвать маску, что он великий художник. У него, правда, был талант, но он потонул во лжи, в фальши.

Мне грустно, что все так случилось, так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на Капри, после пения, мандолин, тарантеллы и вина, Ян сделал Горькому такую надпись на своей книге: «Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, я всегда буду любить вас». [...] Неужели и тогда Ян чувствовал, что пути их могут разойтись, но под влиянием Капри, тарантеллы, пения, музыки душа его была мягка, и ему хотелось, чтобы и в будущем это было бы так же. Я, как сейчас, вижу кабинет на вилле Спинола, качающиеся цветы за длинным окном, мы с Яном одни в этой комнате, из столовой доносится музыка. Мне было очень хорошо, радостно, а ведь там зрел большевизм. Ведь как раз в ту весну так много разглагольствовал Луначарский о школе пропагандистов, которую они основали в вилле Горького, но которая просуществовала не очень долго, так как все перессорились, да и большинство учеников, кажется, были провокаторами. И мне все-таки и теперь не совсем ясен Алексей Максимович. Неужели, неужели...

11/24 октября.

[...] Служи, что сегодня в ночь восстание большевиков, и австрийцы уходят. В городе среди обывателей тревога. [...]

15/28 октября.

Вечер. Одиннадцать часов. Буковецкий играет на пьянино. Я сижу, слушаю и беспокоюсь. Ян уехал через Киев в Екатеринослав, а между тем чувствовал себя больным весь день. [...] Но, если все обойдется благополучно, то я умолять буду Яна никуда не ездить. Бог с ними, с деньгами. [...] помоему вчерашнее «воскресенье» оставило на него дурное впечатление. Ему очень неприятно, что он не сдержался и спорил с «дураками», которые рассказывали, что в Совдепии «истинный рай», «взятки не берут», «поезда ходят превосходно» и т. д., и т. д. [...]

21 октября/3 ноября.

[...] Цетлин¹⁰ сидел часа два. Велись разговоры на политические темы.

— Вильсон хочет погубить Европу, — сказал Ян.

Цетлин не соглашался. Он рассказывал, что проездом был здесь Руднев, московский городской голова при Временном Правительстве; у него есть небольшой хуторок в Воронежской губернии. В соседней с ним деревне убили комиссара и за это было убито двенадцать крестьян, которых предварительно истязали. Мать и сына Руднева пытали, теперь они в больнице.

Юшкевич¹² сообщил по телефону, что в Жмеринке, Бирзуле и Вапнянке бунт мажарских войск и еврейские погромы.

У нас в городе стрельба.

Сегодня австрийские солдаты ходили по городу с красным флагом. [...]

Год назад мы в эту ночь выехали из Глотова. Как я все хорошо вижу, точно это было вчера. Помню, как я ходила в контору Бахтеяровой говорить с офицером по поводу благонадежности солдат. Накануне в деревне появились солдат-еврей и матрос. Матрос, перед тем, как священник вышел с крестом, обратился к прихожанам и сказал, чтобы завтра, 23 ноября, они все собрались, он будет держать речь. В час дня явился посланный из Предтечева [...] там начались беспорядки. Мы сидели и читали вслух «Село Степанчиково», когда С. Н. Пушешникова вошла и сказала нам об этом. А в два часа, когда Ян сидел и писал стихи, явился из Петрищева мужик и объявил, что начались погромы. [...]

Все надеются на англичан. Есть слух, что состоялось соглашение между ними и немцами не оставлять Одессы в анархическом состоянии.

[...] Лекция Овсяннико-Куликовского не состоялась, т. к. университет закрыт: студенты стали неуютных профессоров выносить из университета. [...]

1 ноября.

[...] Вчера были у Цетлиных. Кроме нас, были Толстые, Керенский и Инбер, потом — уже очень поздно — пришли Фондаминский-Бунаков¹³ и Руднев. [...]

5/18 ноября.

[...] Главный вопрос об Учредительном собрании. Эс-эры, в лице Руднева и Фондаминского, будут стоять за Учредительное собрание старое, а кадеты — против, основываясь на том, что в прежнем Учредительном собрании 45 большевиков. [...]

6/19 ноября.

Был Катаев. Собирает приветствия англича-

нам. Ему очень нравятся «Скифы» Блока. Ян с ним разговаривал очень любовно. [...]

7/20 ноября.

Был Тальников и сообщил, что английская эскадра обстреливает Кронштадт. [...]

В городе волнение. Идут аресты. Кажется, социалистов всех видов.

8/22 ноября.

[...] — Высшие классы, — сказал Ян, — это действительные классы, а народ, аморфная масса. Так называемая интеллигенция и писатели — это кобель на привязи, кто не пройдет, так и брешет, покакивает, из ошейника вылезает. [...]

11/24 ноября.

[...] Ян сказал: «Как это сочетать, — революционеры всегда за свободы, а как только власть в их руках, то мгновенно, разрешив свободу слова, они закрывают все газеты, кроме своей. Революция производится во имя борьбы против насилия, а как только власть захвачена, так сейчас же и казни. Вот Петлюра уже расстреливает офицеров Добровольческой армии. [...]

Ян рассказал, что сегодня гулял в порту. Заводил разговоры насчет Петлюры — все относится к нему отрицательно, многие ругают его матерно.

13/26 ноября.

[...] В порт пришел английский миноносец, ждут броненосца. [...] На улицах большие толпы. [...]

14/27 ноября.

[...] Забастовка прекратилась: вышли «Одесские Новости». [...]

— Вероятно, англичане заняли почту, телеграф и электрическую станцию — сказал Ян.

В пять часов нам дали электричество, и какая радость. [...]

17/30 ноября.

Приехал к Яну Гроссман¹⁴, высокий, худой и самоуверенный человек, говорит гладко, несколько певуче. Он явился просить у Яна выборных рассказов из его произведений. [...]

— Из современников только вас, — говорит он с улыбкой, — из умерших: Герцена, Гоголя, Кольцова, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева и других. Разные лица будут делать выборки, например, Островского подаст профессор Варнеке, Достоевского — я.

— Значит, в каждой книге будет критическая статья? И это будет относиться и к живым авторам? — спросил Ян.

— Да, но можно сделать по другому принципу, — стал объяснять Гроссман: — В данном случае не будет какого-нибудь исследования, а вы сами сделаете выбор произведений.

— Что такое избранные произведения, — перебил Ян: — это не самые лучшие, а разнообразные. Можно отметить характерные черты в творчестве.

— Да, — согласился Гроссман, — учебные цели. [...]

— Что же я с собой делаю? Я выбираю шесть листов лучших, следовательно, все остальные я считаю плохими?

— Да, к современному автору неудобно предлагать такое заглавие, вы правы, — соглашается Гроссман, — лучше назвать «Избранные страницы». [...]

Гроссман производит впечатление очень культурного человека, вероятно, с ним иметь дело будет приятно, хотя он человек холодный. [...]

19 ноября/2 декабря.

Ян вспоминал, как в год войны Горький говорил в «Юридическом Обществе», что он боится, «как бы Россия не навалилась на Европу своим брюхом». — А теперь он не боится, если Россия навалится на Европу «большевицким» брюхом, — сказал Ян зло. [...]

20 ноября/3 декабря.

[...] Гроссман просит у Яна два тома — один рассказов, другой стихов, издание должно быть в пять тысяч экземпляров. [...]

21 ноября/4 декабря.

[...] Дома у нас вчера был пир, который затянулся до трех часов вечера. Все были благодушно настроены. Вспоминали Куровского. Буковецкий говорил, что он последнее время от них отстранялся. Ян вспомнил, что и он испытал это раз, когда приехал в Одессу и пережил точно измену женщины — Куровский как будто ушел от него, началась у него в то время дружба с Соколовичем, «а между тем, я пережил с ним то, чего не переживал ни с кем — опьянение от мира». И тут Ян вдался в воспоминания о их путешествии, когда их восхищало все — и кабачок в Париже, и восход солнца в Альпах, и вьюга, и немецкие города...

Говорили о Федорове. Ян сказал: — «Всегда в моем сердце найдется капля любви к нему, ибо раз мне пришлось пережить с ним так много хорошего, что забыть я этого не могу. Ночь в Петербурге, Невский, мы едем к Палкину, где много красивых женщин, мы пьем вино, а завтра Федоров едет в Одессу, чтоб отправиться в Америку. Разве это не прекрасно? И как он не понимает, что я всегда с ним очень деликатен, стараюсь умаливать свои успехи, а он относится по-свински. [...]»

Наконец, Ян стал уговаривать Буковецкого писать нечто вроде дневника. — «При твоём уме, наблюдательности, это будет очень интересно. [...] Ты, хотя, в некотором отношении, сумасшедший, но все же человек ты замечательный, тонкий». Нилус тоже поддерживал. Решили, что он начнет писать Яна, и во время сеансов Ян преподаст ему «искусство писать». Все были возбуждены, конечно, от вина. [...]

23 ноября/6 декабря.

[...] Жена Плеханова говорила, что Горький сказал, что «пора покончить с врагами советской власти». Это Горький, который писал все время прошлой зимой против Советской власти. Андреева в Петербурге издает строжайшие декреты. Вот, когда проявилась ее жестокость. Пятницкий рассказывал, что она в четырнадцать лет перерезывала кошкам горло! [...]

26 ноября/9 декабря.

[...] Вчера вечером был у нас Цетлин. Многое мне в нем нравится, он хорошо разбирается в людях. Много интересного он рассказывал о Савинкове¹⁵. [...] Он человек сильный, жизнь у него редкая по приключениям. Рассказывать он любит. Впрочем, молчалив. Керенского презирает и ненавидит. [...]

Савинков теперь в Сибири, зимой жил в Москве. Он за диктатора и республику. Зимой он был в Ростове, где вел дела вместе с Корниловым¹⁶. [...] Корнилова он не считает умным. [...] Между Савинковым и Корниловым были такие отношения, что они иногда говорили: «А пожалуй, кому-нибудь из нас придется другого вешать». — «Пускай я лучше вас повешу», — шутил Савинков. [...]

28 ноября/11 дек.

[...] Вчера убито много в стычке между немцами и легионерами. [...] Петлюровцы приблизились к Одессе. [...]

29 ноября/12 дек.

[...] Мы — в республике. Петлюровские войска вошли беспрепятственно в город. [...] По последним сведениям, Гетман арестован. Киев взят. Поведение союзников непонятно. [...] Сегодня, вместе с политическими, выпущено из тюрьмы и много уголовных. Вероятно, большевицкое движение начнется, если десанта не будет. [...]

Петлюровские войска в касках, вероятно, взятых от немцев. [...]

30 ноября/13 декабря.

Опять началась жизнь московская. Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение, выходить из дому можно до девяти часов вечера. Вчера выпустили восемьсот уголовных. Ждем гостей. Ожидание паршивое. [...]

Вчера мы за ужином угощали грушами. Ян был подавлен. Он говорил, что прошлую ночь три часа сидел на постели, охватив руками колени, и не мог заснуть.

— Что я за эти часы передумал. И какое у меня презрение ко всему!... [...]

2/15 декабря.

Пошли все гулять. День туманный. На Дерибасовской много народу. Около кафе Робина стоят добровольцы. Мы вступили во французскую зону. Дошли до Ришельевской лестницы. На Николаевском бульваре грязно, толпится народ. По дороге встретили Катаева.

На бульваре баррикады, добровольцы, легионеры. Ян чувствует к ним нежность, как будто они — часть России. [...]

4/17 декабря.

Сегодня десант в десять тысяч человек. Об этом мы знали еще вчера вечером.

Вчера в полдень мы с Яном гуляли по городу и видели много печенегов-скифов на конях, — совершенно двенадцатый век. Сидят на лошадях в коротких полушубках, даже ноги назад оттянуты. Сидят крепко, с винтовками, только одного видели, который не умел держаться в седле, он качался, чуть за гриву не схватывался...

— Совершенно зверь, — внимательно посмотрев, сказал Ян.

— Нет, это не зверь, а домашнее животное, — возразила я. Он согласился.

Я очень люблю ходить с Яном, он так живо ко всему относится, все замечает, прямо одно удовольствие, точно образовательная экскурсия...

Были в банке у Дерибаса^{16a}. Он думает, что Одесса останется свободным городом. [...]

Прийдя домой, мы застали в столовой за чашкой кофе Цеглину. [...] Почти все время говорили о Серове, об ее портрете. Она рассказывала [...], что несмотря на то, что он нуждался в то время, когда получил заказ на ее портрет, он велел прислать ее фотографическую карточку, а уж тогда согласился приехать к ним в Биариц и там работать. И «работали мы с утра до ночи», — сказала она.

После ее портрета он писал Иду Рубинштейн, которой, как художник, очень увлекался и вез этот портрет в Рим на выставку с собой в вагоне.

Серову очень нравился Николай II, он находил его необыкновенно приятным человеком. Однаж-

ды, когда он писал его, ему захотелось посмотреть на какую-то картину, висевшую очень высоко, Николай II сам встал на стул, снял картину и подал ее Серову. Александра Федоровна ему не нравилась, он определял ее так: «Это женщина, которая всегда злится и бранится». [...]

12.11.1917.

5/18 декабря.

С утра идет сражение: трескотня ружей, пулемет, изредка орудийные выстрелы. Ян разбудил меня. Петлюровцы с польскими войсками и добровольцами. У нас на углу Ольгинской стоят петлюровцы. [...]

6/19 декабря.

Вчера весь день шел бой. Наша улица попала в зону сражения. До шести часов пулеметы, ружья, иногда орудийные выстрелы. На час была сделана передышка, затем опять. Но скоро все прекратилось. Петлюровцы обратились к французам с предложением мирных переговоров. Но французы отказались, так как петлюровцы пролили французскую кровь. — «Мы сюда явились на помощь», — сказали они: «а нас встречают огнем». Переговоры вели Брайкевич и Шрейдер — вот, кто вершит судьбы России.

Погода была дождливая. Ян почти целый день был на ногах, в пальто, ежеминутно выходил во двор, где говорил с жителями нашего дома. Демократия настроена злобно. [...]

[...] Сегодня проснулись рано. [...] На Дерибасовской встретили двое дрог с убитыми петлюровцами. У одного жутко торчали руки вверх, выглядывали ноги, шея. Зачем-то сидели гимназисты, вероятно, это санитары. Мне все-таки жаль этих обманутых печенегов. Рассказывают, что один, умирая, сказал, что не знает, за что он дрался. На

почте развевался русский флаг, — увидеть его было радостно.

Добровольцы очень статные, с хорошей выправкой люди, — я отвыкла видеть подобных людей. Старые генералы, наравне с молодыми, таскали различные вещи. [...]

Потери у добровольцев очень большие. [...]

Ян был очень взволнован. Он сказал, что за два года это первый день, когда чувствуешь хоть луч надежды. Его очень трогает самоотверженность добровольцев. [...]

По народу идет слух, что еще вернутся петлюровцы, соединясь с немцами, и тогда все будет хорошо. Вероятно, это работа большевиков. [...]

7/20 декабря.

[...] Прачка Буковецкого рвет и мечет, плачет, что петлюровцы побеждены, уверяет, что добровольцы введут панцину, то есть крепостное право. [...]

11/24 декабря.

Дождь. Сегодня Сочельник на Западе. Вспомнили Капри, раннее утро, последние звуки запоньяров. Как это хорошо! Потом мальчишки весь день бросают шутихи. Этот день в Италии считается детским, и никто не сердится на проказы мальчишек, пугающих взрослых. А вечером процессия: несут Христа в яслях, идет Иосиф, Божья Матерь, — процессия проходит по всему Капри. Мы идем с Горькими. Марья Федоровна говорит, как в театре, каждому встречному все одно и то же, на слишком подчеркнутом итальянском языке. Алексей Максимович восхищается всем, возбужден, взволнован. Мне жаль, что я его знала. Тяжело выкидывать из сердца людей, особенно тех, с которыми пережито много истинно прекрасных дней, которые бывают редко в жизни.

13/26 декабря.

Вчера была впервые на «Среде» здешней, но читали наши москвичи: Толстой и Цетлин. [...] На прениях мы не присутствовали — поспешили домой. [...]

Зейдеман затевает клуб. И Толстой согласился быть старшиной в нем, кажется, за три тысячи в месяц. Легкомысленный поступок! [...]

Буковецкий хорошо сказал про Толстого: «Он читает так, точно причастие подает».

16/29 декабря.

[...] Ян читает сегодня в «Урании». Он читал «Моисея», и я слушала его с необыкновенным интересом, а ведь это, вероятно, в сотый раз! Ян прочел и ушел, а публика сидела и ждала продолжения. [...]

20 декабря/3 января.

Ян всю эту неделю болеет, простудился в «Урании». Очень жаль, так как он как раз начал было писать. [...]

[...] Как социалисты всегда умеют устроиваться с богатыми. Мякотин — у Рубинштейн, Руднев — у Цетлиных, Елпатьевский всегда останавливался у богатых друзей — или у Соболевского, или у Ушковых, Чириковых водой не разольешь с Каринскими, это понятно — одним лестно, другим удобно. В жизни все оплачивается. Рубинштейны за содержание Мякотина устроили у себя народно-социалистический центр. Кроме того, присутствие Мякотина, вероятно, избавляет их от реквизиции комнат. Социалисты ходят по ночам, — не боятся, что стащут пальто, деньги. Мне кажется, что они так привыкли, что они обеспечены — минимум всегда будет — что об этом они не беспокоятся.

Когда во время Временного Правительства сын Елпатьевского был в Ташкенте, то он занял Белый Дворец Куропаткина.

У нас был Сергей Яблоновский. [...] Он бежал из Москвы, т. к. был приговорен к расстрелу. В конце мая он был в Перми у Михаила Александровича, который произвел на него самое приятное впечатление. Он говорил, что никогда не хотел престола. [...]

23 декабря/5 января.

У Яна был жар один день, и в этот день он был очень трогательный. Говорил все из «Худой травы»¹⁷, уверял, что он похож на Аверкия. [...]

В Одессу приехал Родзянко и еще какой-то член Думы. [...]

Зубоскальство фельетониста, дошедшее до цинизма:

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
Только настоящий, а не смесь...

По народу идет, что 25 декабря в десять часов утра петлюровцы начнут брать бомбардировкой Одессу, они думают, что французы уйдут, так как иначе город сравниют с землею.

30 декабря/12 января.

На днях был Наживин¹⁸. Коренастый, среднего роста человек, с широким лицом и довольно длинным носом. Он производит впечатление человека с еще большим запасом жизненных сил, хотя по виду он немного сумрачный, благодаря большим, нависшим, немного толстовским бровям.

Он два месяца, как из Совдепии, главным образом он жил у себя на родине, во Владимирской губернии, но бывал в Москве, имел доступ в Кремль, а потому много видел. [...]

Он удивлен настроениям в Одессе.

— В Совдепии о республике никто не говорит — это уже считается дурным тоном, — сказал он смеясь, — разговор идет лишь о том, кого выбрать. Мужики, которые почти поголовно настроены черносотенно, при прощании говорили мне: «Ну, как хошь, а передай, что мы, такие-то, хотим, чтобы был кто потверже! На Алексея мы не согласны, мал еще!».

— Ну, а молодые ежики, у которых за голенищами ножики? — спросил Ян.

— Молодые? — продолжал Наживин: — у нас деревня почему-то искони поставляла рекрутов в Балтийский флот, хотя даже реки у нас нет. И теперь эти матросы, которые раньше драли глотку в пользу большевиков, ходят в дорогих шубах и у каждого по драгоценному перстню на руке, говорят: «Нет, без буржуазии никак нельзя, нигде этого не было и не будет — во всех странах она есть».

Где-то Наживина чуть не расстреляли, спас его пропуск, данный местным советом.

Ян спросил относительно комитетов бедноты.

— На заседание этого комитета приехал председатель на жеребце, стоящем несколько тысяч. Все богатые крестьяне записаны в «комитет бедноты».

В Москве все почти поправили. Во Владимире пересматривают все вопросы сызнова. Отдельные лица перерождаются самым невероятным образом. [...]

Он советовал нам ехать на Кубань, там и дешевле, и жизнь кипит. Тут же рассказал о нравах добровольцев и большевиков. Пленных нет. Офицеров вешают без суда, солдат секут шомполами, небольшой процент выживает. Кто выживет, из тех образуют полки, которые оказываются лучшими. [...]

— Вот, — сказал Наживин, — Иван Алексеевич, как я раньше вас ненавидел, имени вашего слышать не мог, и все за народ наш, а теперь низко кланяюсь вам. [...] И как я, крестьянин, не видел этого, а вы, барин, увидали. Только вы один были правы.

Говорили и об еврейском вопросе. — Я теперь стараюсь всюду бороться с антисемитизмом, — продолжал Наживин, — но трудно, во многих местах погромы. [...]

Заговорил о том, что евреи не понимают, что Кремль наш, что в Кремле наша история, а не их, что они никогда не могут так чувствовать, как мы. [...]

Потом перешли на Софью Андреевну Толстую. Он большой ее защитник.

— Вот сидим мы раз в сапогах в гостиной, — рассказывает он, — с Булыгиным, бывшим пажом. Входит Софья Андреевна и подходит к нам с каким-то вопросом. Мы оба поднялись. Вдруг на глазах ее показались слезы. «Что с вами?» — «За двадцать лет в первый раз, что толстовцы встали передо мной, они никогда не считались со мной, как с хозяйкой» — ответила она взволнованно.

[...] Был Сергей Викторович Яблоновский. [...] Рассказывал, что из Харькова к Бальмонту поехали еще две жены. [...] Говорили об Алексее Константиновиче Толстом¹⁹. О том, что Чехов неправ был, назвав его оперным актером.

— Толстой, напротив, сам создал, — сказал Ян, — тот стиль, в котором его упрекает Чехов. [...]

Ян все это время читает А. К. Толстого.

1919

[Из дневника Веры Николаевны:]

2/15 января.

Ян все болен, сегодня было два доктора. [...] Сейчас он прочел «Коляску» и «Рим» и в восторге¹.

— Когда вспомнишь, что целая литература из одной «Коляски» вышла, пол-Чехова из «Коляски»! Какая простота и легкость удивительная!

— А как тебе «Рим» понравился? — спросила я.

— Очень. [...]

4/17 января.

Еще по старому тянутся праздники, а я ничего не чувствую, кажется, что даже совершенно никаких праздников не было, и Нового года не встречали, хотя были в двух местах. У Дерибаса, брата Александра Михайловича, было человек двадцать, мало связанных друг с другом людей. Потом были в клубе Зейдемена. Приехали туда, когда все были пьяны, точно в Москву попали: почти вся редакция «Нового Слова», Шер, Толстые, Гюнтер и другие. [...]

6/19 января.

Был Елпатьевский². [...] Конечно, прежде всего заговорили о событии сегодняшнем, — назначении Колчака Верховным Главнокомандующим. [...]

13/26 января.

Ян очень подавлен. Вчера был в клубе. Ян читал. Кошиц пела, Волошин³ прочел два исторических своих стихотворений. [...]

Сам Волошин, кажется, большой тугоум, какая-то у него толстая черепная кость. [...]

15/28 января.

[...] Потом разговор перешел на политику и Ян сделал предсказания: 1) через 25 лет евреи утратят силу, 2) будущее будет принадлежать японцам, русским и немцам (?)

— А англичане тоже будут в хвосте? — спросила я.

— Ну, и англичане будут в хвосте, — ответил он, — вообще, только тот народ силен, который религиозен, а евреи по существу своей религии не религиозны. Это удивляет тебя? Религия, как и поэзия, должна идти от земли, а у евреев все абстракция. Иегова их — абстрактен. В религии необходимо, познав плоть, отрешиться от нее. [...]

3) сильную религиозность в России, 4) крах социализма и увлечение индивидуализмом.

Он находит, социализм совершенно не свойственен человеческой душе, противоречит ей. [...]

16/29 января.

Встретила Варшавского⁴, присяжного поверенного, журналиста из «Русского Слова». [...]

22 января/4 февраля.

Был у нас Врангель. Чем больше узнаю его, тем больше нравится. [...]

27 января/9 февраля.

Второй день снег в Одессе. [...] Публику здесь снег очень возбуждает — большое оживление, на Дерибасовской молодежь кидается снегом, подростки скользят по тротуару. [...]

В порту спекулянты, не раскрывая ящиков, перекупают их друг у друга, платя вдвое, зная, что все равно останутся в огромных барышах.

29 января/11 февраля.

Был у нас Александр Александрович Яблоновский. Вид у него человека много пережившего.

В Одессе он три недели. Из Киева ехали в вагонах с разбитыми окнами и дверями, с пробитой крышей. Стоило много денег, — самое дешевое билеты. Носильщик взял триста рублей. Несколько раз их вытаскивали из вагонов. Некоторые миллионеры платили за купэ шестьдесят тысяч рублей.

В Киеве двенадцать дней не прекращалась стрельба. [...]

Петлюровцы, солдаты, подали протест, что их обманули и не дали им Киева на три дня для разграбления, как было обещано и как бывало в старину. [...]

Из Москвы приехал служащий в нашем книгоиздательстве, Серкин. Книгоиздательство существует, типография работает, книги идут очень хорошо. Советская лавка купила у нас на пол миллиона книг. Юлий Алексеевич постарел, похудел, но мукá у него еще есть. Телешов очень изменился, одно время узнать было нельзя, так постарел. Летом у него был налет, сняли даже часы и одежду. Теперь они живут в задней части дома, а передние комнаты заняты Главкосахаром.

Ехал Серкин в ужасных условиях. До Киева 60 верст шел пешком, таща на себе багаж в три пуда. Ночевали в хатах вместе с большевиками. Обыскивали много раз его, но денег не нашли.

31 января/13 февраля.

Холодно и на дворе, и в комнатах. [...] У большинства дров уже нет. Хлеба тоже нет. [...]

7/20 февраля.

Опять у нас хотят реквизировать комнаты.

13/26 февраля.

[...] Ян недавно перечитал «Семейное счастье» и опять в восторге. Он говорит, что мы даже и представить себе не можем, какой переворот в

литературе сделал Лев Николаевич. Ян перечитывает старые журналы, а потому ему очень ярко бросается в глаза разница между Толстым и его современниками.

— По дороге неслись телеги, и дрожали ноги, — прочел он: ведь это модерн для того времени, а между тем, как это хорошо! Ясно вижу картину.

Ян много читает по-русски, по-французски. Политика чуть-чуть менее заполняет его. Буковецкий начал писать его. Я рада. Если не работает, то пусть хоть время не пропадает даром.

Вчера во время сеанса приехали Кугель и Раецкий приглашать Яна принять участие в «Живой газете» в качестве одного из редакторов. Эта «Живая газета» будет в пользу безработных журналистов, которых здесь очень много, и многие из них уже сильно голодают. Редакция: Трубецкой, Кугель, Овсяннико-Куликовский, Яблоновский, Бунин.

Кроме того, Раецкий затевает здесь школу журналистов и в совет приглашает трех: Овсяннико-Куликовского, Кугеля и Яна, с окладом по тысяче рублей в месяц. Не знаю, что из этого выйдет. Ян согласился на оба предложения. [...]

На «Среде» Валя Катаев читал свой рассказ о Кранце, Яну второй раз пришлось его прослушать. Ян говорит, что рассказ немного переделан, но в некоторых местах он берет не нужно торжественный тон. Ян боится, что у него способности механические. Народу было немного. [...]

17 февраля/2 марта.

[...] Перед обедом пришел Кипен в матросской форме [...] рассказывал о моряхах, о том, как они забавляются во время пиров. Поют хором «Медный ковш упал на дно и досадно, и обидно, а достать его трудно! Ну, да ладно, все-равно...» Когда про-

поют один раз, поют второй, но перед словом «все-равно» останавливаются, а кто не остановится и пропоет «все-равно» — с того бутылка шампанского, и так до бесконечности.

Кипен не знал раньше этого мира и пока он в большом восторге. Он говорит, что все они очень хорошо образованы, знают языки, хорошие математики. [...]

Затем мы все [...] отправились к Цетлиным. [...]

Говорили о большевиках. Ян считает их всех негодьями, не верит в фанатизм Ленина. — Если бы я верил, что они хоть фанатики, то мне не так было бы тяжело, не так разрывалось бы сердце...

Волошин, который сидел рядом со мной, сказал:

— Вот я смотрю на вас и думаю, как мало вы изменились со времен гимназии. Помните бал у Сабашниковых? Вы сидите там и такой же профиль и та же прядь волос, только вы кажетесь там смуглой и брюнеткой, но это эффект магния. На вас смотрит Иловайский⁵...

Как-то [...] перешли на Андрея Белого, — они с Яном хвалили его, как собеседника, — дошли и до Блока. Тут мнения разделились: Волошину очень нравится «Двенадцать»; он видит, что красногвардейцы расстреливают Христа, и он сказал:

— Я берусь доказать это с книгой в руках.

Ян не соглашался с таким толкованием, кроме того он напал на пошлый язык.

— Поэту я этого простить не могу и ненавижу его за это... [...]

Волошин производит приятное впечатление. Он любит прекрасные вещи, живет художественной жизнью. Он оригинален по натуре, знающ, образован, но я думаю, — не очень умен. Рассказывал, что он два раза был в Риме и один раз все

время проводил в католическом обществе, а другой в археологическом. [...]

Потом говорили о том, у кого хорошо изображен Рим: у Ренье, у Гонкуров.

— Я нахожу, что у Тэна, — сказал Ян.

— А Муратов, — сказал Цетлин, — слишком красив. [...]

23 февраля/8 марта.

Пошли к Куликовским. Улицы темные, двор тоже, стали подниматься по лестнице, чуть не разбила нос, из одной квартиры услышали испуганный голос: «Кто идет?» Наконец, мы добрались до Куликовских. Ирина Львовна открыла сама дверь. В столовой они сидят при двух ночниках, она читает вслух.

Д[митрий] Н[иколаевич], как всегда, производит на меня чудесное впечатление, какое-то успокаивающее. Все время шла оживленная беседа. Ян сказал, что он всегда соглашается с его статьями, а когда они разговаривают — то вечно спорят:

— Это от того, что в статьях я резче, — смеясь сказал Д. Н.

И тут сейчас же заспорили. Дело в том, что Д. Н. получил из Севастополя приглашение участвовать во французской газете, цель которой осведомлять союзников, а платформа — союз «Возрождения». Кроме приглашения просьба — привлечь к участию Короленко, Арцыбашева, Вересаева, еще кого-то и Яна. [...] Д. Н. сказал, что он дал согласие, а Ян сказал:

— А я воздержусь. Посмотрю газету, да и с платформой «Возрождения» я согласиться не могу.

Д. Н. удивился. Ян развил свою мысль:

— Вот «Возрождение» требует подчинения Добровольческой Армии себе, разве это возможно?

— Армия должна только воевать, а управлять должны граждане, — возразил мягко Д. Н., — зачем вмешиваться ей, например, в водопроводные дела?

— Да вот как раз ей теперь и приходится вмешиваться в дела Беляевых — ответил Ян. — Если бы власть принадлежала Рудневу, то он поехал бы на автомобиле и стал бы уговаривать, чтобы рабочие не отравляли воду, которая употребляется миллионным городом. И стали бы мешать «контрреволюционной» деятельности армии, а между тем ведь нужно в таких случаях давить, подавлять!

— Да, — соглашается Д. Н., — тут нужно действовать беспощадно.

— Ну, вот, видите, — продолжал Ян, — а в прошлом году перед большевицкой борьбой, Московская Дума во главе с Рудневым, во-первых позволяла красной армии вооружаться и укрепляться, а во-вторых не только палец о палец не ударила, чтобы готовить к бою войска, верные Временному Правительству, но даже мешала им в этом, говоря, что это «не демократично»...

Тут перешли к большевикам, а от них к Горькому. Куликовские говорили, что когда Бурцев⁶ написал, что «откроет имя, кто был на службе у немцев, то все содрогнутся», многие подумали о Горьком. Д. Н. говорит, что после победы над большевиками нужно будет Горького изгнать из всех обществ, и что он первый не допустит его никуда. [...]

Ян [...] рассказал о [его] честолюбии, как он зеленел при появлении трех, четырех новых лиц, вечно начинал проповедывать и т. д. Потом Ян задал такой вопрос: почему ими было выбрано Капри, в то время почти неизвестное Капри, где главным образом бывали немцы? Кто посоветовал им этот остров? Говорили о непонятной и странной ро-

ли Ладыжникова⁷, который долго жил в Берлине. Непонятна его роль около Горького. Деньги все на его имя лежат и даже Ек. П. списывается со счета Ладыжникова, а не Пешкова. Затем Ян нарисовал картину 13 года. Перед возвращением в Россию, летом, сильная болезнь, заливался кровью, чудесное выздоровление после Манухинских свечений. Это было в начале осени, а зимой, в декабре, он поехал в Россию через Берлин. Странно и необычно это... Как чахоточный, после 7-летнего пребывания на Капри, выдержал сразу сначала берлинскую, а потом финскую зиму и зиму в Тверской губ. Да, многое непонятно и будет ли когда-либо понято? [...]

24 ф./9 марта.

Был у нас Гальберштадт⁸. Это единственный человек, который толково рассказывает о Совдепии. Много он рассказывал и о Горьком. Вступление Горького в ряды правительства имело большое значение, это дало возможность завербовать в свои ряды умирающих от голода интеллигентов, которые после этого пошли работать к большевикам, которым нужно было иметь в своих рядах интеллигентных работников.

На Невском теперь устроено бюро, где сидит Тихонов⁹, для получения переводов со всех существующих и несуществующих языков. При Гальберштадте очередь была чуть ли не в версту. Платят, смотря по тому кому — от пятисот рублей до полторы тысячи за лист. Авансы дают свободно. Если какой-нибудь журналист голодает, к нему обращаются с советом: «да возьмите перевод, это вас ни к чему не обязывает, дело хорошее», — это первая ступень. Затем, когда человек уже зарабатывает немного, если он журналист, к нему являются и говорят: «почему бы вам не участвовать в

такой-то газете, будете получать несколько тысяч в месяц, а участвовать можете и не участвовать, дайте лишь имя». Существует даже непартийная газета.

Горькому дано в распоряжение 250 миллионов рублей. Подкуп интеллигенции развит до нельзя и чем он контр-революционнее, тем дороже ценится.

Горький вступил в правительство как раз после расстрела офицеров, когда в одну ночь было казнено 512 человек.

Гальберштадт передал два рассказа очевидцев казни. Один знакомый ловил с приятелями рыбу по воскресеньям, и для этой цели они уезжали с вечера на какой-то остров недалеко от устья Невы. Они разложили костер и ждут рассвета. Вдруг слышат крики, не понимают откуда, затем треск пулеметов, потом опять крики. Вдруг к ним подходят два красногвардейца или «красно-индейца», как их зовут в Петербурге, просят позволения прикурить и посидеть. Они испугались и, конечно, решили. Красногвардейцы посоветовали затушить огонь, «а то плохо будет». Они затушили. Воцарилось молчание жуткое, которое продолжалось довольно долго. Слышат, что один из красногвардейцев плачет. Спросили о причине. Оказывается, это расстреливали офицеров, они не выдержали вида казни, и теперь не знают, что им будет за то, что они убежали...

Второй случай ему рассказывал рабочий, который раз с товарищем пошел по грибы и тоже услышал стоны. [...] за роцей ров, на краю которого стоят приговоренные к расстрелу: офицеры и в штатском. Латыши произвели залп, приговоренные упали в ров. После этого поставили следующую партию. [...]

— Ужас ведь в том, — сказал Гальберштадт, — что хоть бы какое-нибудь сопротивление, а то в покорном оцепенении люди подставляют себя под выстрелы. Ведь это не единичная смертная казнь, когда личность индивидуализируется. [...]

27 ф./12 марта.

Два года, два кошмарных года, сколько чаяний, надежд похоронено в этот срок. Сколько пролито крови, сколько разорено, почти вся Россия перевернута вверх дном. Последние дни события очень не радостные. Взяты Херсон, Николаев, последний без боя, а в первом происходили бои, кончившиеся убийством шести тысяч человек в самом городе. [...] Есть слухи, что отправлены войска в Херсон и Николаев, чтобы отбить их от большевиков. [...]

Вчера были у Тэффи¹⁰. Она производит впечатление очень талантливой женщины. Под конец она хорошо пропела свои песенки «Горниста», и «Красную шапочку». [...] Одета так, что сначала бросается в глаза мех, яркость шелковой кофты, взбитые волосы и уже наконец — лицо. [...]

28 ф./13 марта.

Пришло известие о смерти Ал. С. Черемнова¹¹. Ян очень взволновался. Слухи: французы уходят из Одессы. [...]

5/18 марта.

Сейчас я долго сидела с Яном. Он возбужден, немного выпил и стал откровеннее. Он все говорил, что была русская история, было русское государство, а теперь нет его. Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь нет и истории никакой. [...] «Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловы? Во

мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен был быть писателем, а должен принимать участие в правительстве».

Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал и я вдруг увидела, что он похож на боярина.

— Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую и вступить в правительство. Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка, ты и представить не можешь, как я страдаю... [...]

Утром я видела, как после молебна уходили добровольцы. [...] Народ равнодушно и без симпатии смотрел на них. [...]

Утром был у нас Ал. Ал. Яблоновский. Он приглашал Яна быть постоянным сотрудником в «Русском Слове» на каких угодно условиях. Просил очень дать и для первого номера. Кроме Яна, пригласят и Толстого, и больше никого из беллетристов — слишком мало бумаги. [...]

Потом Ал. Ал. рассказывал, как в Москве на задних лапках стоят перед большевиками Немирович¹² и Южин¹³. «Странно, что Южин, он в прошлом году жал мне руки за то, что я первый печатно восстал против большевиков». [...]

7/20 марта.

Был вчера Варшавский, просил Яна дать им для первого номера новой газеты сотрудников «Русского Слова» что-нибудь. [...] Ян принципиально согласился, но не знаю, начнет ли он работать, а пора. [...]

8/21 марта.

Ян был на заседании в редакции «Наше слово», на котором присутствовали Яблоновский, Варшавский, Койранский, Благов и еще несколько человек. [...] Ждали Бернацкого, который обещал

приехать, но не приехал, вероятно, его вызвали куда-нибудь экстренно. [...]

Слухи очень неприятные: у Березовки большевики победили, отняли по одной версии 3 танка, а по другой — 5. [...] Очень большие потери у греков. [...] В Херсоне большевики вырезали до 200 семей греческих. Французы сражаться не хотят. [...]

Вокруг Одессы роют окопы, на вокзале навалены мешки с песком. [...]

10/23 марта.

[...] Ян был в редакции «Наше Слово». Присутствовал на заседании Бернацкий. По словам Яна, он по виду приятен, худощав, тонкий нос, пенснэ, моложав, по виду лет сорок (но кажется, ему больше), усталый, губы запеклись, вероятно, много говорить приходится. Чувствуется, что ему нравится, что он министр. Он прост, но со знанием своего превосходства. [...]

Бернацкий очень раздражен на французов. Он говорил, что если добровольцы уйдут, то эту сволочь большевики сбросят в воду. [...]

11/24 марта.

[...] За 3-4 дня положение Одессы должно выясниться: или она укрепитя, или французы уйдут, и Одесса будет сдана без боя. [...] Французы хотят действовать, как оккупанты, будут рады внутренней нашей неурядице, как это бывает среди диких племен. [...]

12/25 марта.

В воскресенье после нашего обеда зашел к нам Л. Ис.¹⁴ и сообщил несколько новостей из писательского мира (приехал из Совдепии один человек):

Горький теперь член Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянской и красноармейской северной коммуны — в Петербурге.

Брюсов¹⁵ занимает три должности: первая — регистратура выходящих книг, вторая — реквизирует частные библиотеки, а третья — профессор истории культуры в Академии социальных наук.

Гусев-Оренбургский¹⁶ в «Известиях» печатает длинную повесть, как один плохой человек стал хорошим, превратясь в коммуниста. [...]

Вчера [...] у нас был Алданов¹⁷. Молодой человек, приятный, кажется, умный. Он много рассказывал о делегации, в которой он был секретарем.

Клемансо, который теперь царь и Бог во Франции, действительно не пожелал принять Милюкова¹⁸ и требовал, чтобы он покинул Францию. Он хотел тотчас же уехать, но делегация [...] решила вместе с ним перебраться в Англию, где к Милюкову относятся очень хорошо. [...] Милюков остался в Англии, а вся делегация вернулась в Париж. [...] По словам Алданова, большевизм растет во Франции, есть он и в Англии. [...]

Потом говорили о Толстом [Л. Н. Толстом. — М. Г.]. Алданов считает Толстого мизантропом, так же как и Ян. Ян говорил, что до сих пор Толстой не разгадан, не пришло еще время. Алданов расспрашивал о встречах Яна с Толстым. Ян передал их, они были кратки. Сильная любовь Яна к Толстому мешала ему проникнуть в его дом и стать ближе к Толстому. [...]

В воскресенье была на концерте Скрябина. У Шульц, в богатом немецком доме, днем был концерт [...]

Ян стал работать. Настроение ровнее. Он нежен и заботлив. [...]

17/30 марта.

[...] А. А. Яблоновский очень накален. Ян говорит, что он один по-настоящему страдает, а остальные — механические люди!

В Одессе наши москвичи большей частью устроились плохо. У большинства расстраиваются желудки от обедов по столовым. Приходится часами ждать, стоя, чтобы съесть отвратительный обед. [...]

В Москве полный душевный маразм. Все ненавидят большевиков, но все служат им покорно. Ленин говорит, что мировая революция зависит от того, возьмут ли большевики порты Черного моря.

Большевики сильно работают. Они разрабатывают прокламации к добровольцам, где пишут: «как вам не стыдно идти вместе с французами. Разве вы забыли 12-ый год?» и обещают все блага добровольцам. А с другой стороны — прокламации французам, где тоже напоминают 12-й год и пугают им. [...]

Еврейская политика: все газеты [...] за освобождение спекулянтов. Почему? А потому, чтобы в глазах населения дискредитировать власть перед приходом большевиков. [...]

Сейчас возвратились с прогулки. Погода неаполитанская. На улицах масса народу, половина — военные всех наций. Скоро Одесса будет иметь вид военного лагеря. На Николаевском бульваре, около Думы, небольшой митинг. Солдат уверял, что война проиграна из-за Сухомлинова¹⁹. Ему возражали. И, как всегда на митингах, всякий долбит свое. [...]

19 марта/1 апреля.

[...] Ян стал ровнее. Эти дни он делает вырезки из газет, вероятно, готовит материалы для будущих статей. Дойдет ли он в этом до высоты

своих художественных произведений? Но все же я рада, что он вышел из мрачно-уединенного образа жизни. Все таки — редакция, постоянное общение с людьми дает известный колорит дню.

Как-то он говорил о трагичности своей судьбы. Принадлежа по рождению к одному классу, он в силу бедности и судьбы, воспитался в другой среде, с которой не мог как следует слиться, так как многое, даже в ранней молодости, его отталкивало. Поэтому ему очень трудно писать так, как хотелось бы.

Возник спор. П. Ал. [Нилус] доказывал, что занятие искусством это сплошное удовольствие, а Ян и Евг. И. [Буковецкий] — что это Голгофа. Евг. И. говорил, что такое отношение П. Ал. вытекает из его характера. Как очень одаренному человеку, ему все давалось удивительно легко. В 17 лет он написал поразительно хороший этюд, а напрягаться он не любит. И это отсутствие напряжения чувствуется в его рассказах. [...]

Вчера пришло письмо, в котором какая-то женщина сообщает Яну подробности смерти Черемнова. Он, оказывается, был кокаинистом. Умер он насильственно: порезал себе вену и принял какой-то яд. Один из друзей нашел его на берегу моря чуть живым. [...] Какая-то ненужность в этой смерти. И почему он ничего не написал Яну? Боялся, стыдился? Ян, правда, странный человек — оказывается, очень любил его, но ничего не сделал, чтобы повидаться или хотя бы изредка общаться. [...]

21 марта/3 апреля.

Позвонил Катаев. Он вернулся совсем с фронта. [...]

Радио: Клемансо пал. В 24 часа отзываются войска. Через 3 дня большевики в Одессе!

[...] Сегодня призвали всех французов в консульство и предлагали уехать. [...]

Кончается мое мирное житие. Начинается скитальческая жизнь, без всяких связей в тех городах, где мы остановимся. [...]

23 марта/5 апреля.

Вчера целый день на ногах. Пришел мистер Питерс²⁰ проститься. В сутки пришлось ему собраться и ехать, бросив насиженное гнездо, в котором он прожил целых 18 лет! Он полюбил Одесу и русских. И вдруг, совершенно неожиданно, по приказанию консула, он должен бежать в Константинополь. [...]

Простившись с ним, я пошла в продовольственную управу. [...] Они спокойны, думают, что большевики поладят с интеллигенцией. Говорили, что дни Деникина и Колчака сочтены. [...]

Я спрашиваю совета: уезжать ли нам? Они уговаривают остаться, ибо жизнь потечет нормально. Я не спорю. Но я знаю, что под большевиками нам придется морально очень страдать, жутко и за Яна, так как только что появилась его статья в «Новом Слове», где он открыто заявил себя сторонником Добровольческой Армии. Но куда бежать? На Дон? Страшно — там тиф! За границу — и денег нет, да и тяжело оторваться от России.

Захожу в то отделение управы, где служит дальняя родственница Яна, княгиня Голицына. [...] Она очень возбуждена, говорит, что им нужно бежать. [...]

На улицах оживление необычайное, почти паническое. Люди бегут с испуганными лицами. Кучками толпятся на тротуарах, громко разговаривают, размахивая руками. Волнуются и те, кто уезжает, и те, кто остается. Банки осаждаются.

Франк, который стоил рубль, доходит до 10-12 рублей, фунт — до 200 р. [...]

Вернулся Ян, очень утомленный. Новых известий не было. Я позвонила Цетлиным. Они уезжают, звали и нас. Мы пошли проститься. У них полный разгром. Им назначили грузиться на пароход через 2 часа. Фондаминский хорош с французским командованием, он устраивает им паспорта. Кроме Цетлиной, мы застаем там Волошина, который остается после них на квартире, и жену Руднева. Она только недавно вырвалась из Москвы, где сидела в тюрьме за мужа, но, несмотря на это, она защищает большевиков, восхищается их энергией. [...]

Цетлина опять уговаривает нас ехать. Сообщает, что Толстые эвакуируются. Предлагает денег, паспорта устроит Фондаминский. От денег Ян не отказывается, а ехать не решаемся. Она дает нам десять тысяч рублей. [...]

Волошин весь так и сияет. Не чувствуется, чтобы он волновался, негодовал или боялся, в нем какая-то легкость.

Оттуда мы пошли на Пушкинскую, где как раз происходила стрельба. По слухам, убит налетчик. В военно-промышленном комитете сборный пункт для отъезжающих политических и общественных деятелей. Народу много в вестибюле и в небольших комнатах комитета. Толпятся эс-эры, кадеты, литераторы. Вот Руднев, Цетлин, Шрейдер, Штерн, Толстые и другие. У всех озабоченный вид. [...] Прощаемся с Толстыми, которые в два часа решили бежать отсюда, где им так и не удалось хорошо устроиться. Они будут пробираться в Париж. [...]

Оттуда пошли в «Новое Слово». На улице суета, масса автомобилей, грузовиков, людей, двуколок, солдат, извозчиков с седоками, чемоданами, да, навьюченные ослы, французы, греки, добро-

вольцы — словом, вся интернациональная Одесса встала на ноги и засуежилась. [...]

Мимо нас провезли на извозчике убитого, картуз на зад, сапоги сняты и болтаются портянки. — Какие нужно иметь нервы и здоровое сердце, чтобы снять с убитого сапоги, — сказал Ян.

Еврейская дружина сражалась с поляками. На Белинской улице из домов стреляли в уходящих добровольцев, они остановились и дали залп по домам.

Началась охота на отдельных офицеров добровольцев. Несмотря на засаду за каждым углом, добровольцы уходили в полном порядке, паники среди них совершенно не наблюдалось, тогда как французы потеряли голову. Они неслись по улицам с быстротой молнии, налетая на пролетки, опрокидывая все, что попадает на пути... [...]

Целый день народ. Я лежу за ширмой и слушаю, что рассказывают, стараюсь запомнить, кое-что записываю. Все встревожены, стараются понять происшедшее, так внезапно свалившееся на нашу голову.

Были Недзельский, Розенталь, Гальберштадт. Как всегда, Гальберштадт рассказывал много. Лицо его красно, он очень возбужден. Он признался, что вчера ночью он первый раз в жизни плакал: — Ведь на завтра, воскресенье, было назначено выступление союзников на Киев! [...] Да, — продолжал Гальберштадт, — я — буржуй, буржуй, которого эксплуатировали, впрочем, всю жизнь издатели, не меньше всякого рабочего, но все же социалистические идеи для меня чужды, я никогда не был социалистом и быть им не могу.

— Да почему-же вы не эвакуировались? — спросил Ян. — При ваших связях с французским штабом, вам, вероятно, ничего бы это не стоило?..

— Да, мне даже предлагали место во французской колонии и, будь я на 20 лет моложе, я отправился бы, а теперь начинать новую жизнь трудно...

— Да, — соглашается Ян, — очень жутко. Вот нам m-me Цетлина предлагала, да мы не решились... предлагали и на Дон, но там тиф, да вот и Вера свалилась, да и приятелей неловко оставлять... все это так внезапно...

— Да кроме того, совсем бы и с Москвой разделились, а теперь мы можем переписываться, хотя и страшно получить оттуда первую весть [...] папа был очень болен, — добавляю я.

У нас на улице около аптеки идет пляс. Временами рвутся снаряды, бомбы, раздаются выстрелы...

— Попляшите, попляшите, скоро заплачете, — говорит печально ухмыляясь Ян.

24 марта/6 апреля.

Вошли первые большевицкие войска под предводительством атамана Григорьева, всего полторы тысячи солдат! Вот та сила, от которой бежали французы, греки и прочие войска. Одесса — большевицкий город. Суда еще на рейде.

25 марта/7 апреля.

Два дня лежу. Благовещенье. Погода чудесная, солнце, синее небо. Смотрю на распускающееся дерево перед моим окном. И как хорошо, и как грустно!

Пронесли мимо нас покойника в открытом гробу, с венчиком, хоронили со священником, а впереди красные знамена с надписью: «Пролетарии всех стран соединяйтесь».

[...] Вчера весь день гости. Вечером был Волошин, читал нам свои стихи, которые нам понравились. Он производит очень приятное впечатле-

ние, хотя отношение к жизни у него не живое. [...]

Сегодня в одиннадцать часов утра прилетел к нам журналист Пильский²¹. Высокий, очень веселый человек, все время острящий. Он говорит, что необходимо обезопасить себя профессиональным билетом, без которого «в теперешнее время пропадешь, запишут в буржуи и тогда капут!»

— Надо образовать беллетристическую группу и послать в Совет своего представителя на всякий пожарный случай, — возбужденно говорил он.

— Ну, да это курам на смех, — возражает Ян, — здесь и беллетристов не так много. Да и что за защита будет... А иметь дело с ними нестерпимо для меня... [...]

Я хотя и не выхожу, но уже ощущаю то «безвоздушье», которое всегда бывает при большевиках. Это чувство я испытывала в Москве в течение пяти месяцев, когда они еще не были так свирепы и кровожадны, как стали после нашего отъезда, но все же дышать было нечем. И я помню, что когда мы вырвались из их милого рая, то главная радость, радость легкого дыхания, прежде всего охватила нас. Я уж не говорю о том, что мы испытывали в Минске, Гомеле и, наконец, в Киеве, где была уже настоящая человеческая жизнь, жизнь, какую мы знаем; большевики же приносят с собой что-то новое, совершенно нестерпимое для человеческой природы. И мне странно видеть людей, которые искренне думают, что они, т. е. большевики, могут дать что-нибудь положительное, и ждут от них «устройства жизни»...

Нам жутковато: в слишком хорошем доме живем мы, слишком много ценных вещей в нашей квартире. Но больше всего боюсь я наших дворовых большевиков...

Немного страшно за Яна, ведь нужно же было начать издавать газету за 3 дня до ухода союзников! Точно нарочно все высказались. Уехали, кажется, только Яблоновские, большинство из редакции и сотрульников остались.

26 марта/8 апреля.

[...] На базаре нет ничего. Куда же все девалось? [...] Была в Продовольственной управе. [...] В коридорах, как и в передней вооруженные солдаты, развалясь, играют затворами ружей. Суета большая. Несут какие-то доски. Никто ничего не делает, но все суется. [...] У ворот нашего дома сталкиваюсь с Яном. Он с бульвара. Возмущенно рассказывает:

— На бульваре стоят кучками. Я подходил то к одной, то к другой. И везде одно и то же: «вешать, резать». Два года я слушаю и все только злорадство, низость, бессмыслица, ни разу не слышал я доброго слова, к какой бы кучке я ни подходил, с кем бы из простого народа ни заговаривал... На рейде пароходов осталось очень мало. Иностранец только один. Жуткое чувство — последняя связь с культурным миром порывается.

Около 5-ти часов мы опять идем на улицу. Дома сидеть трудно, все кажется, что где-то что-то узнаешь об очень важном. Идем по Дерибасовской вниз по правой стороне. Перед нами странная фигура: господин в огромном черном плаще с жирным пятном на спине. На шее у него фурункул, который немилосердно трется о грязный картонный воротник.

Ян толкает меня и шепотом говорит:

— Комиссар Народного Просвещения Щепкин.

Я так и ахнула. Неужели он такой? Неужели это брат Николая Николаевича, которого я хорошо знала в лицо по Москве? Я перегоняю его и заглядываю ему в лицо, оттененное широкими полями фетровой шляпы. В глаза бросается ярко-красный галстук, выкрашенный масляной краской. Впечатление и от него, и от галстука жуткое...

— И вот кто теперь во главе правительства! Да этот хоть сумасшедший, но культурный человек, а ведь остальные полные невежды и мерзавцы, — говорит Ян.

На Дерибасовской масса тележек с апельсинами, и все едят их, хотя они стоят дорого.

— Да, — говорю я, — вот комиссаром театров, говорят, назначен Шпан, — это, вероятно, тот самый, который приходил к тебе летом и предлагал устроить твой литературный вечер?

— Да, конечно, он. Но, знаешь, он ведь по-русски говорит так плохо, как даже в Одессе редко встретишь. И кроме того, он ведь совершенно безграмотный человек. Неужели у них уж совершенно людей нет?

— Я думаю, что кто поумнее, тот пока хочет подождать ответственное место брать.

— Да, конечно, это так: все выжидают. Есть все таки известная неуверенность, — соглашается Ян.

Вечером у нас опять Волошин. Он плохо устроился в смысле воды. Чаю ему иногда дает прислуга, как особую милость, и то только один стакан! Но несмотря на свое неустройство, он, как всегда, радостен и весел:

— Не нужно предаваться унынию, — подбадривает он. — Нужно отвлекаться, отдохнуть от политики. Давайте читать стихи. Я никогда не слышал чтение стихов Ивана Алексеевича.

— Прекрасно, — подхватывает Ян: — вот вы нам почитайте, а я сегодня не могу.

— Хорошо, — соглашается Волошин, — я буду читать портреты.

Он читает хорошо. Читает долго и много. Этот жанр ему удастся. Но портрет он пишет так, как пишут художники, когда выдумывают сами, и отыскивают те черты, которых никто, кроме них, не видит. Мне понравились портреты писательницы Хин и Савинкова, хотя я не знаю, верны ли они. С Савинковым Волошин в хороших отношениях, высоко его ценит, говорит, что он похож на лося.

Под вечер, возвращаясь домой, встречаю Гальберштадта. Он сообщает, что поступил на техническую работу в «Голос Красноармейца». [...]

28 марта/10 апреля.

С утра мы оба чувствуем себя хорошо. Пошли покупать мне чулки, если возможно, башмаки Яну. На Дерибасовской видели войска, по виду утомленные, похожие на мужиков. Среди них баба верхом.

— Не семнадцатый ли век! — восклицает Ян мрачно, — и как им к лицу интернационал!

Входим в галантерейный магазин Васильева. Как все эти дни, торговля идет бойко. Товарищи портовые, очень обдерганные, покупают себе крахмальных рубашек, ценою в 375 рублей штука, галстуков, носков... В магазинах готового платья тоже толкотня — выбирают себе «кустюмчики»... А в башмачном магазине у Безековича, куда мы тоже заходили, портового люда тоже много, и у одного такие портянки, что ему дали газету, чтобы он отжал их перед примеркой обуви. Цены с 250 прыгнули на 650 — пришлось отказаться от покупки.

— Да, это «заработали» на тех, кто «бежал», — говорю я тихо, — ведь за каждый чемодан, что-

бы внести на пароход, брали по 1000 рублей, да сколько еще наворовали...

30/12 апреля.

Погода хорошая. С утра небо серое, а к вечеру очистилось. Но тоска, тоска. Завтра можно послать телеграмму в Москву. Но какой ответ получишь оттуда?

Отличительная черта в большевицком перево-
роте — грубость. Люди стали очень грубыми.

Вчера на заседании профессионального сою-
за беллетристической группы. Народу было много. Просили председательствовать Яна. Он отказался. Обратились к Овсяннику-Куликовскому, отказался и он. Согласился Кугель. Группа молодых поэтов и писателей, Катаев, Иркутов, с острым лицом и преступным видом, Олеша, Багрицкий и прочие держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям. Держали себя они нагло, цинично, и, сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними. Говорят, подоплека этого такова: во-первых, боязнь за собственную шкуру, так как почти все они были добровольцами, а во-вторых, им кто-то дал денег на альманах, и они боятся, что им мало перепадет...

Квартира наша освобождена от реквизиции. Кроме Буковецкого и Нилуса, хлопотал Волошин, очень легко, охотно и бескорыстно. Он, повидимо-
му, очень легкий и приятно-простой человек. Он прибежал днем сообщить нам об этом и очень радостно стал писать вывеску: «Художественная нео-
реалистическая школа» Буковецкого, Нилуса и Волошина. Мы распределили занятия. Преподава-
тели — Нилус и Буковецкий, лектор по истории

живописи профессор Лазурский, заведующая школой — я. Ученики — дети приятелей и знакомых.

Волошин уверяет, что рисовать может всякий.

— Нужно только научиться смотреть на предмет, а если научишься смотреть, то и рисовать научишься легко.

— Ну, значит, я смотреть не умею, — говорю я, смеясь, — ибо простой вещи не нарисую. [...]

Ян был утром в артистическом обществе, потом пошел в пассаж, где видел несколько солдат в греческих шинелях, и подумал: «сколько теперь людей, одетых в одежды убитых»...

Были сегодня в особняке Толстого. Чудесный особняк, особенно хороша лестница, но уж очень загажено там. [...] Теперь его захватили большевики для комиссариата Народного Просвещения и Театров. [...] Чудесный паркет весь затоптан, уже на всем отпечаток загаженности большевицких официальных мест. [...]

За обедом Нилус рассказывает, что на заседание художников явились маляры, которые были встречены с большим почетом. Говорились речи на тему, что маляр и художник почти одно и то же. Указывалось на средневековые цехи. Предлагали возвратиться к ним...

— Господи, что за чушь, бесстыдство! — воскликнул Ян. И загорелся спор. Ян и Буковецкий набрасываются на Нилуса за то, что он видит в большевиках защитников искусства.

— Да пойми, что все поблажки, которые они делают, только для того, чтобы перетянуть интеллигенцию на свою сторону, заткнуть ей глотку и начать свободнее расправляться с контр-революционерами...

— Но все же можно этим воспользоваться, — возражает Нилус, — и сделать что-нибудь для искусства. Ведь позор, в каком загоне оно у нас бы-

до! Нужно поощрять их в этом, а не мешать им. [...]

31 марта/13 апреля.

Сейчас видели гражданские похороны. В России всегда лучше всего умели хоронить — при всех режимах. Не символ ли это нашей страны? Большевики тоже постарались. Похороны помпезные. Масса красных знамен с соответствующими надписями, были и черные с еще более свирепыми — «смерть буржуям», «за одного нашего убитого смерть десяти буржуям»... Оркестр играет марш Шопэна. Покойников несут в открытых гробах. Я видела несколько лиц, почему-то очень темных, но только у одного кровоподтек на правой стороне лица. Некоторые имеют очень спокойное выражение, значит умерли легко, а вовсе это не «жертвы добровольческих пыток», как писалось в их безграмотных газетах. Вместо венчика полоска красной материи вокруг лба. Процессия очень длинная. Я стою около часа на Херсонской и вижу, как идут китайцы с очень серьезными лицами, — отношение к смерти у них иное, какое-то древнее, и смотря на них, я испытываю странную жуть. Впереди гробов разные депутации с венками, увитыми красными лентами. Масса барышень, студентов, рабочих. Порядок образцовый. Публика на тротуарах стоит шпалерами. [...]

1/14 апреля.

[...] К Недзельским шли пешком через весь город, так как трамваев нет. Устали изрядно. У них застали Федорову. Она говорит, что Митрофаныч [А. М. Федоров. — М. Г.] очень беспокоился об Яне, «целую ночь не спал»!

— А вы не боитесь, — спрашивает она Яна, — после вашей статьи?

— Да как вам сказать, как-то я об этом не думал. Может быть, и глупо, что остался, а, может быть, они и не посмеют тронуть... [...]

Вечером у нас Волошин, он остался у нас ночевать (то есть в мастерской Нилуса), чтобы провести вместе весь вечер. Сидели мы в моей комнате, Нилус вышел к нам на один момент, т. к. он чувствовал себя очень уставшим, а Буковецкий совсем не пришел, вероятно, боясь, как-бы Волошин не подумал, что он считает себя его знакомым. [...]

Ян угощает нас вином и копченой грудинкой, которую Волошин ест с большим удовольствием, — он уже голодает. Даже съедает наш пайковый гороховый хлеб, который мы не в состоянии проглотить и кусочка.

Поэты просят друг друга читать стихи. Ян опять уклоняется. Волошин читает свои Кемерийские стихи. Он знает, чувствует тонко, любит свой край и все это передается слушателю. Но много стихов у него высокопарных, риторичных, пустых.

Как человек, он обладает следующими особенностями: он никем не интересуется, любит монолог, часто повторяется, но, если что интересует собеседника, он охотно рассказывает и вполне удовлетворяется репликами. [...]

2/15 апреля.

[...] Нилус начал разговор о том, что художников приглашают украсить город на первое мая.

— У меня есть эскиз, как нужно украсить город.

— Неужели ты будешь принимать участие в этом? — спрашивает Ян.

— А почему же нет? Я нахожу, что от жизни уклоняться нельзя. А так как большевики признают науку и искусство, то этим нужно пользоваться-

ся, так как самое важное в жизни — искусство и наука, — говорит он со своей милой улыбкой.

— Так значит, — замечаю я, — несправедливо, что возмущаются Горьким?

— Конечно, — подхватывает Волошин, — я никогда им не возмущался... — И он опять изложил свою теорию. Он верит, что люди — настоящие ангелы, принявшие на земле вид дьявольский, а в сущности в каждом человеке сидит распятый Серафим, и он сидит во всяком, и в убийце, и даже в идиоте. А потому не нужно ни от кого отвертываться. Нужно все принимать. В мире все есть, кроме любви. Любовь принес человек. Ненависть — первый шаг к любви.

Ян, слушая, едва сдерживается. Наконец, просит «оставить в покое всех серафимов». Волошин быстро переходит на то, как, по его мнению, нужно украсить город. [...]

Ян, сдерживаясь, говорит:

— Не понимаю, как в то время, когда люди почти умирают с голоду, ходят оборванными от недостатка материи, когда воцарились разбойники, вы спокойно рассуждаете о том, как наилучшим образом украсить город, украсить лобное место? Ведь это значит помогать тому врагу, которого мы ненавидим, хотим уничтожить, а о развитии искусства и науки в государстве, где мрут с голоду [...] мне просто странно слушать!

5/18 апреля.

[...] Вчера в сумерках Ян зашел в церковь на базаре, где он венчался с А. Н. Цакни. Возвратясь оттуда, он сказал: «Только что из церкви, где не был более двадцати лет! Зачем-то залетел в нее, женившись на гречанке, и подумал: — Как мы легкомысленно поступаем в жизни, которая так коротка».

Вечером Волошин читал нам своего Аввакума. Справился он с ним хорошо, фигура написана выпукло. Техника стиха превосходна.

За чаем он развил свою теорию о материнстве.

— Если женщина любила без взаимности, то в следующем воплощении она родит сына, в которого войдет душа того, кого она любила, и из этого вытекают все результаты отношений матери с сыном: сначала удовлетворение, потом распятие. Вот почему матери иногда покорны невесткам.

У него хорошо — на все примиряющая теория. Вероятно, он один из самых счастливых людей на свете. Что ни случись, он с легкостью жонглера откинет, подбросит вещь и она летит на свое место. [...]

Художники Одессы заняты приготовлением праздника первого мая. Во главе стоит художница Эстер, присланная из Москвы. Волошин тоже в первомайской комиссии. [...] Нилус выбран в правление «Союза Художников». [...]

Третьего дня Куликовские были у нас. Д. Н. принес свою автобиографию и сказал:

— Вот, как только окончу вторую часть, за которую я теперь принялся, так большевики и уйдут. В Харькове я как раз подогнал, когда писал первую часть — последняя строчка совпала с их уходом.

Мы желаем, чтобы он скорее кончил свою автобиографию. [...]

Во многих домах уже нет воды, многим приходится таскать ведра за несколько кварталов. [...]

Ян жадно читает газеты, почти весь день живет злободневностью и только по вечерам, когда уже нельзя выходить, он способен читать какой-нибудь французский роман. Я иначе. Я гораздо меньше времени посвящаю текущим событиям, при первой возможности спасаюсь, углубляюсь в ту

или иную книгу, перевод или в разговор с детьми нашей школы.

Многие озабочены и заняты главным образом съедобными делами — где бы что достать, где бы что купить? Наш дом этим не страдает. Мы уже начинаем быть на грани недоедания.

Многие стали перевозить библиотеки в Городскую читальню. Милый Людвиг Михайлович де-Рибас охотно помогает сохранить книги от нынешних варваров.

Профессиональные карточки у нас в руках, но мы не чувствуем себя от этого в большей безопасности, ведь, строго говоря, мы очутились вдруг вне закона. [...]

Слухи все растут. Откуда они берутся? Какая сила порождает их? Почему они так всем необходимы? Может быть, в них наше спасение? И странно, с какой жадностью мы ловим их, передаем нашим друзьям, хотя и не вполне верим им, а все таки успокаиваемся.

Идет сильное «перекрашивание». Уже острят: «Что ты делаешь?» — «Сохну, только что перекрасился».

Интересно наблюдать, как каждый по-своему переживает водворение в жизнь «коммунистического рая». Нилус, например, все хочет видеть в большевиках что-нибудь положительное. Он вообще таков, что прежде всего в каждом отыскивает хорошее. Ему органически чуждо все подлое, а потому он все надеется найти хоть одну луковку, за которую можно простить. [...]

8/21 апреля.

Пасха. Погода чудесная. Солнце. Синее небо. Распускаящиеся деревья. А на душе печаль.

За всю неделю не были в церкви. Только пошли с Яном в Великую Субботу в архиерейскую

церковь. Служил архиерей. Народу было мало. Один гимназист, несколько гимназисток, два-три пожилых чиновника, немного старух и стариков. Архиерей, худой с приятным русским крестьянским лицом, служил очень хорошо, на какой-то грани — и величественно и просто. [...] Около меня заплаканная сестра милосердия, а передо мной гимназист, необыкновенно усердно молящийся. И как странно для такого дня — такая пустота в церкви. [...]

И в церкви особенно чувствовалось, как наваливается на тебя тяжелая рука большевизма. То забываясь под чудные слова и песнопения, то пробуждаясь и вспоминая, что наша жизнь кончена, что мы очутились в плену у чудовищ, где нет больше ни истинной красоты, ни поэзии, ни добра, а только циническая подделка подо все это, что теперь раздолье всякому хамству, всякому цинизму и что единственное, что они не могут отнять у нас — это наши духовные богатства, хотя, конечно, ослабить их могут при помощи голода, холода и всяких истязаний — я тут в церкви неожиданно понимаю, в каком направлении нужно работать, чтобы сохранить себя, свое я, не калеча его.

На возвратном пути читаем на стене новый декрет: все буржуи, моложе 40 лет, завтра в Светлое Воскресенье должны выйти на работу — чистить улицы! У наших ворот сталкиваемся с дворником Фомой. Мы с ним приятели — он из деревни моего деда, а потому мы считаемся земляками и подсмеиваемся надо всем южным. Рассказываю ему о декрете, он усмехается, даже задет неуважением к его специальности.

— Они думают, что всякий сумеет улицу подмести, — говорит он внушительно, — да вы больше грязи наделаете, ведь это надо знать, как делать. Да вы не беспокойтесь, я сам все сделаю, а

вам просто придется метелочку в руках подержать. [...]

Пошли с Яном к Заутрене. Улицы пустынные, иногда встречали одного, двух прохожих. Подойдя к церкви, наткнулись на хулиганов, которые выходили с гоготом из ворот. У нас пропало настроение. Ян чувствовал себя дурно, и мы вернулись домой и легли спать. Дорогой он рассказал, что под вечер он опять ходил в базарную церковь, там никого не было, он встал как каменный, около клироса и стоял, не зная, что делать. Прошел батюшка, посмотрел на него. Он вышел, сел без шапки на лестнице паперти и снова окаменел, чувствуя отчаяние. [...]

К обеду пришел Волошин. Как всегда, много рассказывал, весело и живо:

— Поэт Багрицкий уехал в Харьков, поступив в какой-то отряд. Я попросил у него стихотворение для 1 мая, он заявил, смеясь: «У меня свободных только два, но оба монархические». [...]

Офицеры говорят солдатам «ты». Солдаты называют офицеров «товарищами», но трепещут их не меньше «вашего благородия».

Хорошо сказала одна поэтесса про Катаева: «Он сделан из конины»... Его не любят за грубый характер.

После обеда пошли гулять. Начали разбирать эстакаду в порту, чтобы ею топить водокачку. Что за идиотская выдумка! Говорят, что днем наломают, то ночью портовые рабочие растаскают...

Все волнуются, что Одесса останется без воды, так как топить водопровод нечем. Ведь никто из серьезных людей не может верить, что эстакада спасет! [...]

Только что был Бутенко, двоюродный брат Нилуса. В его имении был воинский обоз, вместе с местными мужиками разгромили дом, и все ис-

кали убить его. За что? Он всегда был необыкновенно добр к мужикам... Шашками рубили бюро красного дерева. Увезли много ячменя, пшеницы. А на соседнем хуторе Пташниковых, родственников одесских, убили кого-то. [...]

Слухов не оберешься: 1) о заключение мира союзников с Германией. [...] 2) Германия оккупирует на 15 лет юг России без портов Черного моря. Север России займут англичане. 3) В Эльзас-Лотарингии плебисцит. 4) Ансельм в Акермане, как получит подкрепление с моря, двинет войска на Одессу... [...]

Касперовскую икону нашли на базаре, ободранную и исцарапанную. Архиерей служил ей молебен, толпа плакала. Целый день около собора толпился народ, пришлось даже разгонять, женщины падали и бились в истерике. [...]

Когда был у нас Федоров, мы рассказали ему о поведении Катаева на заседании. Александр Михайлович смеется и вспоминает, как Катаев прятался у него в первые дни большевизма:

— Жаль, что не было меня на заседании, — смеется он, — я бы ему при всех сказал: скидывай штаны, ведь это я тебе дал, когда нужно было скрывать, что ты был офицером...

— Да, удивительные сукины дети, — говорит Ян и передает все, что мы слышали от Волошина о молодых поэтах и писателях.

10/23 апреля.

[...] Сегодня двенадцать лет, как мы с Яном пустились в путь!

Одесса превращена в восточный город, главная торговля происходит на улицах. Носки, апельсины, нитки, свечи; торговцы сидят вдоль стен; нищие, убогие — кто поет, кто играет, кто просит, а некоторые просто стоят с надписями на груди.

Вид Одессы очень изменился, вместо моря военных — французов, поляков, добровольцев, греков и цветных воинов — улицы залиты красноармейцами с огромными бантами на шапках. Публика посерела, нет изысканных туалетов, все одеты проще, под один ранг. Лица у большинства отталкивающие. Ян пристально вглядывается и время от времени восклицает: «Да это подбор какой-то! Посмотри, что за лица! Да ты вглядись в них. Раньше были иные! Чем объяснить?» Я волнуясь, так как Ян возбужден и говорит громко. Прошу его быть осторожнее. Он не обращает внимания на мои слова.

— Боже, сколько за 2 недели пожрали апельсинов, — говорит он, когда мы проходим мимо тележек с ними. — Красноармейцы уничтожают их с остервенением десятками. [...] ведь это какое-то апельсинное увлечение. Посмотри, у всех в руках оранжевые шары... [...]

От всего этого кружится голова и хочется скорее к себе домой.

Идут аресты. Арестован прокурор, арестовано много буржуев.

11/24 апреля.

[...] Вчера вечер у нас провел Волошин. [...] За чаем, когда к нам вышел Ян, мы много говорили о Николае II. Волошин рассказывал со слов очевидцев очень интересные вещи. [...] У него в Крыму было много знакомых среди высокопоставленных. К сожалению, записать опасно. Между прочим, он передал слова императрицы: «Дважды нельзя изменять родине!» Эти слова она произнесла, когда предлагали Николаю II заключить мир с Германией. Вильгельма она ненавидела. [...] Тон нашей беседы был очень приятный, «человеческий», по определению Яна. Было досадно, когда в 9 часов

М. Ал. нужно было уходить. Жаль, что я не предложила ему остаться ночевать у нас.

На Маразлиевской улице анархисты реквизируют целый дом. В 24 часа жильцы должны оставить квартиры, вывоз вещей почти запрещен. Книги позволили взять лишь детские и французские. [...]

Сегодня на базаре появилась мука, 9 рубл. фунт, мяса нет, рыба есть.

12/25 апреля²².

Сейчас получила письмо от папы, написанное 10/23 августа, письмо шло 8 месяцев из Москвы в Одессу.

В «Известиях» написано, что Волошин отстранен из первомайской комиссии: Зачем втирается в комиссию по устройству первомайских торжеств он, который еще так недавно называл в своих стихах народ «сволочью».

Часов в 10 утра Волошин прибегает к нам. Он написал ответ и хочет прочесть его Яну. Содержание его письма приблизительно следующее: Есть разница между тем, если сам человек предлагает свои услуги или к нему обратились за помощью. В данном случае обратились к нему, как знатоку русской поэзии. Он согласился оказать посильную помощь и вдруг его за это же порочат.

Ян слушает, ухмыляется: — Прекрасно, но только ваш ответ не будет напечатан. — Волошин удивлен: — Что вы, мне обещали. Я уже был в редакции. — Попробуйте, — говорит Ян, — я очень сомневаюсь.

Ян в подавленном состоянии: «Все отнято — печать, средства к жизни. Ну, несколько месяцев протянем полуголодное состояние, а затем что? Идти служить к этим скотам я не в состоянии. Я зреть не могу их рожи, быть с ними в одной ком-

нате. И как только можно с ними общаться? Какая небрезгливость. Ну, можно понять, когда от нужды, с голода, но ведь многие подсовывают какие-то теории. Я рад, что Волошину попало, а то распятые серафимы. [...] А молодые поэты, это такие с[укины] д[ети]. Вот придет Катаев, я его отругаю так, что будет помнить. Ведь давно ли он разгуливал в добровольческих погонах!» [...]

Слухи, и слухи самые невероятные: 1) Колчак соединился с Деникиным. Царицын отнят у большевиков. 2) Гинденбург идет на Россию. [...] 3) Одесса будет свободным городом. 4) [...] Ленин и Троцкий произносят очень тревожные речи. 5) Киев берут поляки. 6) Взят Петербург. Кем? [...]

Яна стали травить в «Известиях». Пишут, между прочим, что «нижняя часть его лица похожа на гоголевский сочельник». Что это значит, мы так и не поняли. Перелистала даже Гоголя, но и он не помог.

Шли по улице, как всегда чувствовали омерзение, и вдруг чудное пение. Что это?

— Это Синагога, — сказал Ян, — зайдём.

Мы вошли. Мне очень понравилось пение. Масса огня, но народу мало. [...] Я ощутила религиозный трепет. Лучшее, что создало человечество, — это религия. [...]

14/27 апреля.

В университете начались реформы. Ректор, про-ректор, совет и правление — все упраздняется. Передается все в руки совета комиссаров, т. е. мальчишек I и II курсов, которые мгновенно переменили свои фамилии, но, конечно, это секрет полишинеля. [...] Университет больше не существует, а есть «Сквуз», то есть «Совет Комиссаров Высших Учебных Заведений».

В «Известиях» письма Волошина не напечата-
ли. [...] Слухи, слухи до разврата! [...]

Днем заходит за нами Волошин, чтобы идти к фотографу-любителю, который снимает всех знаменитых и известных людей. Просил привести и Яна. Идем пешком через весь город. Волошин совершает такое путешествие ежедневно: его столовка находится в том районе — там можно есть супа, сколько влезет! Он голодает, по прежнему цетлинская горничная ему ничего не дает, кроме стакана горячей воды утром. Но он относится и к этому весело. «Похудею, а то я за время пребывания у Цетлиных очень растолстел». [...]

16/29 апреля.

Ян вчера был в очень тяжелом настроении. Он сильно страдает: «Я не живу теперь», сказал он мне. «Все равно, хоть умереть сейчас, — жизнь не вмоготу»...

Встретились с Гальберштадтом²³, много новостей. Мне кажется, что последнее время он опять начал пить. У него знакомство с красными офицерами. [...] «В Одессу ждут Ленина, Троцкого, Горького». Прощаемся. К себе не приглашаем. У него, конечно, хватит такту больше к нам не приходиться. С тяжелым сердцем возвращаемся домой. [...]

Под вечер забегает Волошин. Он в больших хлопотах по выезду из Одессы, ему здесь не безопасно, и нет денег. [...]

— Я познакомился с Северным в гостинной хорошенькой женщины, — говорит с улыбкой Волошин. — Он очаровал меня. Это человек с кристальной душой.

— Как, — перебивает Ян, — с кристальной душой и председатель Чрезвычайки?

Волошин: Он многих спасает.

Ян: На сто — одного человека.

Волошин: Да, это правда, но все же он чистый человек. Знаете, он простить себе не может, что выпустил из рук Колчака, который, по его словам, был у него в руках. Он рассказывает, что французы пытали его. Связывали назад руки и поджигали пальцы. [...] А Северный сам — против крови! [...]

18 апр./1 мая.

Декрет о запрещении пользоваться электричеством — всем, кроме коммунистов. [...]

Мы с приятельницей [...] решаем с вечера осмотреть город, который так старались украсить новые хозяева наши. [...] Общее впечатление: бездарно, безвкусно, злобно и однообразно. [...]

Когда я вернулась, Ян был уже дома. Он с приятелями тоже ходил по городу. Спрашиваю о впечатлении. — Грязная, гадкая, унылая картина! [...]

Был Серкин, принес яиц и компота сушеного. Очень он трогает нас, какая забота всегда, точно мы его родные. От интеллигентных людей мы этого не видим, а ведь он простой человек, но сердце у него хорошее, да и не глупый совсем, все понимает. [...]

Вечером на улицах были главным образом гимназисты, горничные, отдельные отряды солдат. Людей среднего возраста почти не было видно. Красными значками пестрело очень много народа. [...]

Рабочий праздник. [...] После завтрака иду бродить по городу одна. [...] Все дома с красными флагами, на балконах ковры — по приказу новых властителей, — вероятно, для того, чтобы узнать, у кого есть ковры и затем их реквизировать. [...]

На Соборной площади плакат: стоит толстый буржуй и за шиворот держит рабочего, подписано

1918 год, рядом стоит рабочий, а буржуй подметает улицу, подписано — 1919 год.

На углу Дерибасовской и Екатерининской плакаты на ту же тему: разница между 1918 и 1919 годами. В 1918 стоят буржуй и немец, а под ними лежит рабочий, в 1919 г. стоят рабочий и солдат на буржуйе, у которого изо рта торчит огненный язык. [...] На бывшей кофейне Робина, которая с первых же дней новых завоевателей была превращена в красноармейскую казарму, и на балконах которой постоянно сушатся подштанники, рубахи, висит огромный плакат: рабочий, солдат и матрос выдавливают прессом из огромного живота буржуя деньги, которые сыпятся у него изо рта. Народ останавливается, молча посмотрит и двигается дальше. Дальше двигаюсь и я, до самой Екатерины, которая завернута в серый халат. А сзади памятника, над Чрезвычайкой, огромный плакат в кубическом духе: кто-то стоит с неестественно длинной ногой на ступенях, увенчанных тронном, а подпись такая:

«Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим».

Авторы плакатов, в большинстве случаев, очень молодые художники. Есть среди них дети богатых буржуев, плохо разбирающиеся в политике и почти не понимающие, что они делают. [...]

Над домом бывшего генерала губернатора устроена иллюминация из французских слов: «Vive la revolution mondiale» — это для команды на французских судах, которые, увы, как нарочно, ушли из порта, и заряд пропал даром. [...]

Над Лондонской гостиницей надпись: «Мир хижинам и война дворцам». [...] Иду по бульвару к Пушкинской улице. Там тоже плакаты и плакаты. Навстречу мне двигаются колесницы, медленно

возвращающиеся с парада. В колесницах мелкие актеры и актрисы в разных национальных костюмах. [...] у всех на лице испуг и усталость. [...]

В городском саду на открытой сцене поет охрипшая певица с очень несчастным видом. [...]

Вечером мы с Яном немного бродим по городу. Толпа значительно поредела. На Пушкинской показывали воздушный кинематограф на радость мальчишкам. Мы тоже немного стоим и смотрим.

По дороге домой мы шепотом обсуждаем, почему все таки веселья не было. Приходим к заключению, что кровавые плакаты даже на сочувствующих действуют угнетающе, удручающе. [...]

19 апреля/2 мая.

В газетах — списки расстрелянных. Тон газет неимоверно груб. Приказы, касающиеся буржуев, в самых оскорбительных тонах, напр. «буржуй, отдай свои матрацы». В газетах вообще сплошная ругань. Слово «сволочь» стало техническим термином в оперативных сводках: «золотопогонная сволочь», «деникинская сволочь», «белогвардейская сволочь».

По городу плакаты такого возмутительного содержания, что «от бессильного бешенства темнеет в глазах и сжимаются кулаки», — говорит Ян.

И что за язык у них! Все эти сокращения, брань, грубость. [...]

20 апреля/3 мая.

[...] Последний слух, что Колчак под Москвой, и нет сообщения с Москвой.

[...] До нас доходят уже подробности о расстрелах, об издевательствах в чрезвычайках. Начало положила расправа над семьей убитого из-за угла еще при добровольцах директора частной гимназии Р. [...]

21 апр./4 мая.

Расстрелено 26 «черносотенцев»! [...]

23 апр./ 6 мая.

[...] Вечер. Сидим со светильниками. У нас целых четыре! Волошин читает свои переводы Верхарна.

Я сижу на нашем клеенчатом диване и под его ритмическое чтение уношусь мыслями в далекие, счастливые времена, еще до-военные. Зима. Ярко освещенный зал Художественного Кружка. Верхарн читает лекцию о своей милой героической стране. Публики очень много, слушают внимательно. Верхарн сразу завоевывает залу. Мне он тоже нравится своим необыкновенно приятным умным лицом. На сцене, как всегда, сидят директора клуба и литераторы. Прячась от взоров публики, выглядывает Брюсов. Он только что пережил тяжелую историю: поэтесса Львова застрелилась из-за него. Просила его приехать к ней, он отказался и она — бац! Поэтому приветствие знаменитому гостю произносит не он, а Мамонтов. Не остался Брюсов и на ужин, который был дан после лекции в одной из верхних зал Кружка. Я сижу рядом с Верхарном. Он мне рассказывает о своей стране, о своей жизни там и во Франции. Каждую зиму они проводят в Сен-Клу. Касаемся и поэзии. Он, конечно, говорит комплименты русской. Я восхищаюсь его творчеством. Верхарн восторгается Москвой, Кремлем. В первый раз в жизни прошу автограф. Один мой знакомый, мой сосед слева, Василий Михайлович Каменский, дарит мне тут же изящную книжечку в красном сафьяновом переплете, и Верхарн вписывает в нее несколько слов. Напротив нас сидит его жена. Очень милая, простая на вид женщина, фламандского типа. Не обошлось без курьезов. Ужин был составлен на сла-

ву, но чего-то, самого гвоздя, кажется, осетрины, Верхарн не ест. Пришлось заменять другим блюдом, хотя он умолял ничего не давать взамен, так как он не привык ужинать. Но, конечно, его по-русски закармливали. По-русски, не в меру, хвалили, слишком долго говорили и дошли до того, что Ермилов на русском языке рассказывал анекдоты, которых, конечно, Верхарн не понимал, несмотря на то, что Илья Львович Толстой старался ему переводить... Прошло несколько лет с тех пор, а кажется, что все это было бесконечно далеко. Погиб бессмысленной смертью Верхарн, умер и Ермилов, погибает и наша Россия.

25 апр./8 мая.

Приезжали за матрасами. Красноармейцы были вежливы, но чувство неприятное, когда вмешиваются, на чем спишь. [...] У нас ничего не взяли, хотя и у меня, и у Яна по два. Но я сыграла на психологию. Сказала, что у нас по одному и, сделав жест рукой, пригласила:

— Хотите, идите за ширмы и смотрите.

Они помялись и ушли. Все таки хороший дом их еще смущает, в плохих квартирах они проявляют больше хамства. Уже целая неделя уходит на это занятие — отбирать матрасы, которые потом будут где-нибудь гнить. [...]

Рассказывают, что сотрудникам большевистских газет, в том числе и тем, кто работает в «Голосе Красноармейца», т. е. Гальберштадту, Регинину и другим, выдали обувь и одежду, и еще что-то. [...]

Вечером у нас Волошин со своей приятельницей, которую на сокращенный манер зовут Татидой (Татьяна Давыдовна). Волошин читает на этот раз не свои стихи, а переводы Анри де-Ренье. Это

новый для меня поэт. Чувствуется, что Волошин хорошо и точно передает его.

— Французы, — говорит Ян после чтения, — отличаются от русских в поэзии. Они слишком все договаривают, тогда как мы много оставляем работы читателю. Кроме того, кто из романских поэтов скажет:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой...

— Да, — соглашается Волошин, — но зато никто из русских поэтов не скажет, как Ренье, — и прочел «Прощание».

9 часов. Надо было гостям уходить. Опять досадно, только что завязался интересный разговор... Не успели мы захлопнуть за ними парадной двери, как вдруг стук со двора. Я бросаюсь к двери, вижу две мужские фигуры с длинными палками.

— Что такое? — спрашиваю я, открыв двери, чувствуя, как сильно бьется сердце.

— Простите, я домовый комиссар, получил приказ вымерить все комнаты. [...]

26 апр./9 мая.

У нас завтракает писатель Федоров. У него седые длинные волосы. Он очень приятен на этот раз. Настроен против большевиков. [...]

Заходим вечером к Куликовским. Сидят в полутьме. Дм. Н. бодр. Ир. Л. волнуется, говорит, как всегда быстро, быстро, сама себя перебивая. [...] Передает, что идут разговоры о дне «мирного восстания». [...] Что за бессмысленное сочетание слов — «мирное восстание»? И как может восставать правительство? [...] Говорят, что отбирать будут все, оставляя только самое необходимое и то в очень малых размерах. Как-то даже не верится. Ведь

этим они возмутят всех, восстаноят против себя все население. [...]

Дома, рассказав все, что слышали, нашим сожителям, мы, на зло большевикам, пьем хорошее вино. Конечно, Евг. Ос. [Буковецкий. — М. Г.] относится к нашим сообщениям недоверчиво: он не любит верить неприятным вещам.

27 апр./10 мая.

Волошин устроил себе выезд через комиссара красного флота, поэта, который пишет триолеты, тоже, по словам Волошина, очень милого человека. [...]

— А велик ли красный флот? — спросил Ян.

— Да несколько дубков...

Последний вечер Волошин проводит у нас своей спутницей, Татидой. Сидим при светильниках в полумраке. Грустно. На столе жалкое угощение. За последнее время мы привыкли к Максимилиану Александровичу. Он вносит бодрость, он все принимает, у него нет раздражения к большевизму, но он и не защищает его. Он прощает людям не только недостатки, но даже и пороки. Может быть, это проистекает от большого равнодушия к миру — тогда это не достоинство. Но такое спокойствие приятно среди всеобщего возбуждения, раздражения, озлобления.

Волошин одет по-морскому: в куртке с большим вырезом и в берете. Он снабжен всякими документами на тот случай, если попадетя в руки французов, у него одни документы [...], а если будет обыск при отходе, — то он имеет какие-то мандаты. Но все же исход путешествия их сильно волнует. [...]

Потом речь заходит о молодых поэтах, населяющих квартиру Цетлиных. Это совершенно без-

нравственно-грубые люди! Один из них украл у Волошина ножик из несесера. Когда его уличили, то он отдал, нисколько не смутясь. [...]

В первом часу ночи мы провожаем уходящих в море наверх, в мастерскую П. Ал. Нилуса. Завтра в 5 ч. утра им нужно уже быть на дубке. Прощаемся, желаем им добраться благополучно до Коктебеля. [...]

28 апр./11 мая.

[...] Познакомилась с Анной Николаевной Буниной, бывшей женой Яна, с которой уже в темноте возвращались домой. [...]

На улицах товарищи со своими дамами довольно весело прогуливаются по Дерibasовской. [...] Я сообщила А. Н. о смерти Бибиковой²⁴. Оказывается, А. Н. очень высоко ставит Варвару Владимировну — «такой живой, умный, добрый человек»... Она очень жалела ее. В Москве она часто бывала у них. Но знала ли она, кто это? А. Н. произвела на меня приятное впечатление.

29 апр./12 мая.

[...] Завтрак и обед у нас делаются все легче и легче. А между тем, в библиотеке я читаю у знаменитого физиолога Бунге: «[...] нужно, чтобы пища доставляла человеку радость, чтобы каждая еда для него была праздником. [...]» Что же будет с Россией, если не только вкусно, но просто нечего будет есть! Ведь в Великороссии минувшую зиму уже голодали...

30 апр./13 мая.

С утра в городе волнение. Угроза приведена в исполнение: издан декрет о «Мирном восстании», то есть в законном порядке ходить по домам и отбирать у всех все, оставляя по паре ботинок, по одному костюму или платью, по 3 рубашки, по 3

пары кальсон, по 2 простыни, по 2 наволочки и все в таком роде, и по 1000 рублей денег на человека. Город разделен на участки и в каждый участок командировались работники и работницы, стоящие на советской платформе, и, для контроля что ли, назначаются чиновники и служащие в банках. Многие, говорят, отказываются, что, конечно, не безопасно. [...]

Легко представить, что пережили все граждане, и сознательные, и несознательные. Одни мучились, в чем остаться, что надеть на себя — башмаки или туфли? Некоторые напяливали на себя несколько костюмов. [...] Мы испытывали очень противное чувство: мы живем в доме, где много ценных вещей, — картин, фарфора, ковров, икон... Поживиться было бы чем.

Но вдруг в 2 часа дня узнаем, что «мирное восстание» отменяется. Моментально город облетают 2 версии: 1) вмешательство английского крейсера [...] и 2) немирное восстание «ропитовцев» (т. е. рабочих в «Русском Обществе Пароходства и Торговли»), они меньшевики. Рассказывают, что когда начали производить «мирное восстание» в порту, то пролетарии встретили пришедших кипятком и ножами. О, эти легко не расстанутся с ответственностью, они не буржуи!

В тех квартирах, где это «восстание» произошло, обыскивали «честно». Женщинам распускали волосы, подозревая, что в прическах драгоценности, тщательно осматривали клозеты, высыпали соль, сахар, желая убедиться, что ничего не спрятано. [...]

2/15 мая.

Холодно, ветрено. [...] День идет обычно. Чтение по-английски, перевод. Минутный завтрак. Библиотека. [...]

[...] И вот все, как водится: самый революционный народ в мире устраивает еврейский погром. [...] На Большом Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 мирных жителей. Все лавчонки против дачи Ковалевской разнесены, хозяевам удалось спастись. Ночью в рыбацком селении около монастыря солдаты врываются в дома, стаскивали с кроватей ни в чем неповинных людей. Люди бросались в поле, в море. За ними охотились, как за зайцами, по мокрым от росы хлебам. Убит Моисей Гутман, тот самый, который нас перевозил с дачи — очень милый еврей. Все сделано было так неожиданно, что многие попались врасплох, спаслись те, кто успел сесть в лодку и уйти в море. Расстреливали человека со сна, на глазах родных. Расстреливали люди, не видевшие раньше своих жертв, месяц назад прибывшие с севера.

В этом погроме чуть не погиб Алек. Абр. Кипен. Он живет у рыбаков, как раз там, где происходил погром, а в эту ночь он, к счастью, ночевал в санатории «Белый цветок», которая стоит среди поля совершенно одиноко в верстах двух от моря. На рассвете к ней подъехал отряд красноармейцев. На крыльце кто-то находился. Солдаты спросили: «Нет ли здесь жидов?» Им ответили, что нет ни одного. — «Побожись!» — Побожились. И солдаты отъехали. Как это страшно и примитивно! Великое счастье, что Александр Абрамович спал. Он не отрекся бы. С ним был уже такой случай в Кишиневе во время погрома. Его спросили, кто он? Он, конечно, по своему благородству и храбрости, ответил, что он еврей. Но ему не поверили, найдя, что он не похож на «жида». [...]

Год со смерти Варвары Владимировны Бибиковой. Как ясно помню я весь этот день. Утром торопливые шаги Арсика к Яну. [...] Вечером я одна отправилась к ним на панихиду. Но панихи-

ды не было. Я поклонилась телу усопшей. Она, помолодевшая, совсем девочка, спокойно лежала, точно спала, еще не в гробу, а на столе. А в соседней комнате подшкваривали яичницу, и не чувствовалось в доме торжественности смерти. Так всю жизнь и прожила Варвара Владимировна студенческой жизнью. И всегда была довольна. [...]

3/16 мая.

«В «Известиях» сообщается подробнее об убийстве на Большом Фонтане, а также и о погроме евреев. [...]

7/20 мая.

[...] ухожу в библиотеку с радостным чувством, что большевики еще не заставили меня работать черную работу, и я спокойно могу сидеть там, сколько душа хочет, в тишине и оторванности от всего, — это настоящий отдых! И все же во мне разлита печаль. Читать не могу, — вместо этого вношу в свою голубенькую тетрадку свои заметки. У меня своя полка. Иногда голубенькая тетрадка остается на ночь тут, среди моих книг; но иногда охватывает страх, что сделают обыск, и я уношу ее домой.

С утра слухи, что опять на завтра день «мирного восстания». Избит, ранен и ограблен художник Бодаревский. Он лежит теперь в больнице. Он с сестрой жил у себя на даче. [...] Явились «товарищи» и заявили, что им известно, что у них в саду зарыто золото. Конечно, никакого золота не оказалось, а бедный старик чуть не умер. И все это среди бела дня...

Вдруг вижу — входит Ян.

— Я за тобой. Пойдем домой. На Херсонской и Елизаветинской ставят пулеметы. Спросил, в чем дело, говорят, что ждут какого-то наступления с улицы Петра Великого. Будто-бы это добровольцы

наступают. Конечно, это брехня обычная, но все же умнее быть дома. [...]

9/22 мая.

[...] После обеда идем на именины мужа Щепкиной-Куперник²⁵. С ним мы не знакомы, даже не знаем его фамилии. Он высокий человек, лет сорока, с седьми волосами. Очень милый и приятный в обращении. Она, маленькая, с видом христианского смирения, доходящего до ханжества, женщина, старается быть скромной, часто вздыхает, настроена пессимистически, но жалеет «несчастный народ». С мужем кокетливо задирчива. В доме первое лицо — она. Служит у большевиков в санитарном отделении, не голодает. [...] На столе много сладких пирогов из крупчатки, сласти. Народу много. Много незнакомых. Понемногу разбираюсь. Вот с томным видом известная артистка Полевицкая с мужем, господином Шмидт, режиссером театра Красного флота. [...] Находится здесь и бывший товарищ министра и философ С. В. Лурье, красивый человек, приятно картавящий; господин с вылупленными глазами — тоже шумевший при Временном правительстве, — Кауфман; высокий огромный человек, служащий в Бупе, господин Берлинд; одна сослуживица Татьяны Львовны, очень религиозная женщина, воюющая с большевиками за то, что они не хотят признавать христианских праздников, и еще несколько лиц.

Сначала обмениваются политическими новостями. [...] Разговор переходит на театр и общим вниманием завладевает Шмидт. Он с каким-то восхищением рассказывает о матросах:

— В театре стоит такая ругань, что не знаешь, куда деваться, особенно, как начнут говорить по телефону, уноси ноги. Но театр любят. Есть у нас такой матрос, пудов этак на восемь, шея огром-

ная, бычья, намазанная белилами и украшенная драгоценным кулоном — это у них в моде! Че-Ка наши матросы ненавидят: недавно арестовали кого-то, по мнению этого богатыря, неправильно, так он явился туда с двумя бомбами под мышками, пришел, встал и молчит, так, говорят, перепугались там, что моментально выпустили — поняли, что с таким детиной не поспоришь. За актеров стоит горой, в обиду не дает.

[...] Полевицкая тоже, ломаясь и закатывая глаза, восхищается любовью их покровителей-матросов к «искусству».

Да, правда, в Одессе, как впрочем, вероятно, и во всей России, театры процветают, некоторым артистам и артисткам живется хорошо, — лучшим, конечно. Но зато средним и маленьким тяжело, особенно тем, кому назначено играть на окраинах: приходится ходить пешком, иногда дважды в день. [...]

Театры переименованы: «Театр Красного Флота» [...] «Театр имени Свердлова», «Театр имени Третьяковского» и все в таком духе. Перед некоторыми театрами и иллюзионами горят кровавые звезды. Публики везде много, и в большинстве случаев, спектакли проходят с аншлагом. [...]

10/23 [мая].

[...] Учеников в нашей школе все прибавляется и прибавляется. Я испытываю большое удовольствие общаться с детьми. Но в художниках я не замечаю этого чувства. Повидимому, им не до того. Они исполняют свой долг и только...

12/25 мая.

День «записи в Красную армию». Я почти весь день на улице. От первого мая этот день отличается тем, что все плакаты написаны в совершенно реалистических тонах — прямо картинки с табач-

ных и папиросных коробок. Это желание публики — до кубического искусства граждане еще не доросли. Подписи под картинами в более мягких тонах. [...] Плакаты все больше на темы, как толстых генералов бьют красные солдаты и стихи соответственные: «Вот Ванюха на коне...»

Посредине площади огромный плакат: пятиголовая змея, две головы отрублены красой и гордостью русской революции, над третьей занесен нож.

— Глянь-ка, глянь, — говорит женщина в платочке, толкая мужа под локоть, — я такой змеи отроду не видала — пятиглава-ая.

Вот вам и гидра контр-революции! [...]

Нилус сообщает, что он получил назначение при комиссии просвещения в Отделе искусства, занят он будет по утрам. Должность приятная — можно спасти картины от разграбления. [...]

13/26 мая.

Приходят Польновы — это фамилия Щепкиной-Куперник по мужу. Он присяжный поверенный. В настоящее время занят главным образом тем, что прячет от большевиков сахарозаводчика Конига, который очень болен, только что перенес воспаление легкого, он — астматик. Скрывается с женой под чужими паспортами, так как с них требуют огромную контрибуцию, гораздо бóльшую, чем они могли бы заплатить. [...]

15/28 мая.

[...] Приходил Юшкевич уговаривать Яна поступить в Агит-Просвет. Он доказывал, что просвещать всегда, при всяких властях, хорошо. Ян только плечами пожимал. Юшкевич настаивал, указывал, что Яна могут обвинить в саботаже. Ян возражал: «Саботируют те, кто служит и портит дело. Я же не служил и заставить меня служить

никто не смеет». — «Но ты умрешь с голоду». — кричит Семен Соломонович. — «Лучше стану с протянутой рукой на Соборной площади, чем пойду т у д а. Пусть этот факт останется в истории...».

Оба кричат, волнуются. Юшкевич просит отложить ответ до завтра: — «Обдумай!». [...]

Охотников в Красную армию нашлось очень мало: почти никто не явился ни из буржуев, ни из пролетариата. Вероятно, начнутся скоро обыски и облавы. Будут искать уклоняющихся.

16/29 мая.

Дождь, холод. Мы сидим после нашего так называемого обеда с Яном и обсуждаем, что же ему ответить Юшкевичу. Вчерашнее посещение оставило на нас очень неприятное впечатление. Ему, понятно, хочется, чтобы Ян вошел туда. Репутация Яна безупречна, а потому для всех входящих важно, чтобы он был с ними. Решаем, что быть с Юшкевичем откровенным не следует, кроме крика из этого ничего не выйдет, что Ян твердо заявит ему, что уж если он решит работать у большевиков, то вернется в Москву.

Через 2 часа Ян возвращается, говорит, что решительно отказался, и что Юшкевич, наконец, отстал, поняв, что ничем его не возьмешь.

Завтра едут на лошадях Юшкевич, Нилус и Ильин к Федорову, приглашать его в Агит-Промсвет. Они будут заведовать театром и синема.

Вечером за бутылкой вина Ян с Нилусом спорят: П. А. искренно верит, что они повернут дело по-своему. Ян доказывает, что кроме позора и неприятностей, они ничего не получают. — «Уж если нечего есть, так служи где-нибудь писцом или чем хочешь, но отдавать им самое дорогое — никогда!» П. А., волнуясь: «Искусство выше всего и нельзя отказываться от того, что возвышает жизнь».

17/30 мая.

[...] Из Москвы телеграмма, что родители здоровы. Слава Богу! [...]

Ян временами бывает очень подавлен, часто чувствует сильную тоску, но раздражается реже. Я стараюсь его совсем не беспокоить.

Вечером Нилус рассказывает о своей поездке к Федорову. Ехали в отличном экипаже. Федоров сначала колебался, но под давлением жены, согласился. На обратном пути нагнали Кипена, — идет пешком в город, — предложили ему тоже вступить в Агит-Просвет, — он с негодованием отказался, предложили подвезти его, он поблагодарил и тоже отказался.

— Вот молодец! — воскликнул Ян. — Да, если бы побольше таких, то не так легко было бы завоевать нас.

И опять поднялся спор, можно или нет работать с большевиками. [...]

18/31 мая.

Дошло увлечение театром и до нашего двора. В нашем доме живет заведующий электричеством какого-то театра. Он ухаживает за нашей горничной Анютой [...] Ну, понятно, контрамарки — и то и дело то она, то наша домоправительница Людмила приглашаются на спектакль. Репертуар: Чехов, Толстой, Гоголь и др. Я всегда с нетерпением ожидаю их возвращения и рецензии. [...] Но, оказывается, пьесы им не нравятся. Анюта вчера смотрела «Власть Тьмы». Сегодня я расспрашивала ее о впечатлении;

— Удивительно, как у них все едят из одной чашки. А хомутов-то сколько там навалено. У нас не так...

Большого я от нее ничего не добилась.

Сегодня Людмила пришла из театра прямо в ярости:

— Знала бы, не ходила бы, что тут интересного — понять не могу. (Давался «Вишневым Сад».)

Большевики тоже недовольны буржуазным репертуаром. Все рыскают по Одессе в поисках «Брадобрея» Луначарского...

19 мая / 1 июня.

[...] Делается все голоднее и голоднее.

Ежедневно появляются списки расстрелянных. В Киеве пишут прямо и откровенно — «в порядке проведения красного террора в жизнь, расстреляны такие-то», перечислено 40 человек, после каждой фамилии краткая характеристика вины, как, например, домовладелец. Есть уже и профессор — Флоренский. Ян из себя выходит:

— Что значит — в порядке проведения в жизнь красного террора?

Вода поднимается только до первого этажа, и то кончая базаром, а дальше совершенно не поднимается. [...] Стали появляться на улицах продавцы и продавщицы съестных припасов. Вот на Херсонской сидит барышня с книжкой, а возле нее столик со сладкими пышками. Но это не для нас, конечно, а для «товарищей», ибо они очень дороги, рублей семь штука! [...]

20 мая / 2 июня.

[...] Рано утром у нас взволнованный Федоров. Пришел пешком с Фонтана, чтобы отказаться от поступления в Агит-Просвет.

— Нет, не могу, потерял покой после того, как согласился, — говорит он, волнуясь. — Лучше голодать, чем работать с ними! Все равно толку у них не выйдет. Лучше идти на техническую рабо-

ту, по крайней мере, ответственности не будешь нести.

Ян одобряет и поддерживает его.

Утром письмо от Юлия Алексеевича. Письмо необыкновенно интересное: краткое описание минувшей московской зимы. Трудно удерживаться от слез, слушая его. Я сижу в библиотеке и от волнения не могу работать. Бедный Юлий Алексеевич серьезно болен. Мне кажется, доктор его успокаивает, скрывает истинное его положение. Что значит кровь из мочевого пузыря? Но какой он молодец, нет ни жалоб, ни стонов, хотя, наверное, страдал и страдает сильно. [...]

Из письма Юлия Алексеевича Бунина²⁶:

«Мы, слава Богу, живы и здоровы. [...] Начиная с 10 августа и до сих пор почти ежедневно бывает у меня доктор. В ноябре у меня случилось кровоизлияние, вместо мочи обильно пошла кровь, которая вскоре была приостановлена. [...] Общее самочувствие в физическом отношении у меня удовлетворительное. Только сильно похудел. Так, например, твоё пальто теперь для меня широко. Исхудание происходит отчасти на почве болезни, а отчасти на почве плохого питания, главным образом недостатка жиров. [...] Но меня за минувшую зиму не столько угнетали высокие цены на продукты, сколько холод. С Рождества до самой Пасхи у меня в квартире было не более 3-4 градусов выше нуля. Приходилось спать, не раздеваясь, заниматься не было возможности — руки коченели. Замерз водопровод и канализация. От всего этого осталось впечатление кошмара какого-то. [...]

[В] книгоиздательстве большие перемены. Центральной фигурой является теперь Грузинский — он заменил Клестова. Помощником его нанят некто Шугальтер — человек практический. Книго-

издательство превратилось в кооперативное товарищество. Образовалась и переводническая редакция в составе Грузинского, Чеботаревой и Зайцева (последний живет в деревне). В книгоиздательство вошли новые члены, много молодых писателей: кроме того, Андрей Белый, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Бальтрушайтис, Сакулин, Бродский и многие другие, так что физиономия книгоиздательства значительно изменилась... Клестов был исключен из коммунистической партии. Тем не менее в советских кругах он играет большую и ответственную роль по делам издательским, вследствие чего он отказался от должности нашего заведующего. [...]

С конца осени возобновилась жизнь литературных организаций. «Среды» происходят теперь систематически по воскресеньям. Возникла новая организация «Звено», идущее навстречу запросам пролетарских масс; во главе ее Львов-Рогачевский, я и Смирнов-Треплев, много там молодых писателей [...] Далее образовался обширный союз поэтов, заключающий в себе более 200 человек — по большей части крайние модернисты, футуристы и так называемые имажинисты. У них есть свое кафе и так называемая эстрада поэтов, на которой они ежедневно выступают перед публикой. От этого союза отделилось в автономную группу правое течение под именем «Неоклассическая секция», во главе с Гальпериным и Олегом Леонидовым. Секция теперь регистрируется в особое общество под названием «Литературный Особняк». Собрания происходят еженедельно, на которых бываю и я.

Далее организован так называемый «Дворец Искусств», в доме Сологуба на Поварской, описанном в «Войне и Мире». Помещение поразительное по своей красоте и благородному изяществу. «Дво-

рец» числится при комиссариате народного просвещения, но на автономных началах. Во главе стоит Иван Рукавишников, которому покровительствует Луначарский [...] Во «Дворце» бывают доклады, литературные чтения, музыкальные вечера (участвуют лучшие оперные силы), устраиваются курсы и проч. Я иногда бываю там. Затем на Воздвиженке, во дворце Морозовых, помещается «Пролеткульт», в котором есть и литературная секция, где выступают часто пролетарские писатели, из которых выделяются Александровский, Казин, Полетаев и др. Руководят занятиями Андрей Белый и Вячеслав Иванов. Раза два там был и я. Занятия идут планомерно и очень усердно.

При «Пролеткульте» издаются журналы «Горн» и «Гудки». При художественной секции выставляются рисунки пролетарских художников — очень недурные. Есть секция театральная, музыкальная и др. Отделения «Пролеткульта» имеются во многих районах. Кроме того, имеется много рабочих клубов, где устраиваются вечера, лекции, танцы и т. д. Театров теперь в Москве насчитывается более сорока. Масса художественных выставок, лекций, митингов, концертов, на которых постоянно выступают лучшие артистические силы: Нежданова, Гельнер, Южин, Качалов и пр. Энергичное участие принимает Коган.

Существует здесь союз Советских журналистов с разными секциями. Наш «Союз журналистов», как и «Общество деятелей периодической печати» замерло. Зато возник «Союз Писателей», в который вошли лучшие литературные, журнальные и научные силы. Председателем состоял раньше Гершензон, а теперь Бальтрушайтис. «Союз» оказывает многочисленные услуги. Все мы зачислены в I-ую категорию, имеем охранные грамоты на помещение, получаем по дешевой цене

муку (по два с половиной пуда за 100 р), картофель и др. продукты. «Союз» тоже разбит на секции (литературную, историко-литературную, философскую, общественно-историческую и др.) Советская власть относится с сочувствием и покровительствует «Союзу».

Во всех советских учреждениях работает масса интеллигенции. Кооперативные учреждения, находящиеся теперь под контролем советской власти, также заполнены интеллигенцией. Много устраивается теперь всевозможных съездов: в одном из них, статистическом, — бывал и я. [...] Я надеюсь получить какую-нибудь домашнюю статистическую работу.

Как всегда к концу сезона, чувствуется утомление, хотелось бы отдохнуть где-либо. Будущая зима страшит особенно. [...]

[Одесские записи Ивана Алексеевича Бунина начинаются со странички, на которой сбоку синим карандашом написано «1919» и продолжается начатая прежде фраза, даты нет.]

[...] Часто теперь, читая какую-нибудь книгу, останавливаюсь и дико смотрю перед собой, — так оглушила, залилала [вероятно, залила. — М. Г.], все затмила низость человеческого слова и так дико вспоминать, на минуту выплывая из этого моря, что существовало и, может быть, где-нибудь еще существует *прежнее* человеческое слово!

4 ч. Гулял, дождя нет, пышная зелень, тепло, но без солнца. На столбах огромн[ые] афиши: «В зале пролеткульта грандиозный Абитур-спектакль-бал...» — После спектакля «призы»: 1) за маленькую изящн[ую] ножку, 2) за самые красивые глаза, киоски в стиле «модерн», «в пользу безработных спекулянтов», губки и ножки целовать в закрытом киоске, красный кабачек, шалости

электричества, катильон, серпантин и т. д. 2 оркестра воен[ной] музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 ч. по старому времени... Хозяйка вечера супруга командующего 3-й советской Армией Марфа Яковлевна Худякова». Прибавьте к этому новую орфографию.

25 мая / 7 июня

Прочел «Знамя» и 1 № «Советск. власти», орган одес[ского] Совдепа, долженствующ[ий], повидимому, заменить собою «Голос красноарм[ейца]», который уже давно не виден в городе, отправл[ен], как говорят, «на фронт». Все то же! Все «ликвидация григорьевских банд» и «разрастающаяся» во всем мире революц[ия], — между прочим крупно напечат[ано] сообщ[ение] о большевистск[ом] восстании в Турции. [...]

Вчера весь вечер дождь, настроение оч[ень] тяжкое. Дождь и ночью, льет и сейчас.

В «Сов[етской] вл[асти]» две карикатуры; несомненно Минского. До содрогания, до тошноты гнусно. [...]

26 мая / 8 июня

«Знамя борьбы» на половину занято Марьяшем. «Проф[ессиональный] союз пекарей извещает о трагическ[ой] смерти стойкого борца за царство социализма...» И еще неск[олько] таких-же объявлений; некрологи, заметки: «Ушел еще один... Не стало Марьяша... Стойкий, сильный, светлый...» и т. д. [...]

Затем идет смехотв[орное] известие о том, что «приморские города вблизи Дарданелл заняты турецк[ими] коммунистами, которые принимают меры к закрытию Дард[анелльского] пролива, сообщение [...], что «на Галицию идет огромная польская сила с Петлюрой в авангарде» (я говорил, что Петлюра вынырнет!) [...]

В полдень телефон из Сергиевск[ого] училища: приехал из Москвы Личкус, сообщил Вере, что у Мити Муромцева²⁷ тронуты верхушки легких и миокардит. Вера заплакала, оч[ень] расстроена. [...]

[После этой записи следует перерыв почти в 2 месяца. Возвращаюсь к записям Веры Николаевны:]

30 [мая] / 12 июня.

Последнее время столько неприятностей, всяких вестей от наших, что я не была в состоянии взяться за перо. [...]

За эти дни были на именинах. Мы радовались, как в детстве. Дом хлебосольный с еще несъеденными запасами, — будут пироги, торты, — думали и говорили мы. Собрались рано, ведь поздно оставаться нельзя. [...] Прошли весь город, через парк, который весь усеян красноармейцами с их дамами, лежат на траве в обнимку, сидят на скамьях. [...]

На именинах общество отменное, самое контрреволюционное: ректор, проректор университета, соквартиранты хозяев, у которых близкие люди в деникинской армии, один судейский, скрывающийся К. и так далее. На столе все, что полагается — всякие пироги, торты, южные кушанья. Хозяйка отлично умеет стряпать. Все очень возбуждены, рады, что вдруг неожиданно, по-старому, сидим вокруг стола и едим с таким, впрочем, удовольствием, как только едят люди при недоедании... [...]

Как-то через день или два после этого пиршества мы, гуляя, заходим к Овсяннико-Куликовским. Сидят они в своей темной квартире на четвертом этаже с окнами, выходящими на внутренний двор. [...]

Входит Кипен. Мы обрадовались. Какое особенное чувство испытываешь теперь всякий раз, когда встречаешь близкого человека, с которым не видались несколько дней. Значит, не арестован, жив и здоров!

Он от Геккер²⁸. Рассказывает, что кого-то арестовали, и она ночью позвонила в че-ка и распекла там, кого следует...

— Вообще, она молодец, — говорит Кипен, — когда нужно, она является в че-ка и добивается всего, чего хочет.

Мы смеемся и радуемся, что хоть она имеет авторитет в этом учреждении... [...]

Юшкевич хлопочет, чтобы ему был заказан сценарий «История государства Российского» по Шишко... Как ему не стыдно! Ведь это хуже, чем большевик. Еще называется русским писателем! Какое начинается разложение... [...]

31 мая/13 июня.

Конец нашего мая провожаю с тяжелым чувством. Много волновалась из-за болезней близких. Пишу на разрозненных страничках, прячу их в разных местах. В книжку — боюсь. [...]

Улицы чернеют декретами и пестрят афишами. Коммунисты веселиться очень любят. Балы следуют за балами и в частных дворцах и в общественных местах. [...]

1/14 июня. Лето.

Уехала наша горничная Анюта к себе на родину. Обещала вернуться через неделку, другую. Теперь придется быть за горничную, по крайней мере, на нашей половине. Надеюсь на это тратить не более 2-3 часов. [...]

2/15 июня.

В школе у нас народу много. Труднее стало поддерживать дисциплину. [...] В школе есть нес-

колько человек способных. Нилус восхищается глазом ученика Шесток. Его маленькая племянница, Оля, тоже рисует очень точно и делает заметные успехи. Двигается и Дима Лазурский, очень милый и приятный мальчик. Но занятнее всех Рафаэль²⁹. Он вносит столько веселья, что забываешь на него сердиться. [...]

На бульваре встречаем единомышленников. Грызем семечки. Сидим и смотрим на море. Я с Верой Николаевной Ильнарской. Она молодец — несмотря на то, что им очень трудно, она не поступает ни в один из многочисленных театров и влачит скромное существование беженки. Ей уже приходится таскать воду. Живут они в одной комнате, выходящей окнами во двор. [...] Идут разговоры, и о том, не пуститься ли на «дубке», по примеру Волошина, в Крым. Серьезно об этом подумывают Варшавские. Зовут нас, но меня не очень увлекает это предприятие. [...] и Яну не хочется менять синицу на журавлей в небе... [...]

Днем мы с Яном вышли прогуляться. [...] Сталкиваемся со Шмидтами и Варшавскими. Полевицкая обращается к Яну с просьбой:

— Напишите мистерию, мне так хочется сыграть Божью Матерь или вообще святую, зовущую к христианству...

— Постараюсь, — говорит, смеясь Ян.

— Да, пожалуйста, — умоляющим тоном настаивает она. [...]

Когда дождь прекращается, мы уходим.

— Господи, — вздыхает Ян, — какое кощунство и в какое время! Играть Богоматерь, и перед такими скотами! Неужели она не понимает? [...]

3/16 июня.

Год, как мы в Одессе, как не похожа она на прошлогоднюю, немецкую. Та была еще нарядная,

уже стояли жары, и ветчина стоила всего 6 рублей... теперь она стоит 48 рублей фунт, то есть в восемь раз дороже. Хлеб сегодня стоил 22 рубля фунт. Клубника стоила одно время 30 рублей за фунт, а сегодня 10, но и это нам не по карману.

Все еще прохладно, — это наше счастье, а то в городе в жару будет очень трудно.

Сколько мы пережили за этот год, год беженства. Одни «смены власти», как говорит наша горничная, чего стоят!

Вид города сильно за год изменился. Все ходят в чем попало. У детей вместо туфель деревянные сандалии, которые очень приятно стучат по тротуарам. На всех углах продают разную снедь, — можно дома и не готовить.

4/17 июня.

У Яна повышенная температура. Днем он был очень бледен, а ночью мешал спать кашель. [...]

Перед сном мы с Яном вспоминали Ростовцевых, Котляревских, их журфиксы и салоны, и как все это странно, точно с другой планеты. Могли выходить из дому, когда хотели, зажигать электричество и так далее, а теперь... [...]

6/19 июня.

[...] Мы часы не переставили и живем по-прежнему. Говорят, опасно ходить по улице с часами, на которых Божеское время. Уже родился рассказ, как один красноармеец спросил у одного господина — «Который час?». Тот вынул часы и сказал. Красноармеец увидел, что время старое, схватил часы и растоптал.

11/24 июня.

Вчера целый день была занята стиркой, сегодня полоскала, развешивала. Физический труд

приятен, но досадно, что он утомляет так сильно, что нет уже сил заниматься умственным. [...]

Есть слух: подписан мир и взят Харьков. [...]

На-днях Ян принес известие, что в Одессу присланы петербургские матросы, знаменитые своей беспощадностью.

Были как-то у нас Варшавские. Они серьезно думают бежать на дубке в Крым. Живут они на проданные драгоценности. А что дальше делать, когда все проедят? В Крыму цены на все нормальные. [...]

По улицам на каждом шагу подводы с награбленным буржуйским добром. Многие дома стоят почти пустыми. Куда же все увозится? [...]

Третьего дня узнали, что Недзельский едет таки в Москву. Скептицизм Яна на этот раз не оправдался. Бросаемся писать письма. [...]

Пешком несемся в Отраду. Боимся опоздать. Там Кипен. Вл. Ос. в красноармейской форме. Все волнуемся. Может поездка окончиться всячески. Он везет в Москву деньги, которые зашивает в полу солдатской шинели. Жена, видимо, волнуется, но сдержанна. [...]

До чего дожили: из Одессы в Москву, все равно, как в сказке о Змее-Горыныче, и сколько всяких застав в виде тифа, холеры, крушения поезда и, наконец, че-ка.

[...] узнали, что в Киеве опять «в проведение в жизнь красного террора» расстреляли еще нескольких профессоров, среди них Яновский. И я вспоминаю высокую фигуру этого знаменитого профессора-медика [...]

Утром сегодня, рано, пришел Федоров. Очень кстати. Они с Яном мне выжали белье. Сделали это быстро и весело. [...] Они не голодают, жена целый день занята хозяйством [...]

[...] Фельдман³⁰ предлагал употреблять буржуазию, вместо лошадей, для перевозки тяжестей. [...]

12/25 июня.

Целый день гладила. Устала больше, чем от стирки. Никогда не подозревала, что гладить так тяжело. [...] Руки, как у прачки — все облезли. [...] Но приятное чувство удовлетворения. Исполнила то, что казалось невыполнимым. [...]

13/26 июня.

После обеда выхожу пройтись и вдруг [...] встречаю Анюту. Вот обрадовалась! Показываю с гордостью содранные пальцы. Возвращаюсь домой. Она загостилась дома из-за забастовок. [...]

— Они хотят меня замуж выдать, — говорит Анюта.

— Ну, что-ж! И прекрасно, пора, — шутя, говорю я.

— Что вы! да я ни за что не пойду замуж за мужика. Мне не нравится деревенская работа. Я отвыкла. [...]

— Ну, а что слышно в деревне, что говорят о большевиках?

— Там ужасное творится. Придут петлюровцы — забирают в солдаты. Потом большевики — тоже. Вот и бывает так, что отец против сына, брат на брата. Страсть, что делается. Все ждут перемены власти, а какой — не знают. [...]

14/27 июня.

[...] Главный комиссар университета студент второго курса ветеринарного института Малич. При разговоре с профессорами он неистово стучит кулаком по столу, а иногда и кладет ноги на стол.

Комиссар Одесских Высших курсов — студент первокурсник Кин, который на всякое возражение отвечает: «Не каркайте».

Комиссар Политехнического Института Гринблат, разговаривая со студенческими старостами, держит в руке заряженный револьвер.

Говорят, что низшие служащие очень недовольны, о чиновниках и говорить нечего. Такой идет повсюду кавардак, что даже подумать страшно. Вот, куда заводит мнение, что университет — это фабрика, профессора — высшая администрация, а студенты — рабочие. И это мнение бывшего ученого, пишу «бывшего» потому что, мне кажется, что Щепкин сошел с ума...

16/28 июня.

В газетах еще пишут о ликвидации банд Григорьева. Все одно и то же. Я не могу читать по новому правописанию, не могу выносить этот ужасный большевистский язык. [...]

Слух, что Деникин взял Харьков. Неужели правда? Боюсь радоваться. Ян сильно взволновался. [...]

17/30 июня.

К завтраку Ян принес противоречивые слухи: Харьков взят обратно — это ему сообщил Юшкевич. А в других местах ему сообщили, что взят Екатеринослав, Полтава, а Курск и Воронеж эвакуируются. Колчак, будто бы, прорвал фронт в Царицынском направлении. Начинается наступление на Вятку. И, наконец, совсем невероятное сообщение, что Севастополь в руках англичан, которые совершили десант в 40 тысяч человек. Я ко всему стараюсь относиться спокойно, занимая себя то школой, то библиотекой, а на Яна страшно смотреть. Он только и занят слухами. [...]

18 июня/1 июля.

Ян пошел на базар и вернулся домой вместе с Тальниковым. Цены за сутки очень поднялись,

например, вчера вишни стоили 6 рублей, а сегодня — 20. Тальников сообщил, что на завтра, по слухам, назначена всеобщая мобилизация. Может быть, это в связи с падением Екатеринослава, Полтавы и Воронежа, хотя все это из области слухов.

Тальников рассказывает, что в Пролеткульте выставка книг, выпущенных в Москве и других городах. Говорит, что есть хорошие издания. Часть напечатана по новому правописанию, а часть — по старому. Он просматривал каталог, из книг Яна рекомендована «Деревня». Он советует пойти туда посмотреть. Но едва ли мы соберемся. Противно!

Вечером заходим к Польшиным [...] Слухам о разгроме армии Деникина никто не верит. Как всегда, разговоры о продвижении армий. Людей, приносящих сводки, сегодня не было.

У Польшиных дают гостям по стакану чая, это большое удовольствие. Сами они едят хорошо. Сегодня за ужином подавали мясо. Я старалась не смотреть на него, вид его раздражает вкусовые ощущения...

М. Н. очень волнуется за Колку. Его могут призвать. Конечно, в Москве было бы лучше. Там устроили бы для внука М. Н. Ермоловой³¹... [...]

19 июня/2 июля.

Как только начинают носиться слухи о каких-нибудь выдающихся событиях, так начинает подпольная контр-революция бегать друг к другу в гости.

[...] Ян [...] побежал за сводкой на бульвар, но скоро вернулся, так как на бульваре он никого из «заговорщиков» не нашел. [...]

20 июня/3 июля.

Идем вечером к Польшиным. Звоним, отпирает дверь сама Татьяна Львовна и радостно сообщает:

— Можете спать спокойно. Из Москвы пришло приказание — «писателей не трогать».

Мы вздохнули спокойно, ведь вот уже три недели, как ежедневно мы совещаемся с Яном, ночевать ли ему дома. Многие друзья предлагали свой кров, но мы решили до самой последней минуты не переходить Яну на нелегальное положение. Он и так нервен. Сон для него очень важен, а спать в непривычной обстановке ему всегда беспокойно. Надеялись, что в случае опасности, его предупредят. Но все же всякий вечер бывало жутковато. [...]

21 июня/4 июля.

Наступило лето. Люди стали страдать от духоты. Я же довольна, что тепло. По вечерам мы ходим на бульвар, сидим на парапете, смотрим на море. [...] Вчера был византийский закат. Но природе теперь ощущаем глазами, а до души не доходит. [...]

Скончался П. Дм. Боборыкин. Я как раз эти дни думала о нем, говорила о нем с Д. Н. Куликовским. [...] Умер он над мемуарами на 83-ем году жизни. Жаль мне Софью Александровну. Как она теперь будет жить одна? Какое чудесное впечатление она на меня оставила. Жаль очень, что я мало знала ее. Куликовский считает за Боборыкиным положительные заслуги, ценит его «Василия Теркина».

22 июня/5 июля.

В газетах список расстреленных в 11 человек. [...]

Стали брать заложников. Еще арестовано 6 профессоров и 30 присяжных поверенных.

23 июня/6 июля.

[...] Щепкин ужасно свирепствует на заседаниях в у[ниверсите]те, хотя из комиссаров по на-

родному образованию его давно удалили, нашли, что и он слишком правый. На одном заседании вечером в полутемной комнате он много и быстро говорил, что если что нужно для торжества красных идей, то он не пощадит никого: «всех, всех расстреляю, расстреляю...» [...]

27 июня/10 июля.

Вечером на бульваре, но никого из знакомых не встречаем. Проходим по всему бульвару. Останавливаемся у лестницы под памятником Ришелье, пощаженым большевиками. Неподалеку от нас видим двух барышень, очень кокетливо одетых, и молодого человека. У всех на руках повязка с буквами «Ч. К.». Стоят с оживленными лицами, чему-то смеются... Взглядываю на Яна, он, побледнев, как полотно, с искаженным лицом, говорит: — Вот, от кого зависит наша судьба. И как им не стыдно выходить на люди со своим клеймом!

Я взглядываюсь в их лица, стараясь запомнить: барышни брюнетки, довольно хорошенькие, с черными глазами, худенькие, среднего роста — барышни, как барышни, типичные одесситки. Молодой человек с самым ординарным лицом во френче, с фатовским пошибом, со стэком в руке.

Стараюсь поскорее увести Яна, хотя и хочется последить за этой тройкой. Даю слово больше сюда не приходиться, так как он очень неосторожен и, кроме того, вижу, что подобное зрелище ему доставляет невыносимое страдание.

Идем мимо домов, из окон которых свешиваются ленивые морды красноармейцев, отовсюду слышится гармония, пение, ругань. В некоторых домах уже пылает электричество, хотя еще светло. Театры и иллюзионы залиты электрическими лампочками, кровавыми звездами.

Всю дорогу Ян не может успокоиться. Он даже как-то сразу осунулся. И все повторяет: — Нет, это иное племя. Раньше палачи стыдились своего ремесла, жили уединенно, стараясь не попадаться на глаза людям, а тут не стесняются не только выходить на людное место, а даже нацепляют клеймо на себя, и это в двадцать лет!

Теперь гулять придется по уединенным улицам. [...]

У нас один день вареные кабачки, а другой — картофель с мулями, при чем с каждым днем масла все уменьшается и уменьшается. Готовят у нас давно на железной печурке, которая немилосердно дымит. Хлеб все дорожает и дорожает, несмотря на великолепный урожай.

На улицах то и дело видишь, как грызут кукурузу, называемую здесь «пшенкой». Продают крутые яйца, мамалыгу, ягоды, фрукты и все по высокой цене.

29 июня/12 июля.

У нас в доме именинник. Наша школа чествует своего профессора. Ученики поздравляют Петра Ал. [Нилуса], принесли — кто хлеба, кто вина. Учение было отменено. Видно, что П. Ал. завоевал любовь к себе, и каждому хочется сделать ему удовольствие.

[...] Сообщает нам, что сегодня будут обыски в нашем районе: всё ищут уклоняющихся от воинской повинности. Мы летим домой. [...]

Первую минуту — все точно в панике, прячем, куда попало, деньги. Затем берем себя в руки и садимся за стол. Ян читает...

30 июня/13 июля.

Трудно описать, что пережили мы вчера. Такого состояния я никогда не испытывала. [...]

Около 10 часов по астрономическому времени слышим голоса под окнами во дворе, стук сапог, лязг берданок. Влетает Анюта, бледная, но спокойная:

— Пришли. И пошли прямо к Евгению Осиповичу [Буковецкому], в столовую.

Ян остается на месте за письменным столом. На столе маленькая керосиновая лампочка — дожигаем остаток керосина. Я не выдерживаю и иду туда, где обыскивают. Стараюсь быть спокойной. А между тем уверена, что кончится большой бедой. В буфетной, где как раз находились солдаты с берданками, за тонкой перегородкой, лежит в пустой комнате много нестиранного белья наших сожителей. Они затыкнули со стиркой и теперь нет возможности перестирать все это количество. Если заглянут туда — все пропало... Красноармейцы, самые обыкновенные великоросы, стоят как-то конфузливо. Прохожу мимо, здороваюсь, кланяюсь, прохожу в столовую, где живет хозяин. Около столовой маленькая комнатка, в которой стоит комод. Начинают обыскивать именно этот комод. Считают рубашки. За обеденным столом, где час тому назад весело пировали скромные именины, сидит высокий, с наклоном к полноте молодой человек и записывает, сколько чего обыскивающие находят. Я сажусь за этот же стол, слушаю и смотрю. Слышу, спрашивают:

— Сколько рубашек?

— Семь, — отвечает хозяин, который все время что-то безостановочно говорит.

Начинают считать. Оказывается девять. Возмущение.

— Как не стыдно, — говорит записывающий, — интеллигентный человек, а обманывает.

— Да помилуйте, — говорю я, — какой мужчина знает, сколько у него в комодке белья!

[...] Кроме рубашек, все оказалось правильным. Обыскивающие вошли в столовую.

— Показывайте припасы.

Вынимает наволочку, в которой мука.

— Сколько?

— Пятнадцать фунтов, — отвечает хозяин, — да нас 7 человек здесь живет.

— Какое пятнадцать, — перебивает грудным голосом солдат, — тут целые тридцать будет.

Начинается спор. Мирятся, что 25 и что это на 7 человек. Муки ни у нас, ни у Нилуса нет, а потому хозяин и говорит, что это на всех. То же самое было и с сахаром. Наконец, им, видимо, надоело, и они пошли в следующие комнаты. Хозяин умно повел их после столовой наверх, где спал П. Ал. и где теперь школа. Я не стала подниматься с ними. Пришла и села на диван против стола. Ян сидел все в той же позе, как и полчаса тому назад. Он был в очках, перед ним лежала книга, но он не читал.

Прошло минут 20. Слышим спускающиеся тяжелые шаги по нашей чудесной широкой деревянной лестнице. Еще минута, и стук в дверь. Опять остроумно — он привел их сначала в комнату Яна, а не в мою, которая выходит в холль. Я чувствую, что у меня сердце бьется так, что я едва могу дышать. Я знаю, что в ванной комнате, которая находится между нашими комнатами, стоят огромные сундуки, оставленные румынскими офицерами, которые реквизировали во время войны эти комнаты. Что в этих сундуках, мы не знаем. Вероятно, оружие, мундиры — а за все это не помилуют. Лично у нас мало чего — драгоценности зарыты на очень высокой печке, — вряд ли они туда полезут. Могут только отнять последние деньги. Но мерзее всего, если они начнут рыться в рукописях Яна — и на что еще наткнутся в них.

Входят трое более ли менее интеллигентных людей, а за ними, стуча берданками, вваливаются кривоногие мордастые красноармейцы. Ян, в очках, с необыкновенно свирепым видом, неожиданно для меня заявляет:

— У меня вы обыска не имеете права делать! Вот мой паспорт. Я вышел из возраста, чтобы воевать.

— А запасы, может быть, у вас есть, — вежливо спрашивает тот молодой человек, который возмущался хозяином.

— Запасов, к сожалению, не имею, — отрывисто и зло говорит Ян.

— А оружие? — еще вежливее спрашивает предводитель шайки.

— Не имею. Впрочем, дело ваше, делайте [обыск], — он кидается зажигать электричество.

При свете я испугалась его бледного, грозного лица. Ну, будет дело, зачем он их раздражает, — мелькнуло у меня в голове.

Но солдаты стали пятиться, а молодой человек поклонился со словами: — Извиняюсь. И все вышли тихо один за другим.

Мы долго сидели молча, не в силах произнести ни слова.

Вошла Анюта.

— Ушли, слава Богу, пошли по квартирам теперь, — и смеясь, передает, как один солдат сказал другому: — Дом-то хорош, а живут голоштанники!

Слава Богу, что так кончилось.

Идем в столовую. Вытаскивается из недр бутылочка вина, и мы распиваем ее на радостях. [...]

[Несколько записей без числа. Вероятно, В. Н. боялась после обыска записывать в дневник. Но ясно, что это записи июльские:]

[...] После обеда отправляемся к Польшовым. Отпирает дверь Маргарита Николаевна и предупреждает шепотом:

— У нас комиссар иностранных дел, такой-то. Хлопочем устроить выезд Семену Владимировичу...

Входим в столовую и видим небольшого роста молодого человека, очень почтительно с нами здоровающегося. Я взглядываю на Яна и вижу, что он в том состоянии, когда ему все равно. Он садится и вызывающе молчит. Как на грех, хозяева вышли и мы остаемся втроем. Я, боясь, что Ян не сдержится, начинаю разговор о погоде. Комиссар с радостью поддерживает его. По обычаю этого дома, кой-кто начинает приходить. Настроение натянутое. Всякий предупреждается, что беседа ведется на незначительные темы. Наконец, является виновник этого нового гостя и, после недолгой беседы, комиссар исчезает. Мы облегченно вздыхаем, хотя на душе неприятный осадок. Отъезжающий, смеясь, говорит, что он получил пропуск и еще какую-то бумагу на таком безграмотном языке, что он сохранит их для потомства. Хозяева говорят, что сильно боялись за Яна — такой у него был свирепый вид...

Были у Тальниковых. Виделись там с Куликовскими. Как он всегда весело, с радостной улыбкой здоровается. Но как он за последнее время подался, похудел. Рассказывает, что на-днях он чуть не потерял сознание на улице.

— Уж очень действуют на меня расстрелы и издеательства в чрезвычайке. [...]

— Говорят, палачам платят по 1000 рублей с жертвы плюс все, что на нем.

— Говорят, что расстреливают, и особенно свирепо, две молоденькие девушки. Есть еще один садист, который перед тем, как выдать расстрели-

ваемого палачам, вызывает его из камеры и катается с ним на извозчике, нежно прижимая его к себе...

5/18 июля.

Сидим у Польшовых. Приносится известие, что в порт входят иностранные пароходы. Бежим туда, откуда видно море. Смотрим, молчим, волнуемся. Народу уже много. Говорить боимся, так как в соседе никто не уверен. Опасно показать радость. Опасно задать вопрос. Но что они несут с собой? Освобождение нам и гибель большевикам? Хлеб? Теряемся в догадках. Вечер, пора возвращаться по домам. До утра ничего не узнаем. Дома сидим, пьем вино и делаем тысячу всевозможных предположений. Ночь, а не спится, лезут самые невероятные мысли. [...]

6/19 июля.

Ян вскочил рано. Мне нездоровится, лежу в постели. Натощак Ян выскакивает, чтобы прочесть газету. Быстро возвращается огорченный: транспорт русских пленных, пожелавших возвратиться на родину...

К вечеру уже рассказывается по городу много курьезов. Подходят, например, прибывшие солдаты к фруктовому магазину и покупают фрукты. В корзине ярлык с цифрой 17. Понимают, что 17 копеек, а оказывается 17 рублей, в 100 раз дороже!

Говорят, что им вместо отправки на родину предлагают вступить в ряды красной армии.

В «Голосе Красноармейца» статьи делаются все свирепее. Особенно отличается Величко. Меня уверяли, что Величко — Гальберштадт, что видели статьи под этим именем, написанные его рукой. Мне не верится.

Облавы, аресты, обыски. Кому грозит чека, тот прячется.

Меня тронул Серкин. Зашел, увидел, что я нездорова, сказал, что принесет курицу. И принес по своей цене — 75 рублей. Удивительно он трогательный человек. Жаловался на жизнь, на народ.

7/20 июля.

Вечер. Сидим на диване в комнате Яна. [...] Вдруг в окно я вижу, как по лестнице поднимаются Недзельские. Мы с Яном разом вскакиваем и кидаемся к двери. Отпираем ее и от волнения не можем ни поздороваться, ни произнести ни слова, до тех пор, пока Владимир Осипович говорит: «Все благополучно». Тогда мы переводим дух и идем в наши комнаты. Вл. О. дает нам письма. Мы их конечно, только бегло просматриваем и просим рассказать впечатления его о Москве и о наших. Впечатления сильные. Недоедание, если не сказать больше, сильнейшее. Люди все так похудели, что даже трудно себе вообразить, — зима была необыкновенно тяжелая: не топили домов, в некоторых квартирах температура была чуть ли не ниже нуля, а приспособляться еще не научились, теперь придумывают что-то для будущей зимы. Многие больны «волчьим аппетитом», вечно хочется есть, особенно страдают этим мужчины. Люди перестали ходить друг к другу в гости. — Ваш брат, Дмитрий Николаевич, прямо сказал мне: — Простите, но я вас не приглашаю к себе — у меня положительно нет возможности предложить вам чашки чаю. — С Вашими родителями я раз обедал в той столовой, где они питаются, но что это за обед?.. Словом, материальное положение ужасно. Видался с Юлием Алексеевичем. Я страшно любил его, но он настроен, как всегда, очень пессимистически. Скучает по вас. А с Гершензоном я почти разругался: он большевистствует.

— А какой вид у мамы, очень худа?

— Да, такая милая подвижная старушка...

Владимир Осипович и не подозревает, что этой фразой он пронзает мне сердце. Год назад, когда мы уезжали из Москвы, мама была еще пожилой дамой, слово старушка ей совсем не подходило. Я сразу поняла, что она сломилась за этот год...

Мы долго сидели и слушали. Вл. Ос. каким-то чудом избег двух крушений. [...] Поручение он свое выполнил прекрасно, месяца два будут они сыты...

На политическое положение он смотрит хорошо, надеется, что Деникин победит. — «Все разлагается. Красноармейцы и те недовольны [...]». Он возлагает надежду на зеленых, в Черниговской губернии появился атаман с шайкой, какой-то Ангел. Говорят, что он настроен против большевиков. А южнее орудует Махно, который неуловим. Говорят, он ездит со своей шайкой на телегах, на бешеных лошадях [...] а девиз, написанный сзади каждой телеги: «Бей жидов, спасай Россию».

— Да и здесь в Одессе уже не то твердое положение, которое было месяц тому назад, когда я уезжал в Москву. Вы подумайте, какой развал кругом. Да и сами здешние большевики нервничают. [...]

— Нет, поверьте, долго большевики не удержатся, они в достаточной мере изжиты.

Посидев до возможного времени, Недзельские ушли. Мы принялись читать письма вслух.

Делаю выписки из них. Вот из письма мамы:

«Пережито много тяжелого и вспоминать даже не хочется. Решила, что человек такая собака, что и не то переживет. Сейчас все таки жизнь кажется раем, по сравнению с зимой и весной... Я как-то привыкла к страданиям, что отношусь ко всему

спокойно. [...] Я своих вещей продала тысяч на пять во время болезни папы и все потратила на него. С твоими деньгами я думаю поступить так: возьму себе половину и постараюсь сохранить их для тебя, и только тогда ими воспользуюсь, если буду так голодать, как голодала осенью. [...] Хлеба нам не дают пятый день. Ехать на Сухаревку ни папа, ни я не можем, да и хлеб стоит 45-50 р. фунт. Придется пить чай, да и то без сахару. Не правда ли веселенькая жизнь? [...]

А вот из письма брата: — «Кое-что изменилось. Изменились цены на продукты. Чтобы быть мало-мальски сытым нам приходится проживать около 10000 руб. в месяц: изменилось количество продуктов, попадающих в наши желудки. И, если пока не было дня, когда мы ничего бы не ели, то потому лишь, что спускаем все, что имеем — занавески, костюмы, платье, посуду (цены на все вещи достаточно высоки). Но случалось уходить на службу утром и не евши. [...]

Изменились родители. Похудели, постарели лет на пятнадцать, сторбились, изогнулись, изнервничались. Папа болел всю зиму. Живя в температуре двух градусов, не имея нужного питания, он болел на почве истощения. Болезнь превратила его в глубокого старика. [...] Болезнь папы не единичное явление. Такой болезнью страдают многие. Многие старые люди впадают в детство и со многими мне приходится возиться на службе, изыскивая способы придумать им работу. [...] Да, старым людям сейчас трудно и плохо жить. Молодых в Москве мало. Я не говорю о детях. Но тем молодым, которые остались здесь и которые все же не могут безучастно относиться к страданиям себе подобных, невыразимо тяжело, и они, молодые, изнашиваются, стареют. Износился, постарел и я. [...] Неужели настанет момент, что я когда-нибудь

буду иметь возможность отдохнуть и набраться сил, увидеть южное солнце. [...]

10/23 июля.

Большевики большевиками, а жизнь берет свое. После Петровок очень много свадеб среди простого народа. Не довольствуясь гражданским браком, идут венчаться в церковь. Попадаем и мы на свадьбу. Жениху, сыну умершего друга Яна, 19 лет, невесте — 20. Когда их уговаривали подождать, они возражали: «Мы столько уже пережили, сколько раньше в 30 лет не переживали. Что еще дальше будет? Нужно пользоваться теперь всякой минутой, к тому же у нас хотят реквизировать комнату, вот мы ее и займем!»

[...] Я надеваю лучшее платье. Мы идем. Пять часов вечера (я всегда указываю астрономическое время). Церковь пуста. Народу немного еще. Жених и невеста приходят пешком. Невеста в белом, но без фаты. [...] Пировать будем завтра, в Ольгин день, именины сестры молодого. После венчания грустно расходимся по домам. Все нелепо — и эта скороспелая свадьба, муж-мальчишка, студент Художественной школы, невеста учится танцевать, а теперь при большевиках уже выступает в одном из многочисленных театриков. Оба уже люди новой формации, новых вкусов, стремлений, и хотя они не коммунисты, не большевики, но большевизм уже развращающе действует на их души. Вспоминаем его отца, оригинального и интересного человека, необыкновенно органического. Как был бы чужд ему сын...

11/24 июля.

[...] Я рассказываю, что дорогой я видела по стенам расклеенные афиши, извещающие, что в СКВУЗ'е — нулевой семестр. [...] Я объясняю, что это обозначает подготовительный курс для уни-

верситета, открытый для того, чтобы революционный народ мог в 6 месяцев, будь то рабочий, мужик от сохи или баба, подготовиться к университету, по всем факультетам, вплоть до математического. Я не шучу. Один вновь испеченный профессор из большевицкой печки доказывает совершенно серьезно, что весь гимназический курс можно пройти в полгода. [...]

Отправляемся на пир. Пьем чай с хворостиками, едим фрукты. Молодые с молодежью веселятся. [...] Среди гостей дама, только что выпущенная из чрезвычайки. Она сравнительно хорошо прожила там, пристроившись к кухне. Но навидалась многого. — «Самое тяжелое для молоденьких барышень, когда их гонят убирать, например, Крымскую гостиницу, населенную красноармейцами, которые кувшины, тазы употребляют совсем не на то, на что они предназначены. [...] если узнают, что она княжна или графиня, тут на самую грязь назначают, а какая ругань стоит, если бы вы знали. Особенно Богородицу не щадят. Прямо жуть брала».

Потом шли разговоры, что куда ни поселится революционный народ, всюду он вносит разрушение: «Вот, — рассказывает один господин, — [...] в лучшие дома и особняки переселили рабочих с Пересьпи, и, Боже, [...] во что они превратили дома и квартиры, я уж не говорю, что все засалено, ободрано, но они ванны превратили в отхожие места, и получились такие очаги заразы, что самые красные врачи говорят, что если не принять экстренных мер, то эпидемии разовьются. [...] Кажется, решено — весь этот революционный пролетариат водворить на старые квартиры. [...]

14/27 июля.

[...] Голод меня мучит лишь иногда по вече-

рам. А как я боялась недоедания! [...] Правда, мы все меньше и меньше двигаемся и уже очень редко предпринимаем поход на другой конец города.

15/28 июля.

[...] Настроение у всех тяжелое. Арестовывают профессоров. Некоторые успели скрыться. Так Линиченко, дав слово, что отправляется в чека, куда-то ушел, и его не могут найти. Билимович тоже скрывается. Рассказывают, что Левашов скрывался где-то в Отраде, и его кто-то выдал. Ночью пришли, сделали обыск. Он спал, его разбудили, спросили, кто он. Он назвал себя фальшивым именем, но ему не поверили и арестовали. Арестован и проф. Щербаков. Председатель чрезвычайки Калининченко, студент-медик второго курса, профессорам говорит «ты» и издевается над ними, все грозит расстрелами.

16/29 июля.

Утром библиотека. Там тоже рассказы о расстрелах. — «По ночам, после 12, я слышу пение, — это гонят на расстрел буржуев и заставляют их петь. Вы представляете, какое это ужасное пение», — рассказывает N.

Расстреливать приходится так много, что иногда в мертвецкую привозят еще живого. Недавно сторож так испугался, увидя, что труп зашевелился, что позвонил в чека. И мгновенно оттуда явились палачи и добились несчастного.

Вечером пробираемся по тихим улицам на черствые именины к В. М. Розенбергу. Они ждали нас накануне с пирогом. [...]

У них узнаем, в каком ужасном положении находится детский приют. [...] Дети голодают, у них по одной смене, и, когда нужно стирать, они должны лежать голыми в постели. [...] Мы ничего не можем понять: ведь только 3 месяца тому

назад было реквизировано столько всяких материй, неужели нельзя было одеть хоть один пролетарский приют!

Заходит разговор и о нашем питании. Розенберги советуют обратиться в кооператив, в котором он служит. [...] — Селедки очень хорошие, постное масло, маслины.

17/30 июля.

Идем утром в кооператив. [...] Я давно утром не была в центре города. На Дерibasовской все то же, попадаются лишь мундиры всех времен, начиная с Александра II. Результат обысков, конечно. У Агит-Просвета останавливаемся, читаем газету. Очень путанная сводка. Рядом с признанием побед Деникина, говорится об успехах чуть ли не в Персии. Перед окнами толпа. Все озираются, говорят шепотом.

В кооперативе [...] получаем разрешение на некоторые продукты. Болтаем с милым Шполянским³², который неизменно острит. Узнаем, что Саша Койранский³³ «в сумасшедшем доме», — он находит, что это единственное место, где теперь можно жить спокойно. [...]

Передается под страшной тайной рассказ: Одного человека арестовали. Он актер. После допроса, за которым он ничего не сказал и никого не выдал, его ввели в соседнюю комнату. К нему подходит седой человек, начинает выслушивать сердце, значит, доктор: «Выдержит», бросает он на ходу. — «Я понял», — рассказывает несчастный, — «что будут пытать и так испугался, что 'выдам', что стал озираться кругом — нет ли чего? Вижу доньшко бутылки, вероятно, тут 'пировали'. Нагибаюсь и во мгновение ока перерезываю себе горло. Дорезать до конца не удалось, заметили». Его поместили в больницу, т. к. считали, что он может

многое рассказать, и сразу его «разменять» было жаль. Из больницы ему удалось устроить побег. [...]

20 июля/2 августа.

Нет света, весь город погружен во тьму. Уже много дней нет воды. [...] Теперь на улице из пяти прохожих трое с сосудами для воды, и встречаешь людей положительно всех возрастов. Мне особенно жаль старух. Некоторые едва передвигают ноги.

Слух, что немецкие колонисты отступают³⁴. Жутко. Чем все кончится? [...] Слух, что Кронштадт пал.

Яну хотят устроить аванс от украинцев. Хлопочет г-жа Туган-Барановская, по просьбе Овсянико-Куликовского, у которого уже приобретены книги для перевода. Хорошо, если удастся — хоть маленькая помощь. Уж очень не хочется идти служить им. [...] Нет, лучше впроголодь жить. [...]

[С этого дня возобновляются и сохранившиеся в рукописи записи Ив. Ал. Бунина:]

20. VII./2. VIII.

Вчера разрешили ходить до 8 ч. вечера — «в связи с выяснившимся положением» (?) [...] Голодая, мучаясь, мы должны проживать теперь 200 р. в день. Ужас и подумать, что с нами будет, если продлится здесь эта власть. Вечером вчера пошли слухи, подтверждающие отход немцев. [...]

Был у Польновых; Маргар. Ник. все восхищается моими рассказами, вспоминали с ней [...] о портсигаре из китового уса, который М. Н. подарила когда-то Горькому. [...]

Газеты, как всегда, тошнотворны. О Господи милостивый, — думаешь утром, опять [...] то же: «мы взяли ... мы оставили ... без перемен» — и конца этой стервотной драке [...] не видно! [...]

9 ч. веч. Опять наслушался уверений, что «вот-вот» [...] В порту все то же, до сих пор непонятное, за последнее время особенно, вследствие каких [вероятно, «каких-то». — М. Г.] непрерывных уходов, приходов, — контр-миноносец и два маленьких, все бегающих и по рейду и куда-то в даль.

Купил — по случаю! — 11 яиц за 88 р. О, анафема, чтоб вам ни дна, ни покрывки — кругом земля изнемогает от всяческого изобилия, колос чуть не в 1/2 аршина, в сто зерен, а хлеб можно только за великое счастье достать за 70-80 р. фунт, картофель дошел до 20 р. фунт и т. д.! [...] Электрительства почему-то нету. (Я таки жег за последнее время тайком, — «обнаглел»).

21. VII./3. VIII.

В газетах хвастовство победами над Колчаком, в Алешках и над колонистами, — на Урале «враг в панике, трофеи выясняются» — всегда не иначе, как «трофеи!» [...] А крестьяне будто бы говорят на великолепнейшем русском языке: «Дайте нам коммуны, лишь бы избавьте нас от кадетов!» [...]

Отнес свои рассказы Туган-Барановской. Очень приятна, смесь либеральной интеллигентности с аристократизмом.

Погода отличная, но, хотя я и спокоен сравнительно сегодня, все таки, как всегда, отношение ко всему как во время болезни. Все чуждо, все не нужно, все не то... Многие говорят, что им кажется, что лето еще не начиналось.

Масло фунт уже 160 р., хлеб можно доставать за 90 фунт. Сейчас 4 ч., как всегда, кто-то играет, двор уже почти весь в тени, небо сине-сероватое, акации темно-зеленые, за ними белизна стен в тени и в свете.

[Вера Николаевна в своей записи от 21 июля/3 августа тоже жалуется на дороговизну, а потом пишет:]

Исход немецкого восстания пока еще неизвестен. Передают, что немцы борются мужественно. Все Сергиевское училище на фронте, юнкера в подавляющем большинстве евреи. Среди колонистов много офицеров, скрывающихся от большевиков. Рассказывают, что восстание произошло из-за того, что большевики явились реквизировать лошадей, а колонисты воспротивились. Произошла драка, в результате — несколько убитых коммунистов. Тогда был послан в колонии карательный отряд, который и был встречен вооруженной силой, — много оружия было зарыто в земле.

Мы находимся в напряженном состоянии. Волнуемся. [...]

Заходим к Кондакову³⁵! Над ним живут немцы. Кого-то арестовали, как заложника. [...]

[Запись Ив. Ал. Бунина:]

22. VII./4. VIII.

Почему-то выпустили газеты — «Известия» и «Сов. власть» — хотя сегодня понедельник. Ничего особенного. Махно будто бы убил Григорьева, «война» с колонистами продолжается, красные «дерутся как львы», — так и сказано, — взяли Александровку [...] это напечатано жирным шрифтом, «трофеи выясняются», но между строк можно прочесть, что дело это еще далеко не потушено; говорят даже, что немцы уже перерезали ж. д. на Вознесенск. На базаре еще более пусто и еще более дорого. Прекрасное утро. Прочитав «Известия» на столбе, встретил Ив. Фед. Шмидта. Он зашел ко мне. — Кабачки нынче 50 р. десяток.

Матросы пудрят шеи, носят на голой груди бриллиант[овые] кулоны. Госуд. Межд. Красный

Крест чрезвычай[айно] переводит деньги за границу, арестовывают членов этого креста для отвода глаз.

Как отвыкли все писать и получать письма!

Скучно ужасно, холера давит душу как туча. Ах, если бы хоть к чорту на рога отсюда! [...]

[Вера Николаевна записывает:]

22 Июля/4 августа.

Дела Деникина идут хорошо. Уже давно носят слухи, что большевики вот вот уйдут. Комиссары нервничают, некоторые уже собираются отправлять свои семьи из Одессы. Другие умоляют тех, кого они охраняли эти месяцы, спасти близких при добровольцах.

Слухи идут волнами. Поднимаются, поднимаются, потом падают. Большевики успокаиваются, а среди нас наступает уныние. [...]

Ведро воды стоит от 5 руб. до 10, если принести к нам, а кто дальше живет, еще дороже.

[Запись Бунина:]

23. VII./5. VIII.

Снова прекрасный летний день, каких было много, — то же серовато-синее чистое небо, зелень акаций, солнце, белизна стен, — и никакой видимой перемены, все буднично. А меж тем вчера, как никогда, была уверенность, что нынче должна быть перемена непременно.

Вчера после трех пришел Кондаков, безнадежно говорил о будущем, не веря в прочность ни Колч[ака], ни Деникина, вспоминал жестокий отзыв Мишле³⁶ и его пророчества о том, что должно быть в России и что вот уже осуществилось на наших глазах. Потом пришел Федоров и г-жа Розенталь, — принесла весть об эвакуации большев[иков] из Одессы. Кондаков не отрицает эвакуации, но говорит, что она делается для того, что

бы грабить город и куда то вывозить, расхищать награбленное, — тянут, в самом деле, все, что только можно, не только ценности, мануфактуру, остатки продовольствия, но даже все имущество ограбляемых домов, вплоть до мебели, — и для того, что бы разворовать те 50 миллионов, которые, говорят, прислали из Киева на предмет этой эвакуации. Потом прибежал Коля: у них был [неразборчиво написанное слово, поставленное в кавычки. — М. Г.], которому [неясно. — М. Г.] официально заявил об этой эвакуации. Пошел к ним. «Одесса окружена повстанцами. Подвойский прислал телеграмму об эвакуации Одессы в 72 ч., перехвачено радио Саблина — сообщает Деник[ину], что взял Очаков, совершил десант в Коблеве и просит позволения занять Одессу». [...] Как было не верить? Но вот опять день, каких было много, вышли газеты, долбящие все то же, и ни звуком не намекающие на эту передачу... [...]

Вчера говорили о новых многочисл[енных] арестах и расстрелах. Нынче похороны «доблестных борцов» с немцами [...]

4 ч. дня в городе. Читал приказы. Уныние снова. О проклятая жизнь!

[Вера Николаевна в записи от 23 июля/5 августа опять жалуется на дороговизну и на то, что продукты продолжают исчезать, а затем продолжает:]

Серкин прислал нам мяса и хлеба — тронул он меня до чрезвычайности. Вот простой человек, а какой благородный, ни за что не возьмет дорожке, чем ему самому стоило.

[...] [Про Кондакова:] Н. П. смотрит на Россию очень печально, он не верит добровольцам, не верит государственности русских людей. Ему 76 лет, но он бодрый, высокий, плотный человек, обо

всем говорит резко и уверенно. Большевиком ненавидит, как только может ненавидеть культурный человек, так много сделавший в науке. [...]

[Бунин записывает:]

24. VII./6. VIII.

[...] Ночи прекрасные, почти половина луны. В одиннадцатом часу смотрел в открытое окно из окна Веры. Луна уже низко, за домами, ее не видно, сумрак, мертвая тишина, ни единого огня, ни души, только собака грызет кость, — откуда она могла взять теперь *кость*? [...] Соверш[енно] мертвый город! На ночь опять читал «Обрыв». Как длинно, как умно нередко! А все таки это головой сделано. Скучно читать. [...] Сколько томов культивировалось в подражание этому Марку! Даже и Горький из него.

Нынче опять такой прекрасный день, жаркий на солнце, с прохладным ветерком в тени. Были с Верой в Театральном кружке.

[...] Комендант печатает в газете свое вчерашнее объявление — о лживости слухов, что они уходят: «Эвакуация, правда, есть, но это мы вывозим из Одессы излишние запасы продовольствия» и еще чего-то. Бог мой, это в Одессе-то «излишние запасы»! [...] На базаре говорят, что мужики так ненавидят большевиков, что свиньям льют молоко, бросают кабачки, а в Одессу не хотят везти.

Слух: Бэла-Кун расстрелян, прочие комиссары, пытавшиеся бежать из Венгрии, арестованы. [...]

[Из записи Веры Николаевны от 24 июля/6 августа:]

[...] Рассказывают, что Ратнер и Кулябко-Карецкий сидят в прекрасной комнате с видом на

море, стол ломится от яств. У них была Геккер, она была в ужасе, что они в чека и вдруг... такое изобилие. Сидят себе социалисты и спорят об оттенках, каждый своей партии — и какое им дело до действительной жизни. [...]

Почти весь день ощущаю голод...

Одесса имеет теперь новую черту — в воздухе раздается щелканье. Дети почти все в деревянных сандалиях.

Вечером, как всегда, наши сожители играют в домино, а затем Ян отправляется к ним распить одну бутылку вина. Я же пишу при светильниках дневник...

[Из записей Ив. Ал. Бунина:]

25. VII./7. VIII.

Во всех газетах все то же, что вчера. [...] Возвращаясь, чувствовал головокружение и так тянуло из пустого желудка, — от голода. В магазин заходил — хоть шаром покати! «Нечего есть!» — Это я все таки в первый раз в жизни чувствую. Весь город голоден. А все обычно, солнце светит, люди идут. Прошел на базар — сколько торгующих вещами. На камнях, на соре, навозе — кучка овощей, картошек — 23 р[убля] ф[унт]. Скрежетал зубами. «Революционеры, республиканцы, чтоб вам адово дно пробить, дикари проклятые!»

«Распаковываются», — говорит один. Да, м[ожет] б[ыть], сами ничего не знают и трусят омерзительно. Другие твердят — «все равно уйдут, положение их отчаянное, про победы все врут, путь до Вознесенска вовсе не свободен» и т. д. [...]

Вечером. Опять! «Раковский привез нынче в 6 ч. вечера требование сколь можно скорее оставить Одессу». [...]

Какая зверская дичь! «Невмешательство»! Такая огромная и богатейшая страна в руках дере-

щихся дикарей — и никто не смирит это животное!

Какая гнусность! Все горит, хлопает деревянными сандалиями, залито водой — все с утра до вечера таскают воду, с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить, что сожрать. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все прихлопнуто, все издохло. Да, даром это не пройдет! [...]

Грабеж продолжается — гомерический. Ломбард — один ломбард — ограблен в Одессе на 38 милл. ценностями, т. е. по теперешнему чуть не на 1/2 миллиарда!

26. VII./8. VIII.

Слышал вчера, что будут статьи, подготовляющие публику к падению Венгрии. И точно, нынче [...]

Ужас подумать, что мы вот уже почти 4 месяца ровно ничего не знаем об европейских делах — и в какое время! — благодаря этому готентотскому пленению!

Вечером. Деникин взял, по слухам, Корестовку, приближается к Знаменке, взял Черкассы, Пирятин, Лубны, Хотов, Лохвацу, весь путь от Ромодан до Ромен. Народ говорит, что немцы отбили Люстдорф. [...] У власти хватило ума отправлять по деревням труппы актеров — в какой [вероятно, «какой-то». — М. Г.] деревне, говорят, такая труппа вся перебита мужиками, из 30 музыкантов евреев, говорят, вернулось только 4.

Позавчера вечером, идя с Верой к Розенберг, я в первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, человека с наклеенными усами и бородкой. Это так ударило по глазам, что я в ужасе остановился как пораженный молнией. Хлеб 150 р. фунт.

[Сбоку приписано:] Зажглось электричество, — топят костями.

27. VII./9. VIII.

«Красная Венгрия пала под ударами империалистических хищников». [...] «Восстание кулаков» растет, — оказывается и под Николаем [вероятно, Николаевым. — М. Г.] началось то же, что и под Одессой, хотя, конечно, и нынче то же, что читаю уже 3 месяца буквально каждый день: «восстание успешно ликвидируется». С одесск[ого] фронта тоже победоносные [следует неразборчиво написанное слово. — М. Г.], но народ говорит, что немцы опять взяли Люстдорф. [...] Сейчас опять слышна музыка — опять «торжеств[енные] похороны героев». Из-за [из? — М. Г.] этого сделана какая-то дьявольская забава, от которой душу переворачивает. — Масло 275 р. фунт.

[Вера Николаевна в записи от 27 июля/9 августа, между прочим, рассказывает:]

[...] гулять по улицам тоже противно...

— Я не могу видеть их. Мне противна вся плоть их, человечина, как-то вся выступившая наружу, — говорит Ян теперь почти всегда, когда мы с ним идем по людным улицам.

И вот на-днях [...] очень милая женщина, привела меня в архиерейский сад [...] на Софийской улице, сзади архиерейской церкви. [...] фруктовые деревья, синее море, сверкающее из-за них, зеленая трава, на которую можно лечь. [...] Непонятно, почему большевики пропустили этот райский уголок, как не добрались они до него? Ну, как бы не сглазить...

Теперь я каждое утро провожу там, иногда одна, иногда с кем-нибудь из знакомых. Как он уединен, как хорошо он спрятан от глаз улицы!

Здесь место встреч самых ярких контр-революционеров. [...] Бывают в нем Кондаков Никод. Павлович со своей секретаршей. [...] Он живет в квартире проф. Линиченко, который обманул чекистов и где-то скрывается. Из-за этого были неприятности у Н. П. с большевиками во время обыска и требования, чтобы он указал, где спрятан его хозяин.

Никодим Павлович не голодает, так как его секретарша очень энергичный и ловкий человек, умеет доставать провизию. [...] Но стирать свое белье Кондакову приходится самому, а ему 76 лет, он — мировой ученый.

[Запись Бунина:]

28. VII./10. VIII.

«К оружию! Революция на Украине в опасности!» [...] «[...] Мы на Голгофе... Неумолимо сжимаются клещи Деникина и Петлюры...» На фронте, однако, везде «успехи», все восстания успешно ликвидируются (в том числе и новые — еще новые! — на левом берегу Буга), «красные привыкли побеждать», «Деникин рвет и мечет от своих последних неудач», «набеги остатков Петлюровщины уже совсем выдохлись». Все напечатано в одной и той же «Борьбе», почти рядом! [...]

3 ч. Гулял. Второй день прохладно, серо. Скука, снова будни и безнадежность. Глядел на мертвый порт [...] На ограде лежит красноармеец, курит. Обмотки. — И желтые башмаки, какие бывают от Питонэ, Дейса — отнятые, конечно, у буржуя. [...]

[В этот же день Вера Николаевна записывает:]

Очень тяжелые известия об арестованных профессорах. Свирипствует Калининченко. Говорит им «ты», все время грозит расстрелами... Но пока расстрелян один Левашов. За него хлопотали мно-

гие, вплоть до еврейской общины, которая доказывала, что несмотря на то, что он был ярый юдофоб, он у постели больного никогда не делал никакой разницы, бывал всегда безупречен. Щепкин отказался хлопотать о нем...

О расстреле Левашова прежде всего слышали от сторожа, который его узнал в морге среди привезенных трупов расстреленных.

Говорят, профессор Щербаков заболевает психически. [...]

Удается спасти многих госпоже Геккер. Я знаю, что благодаря ей, спасен один чиновник, знакомый Куликовских, он при губернаторе заведовалграничными паспортами. Удалось доказать, что он выдал по чьей-то просьбе паспорт и одному из теперешних властителей. [...]

Но чаще всего удается освобождать из ч. к. за деньги. Освобождение художника Ганского стоило семьдесят тысяч рублей. Торговались долго. Арестован он был, как крупный землевладелец и яростный юдофоб. Сидел он на Маразлиевской и писал портреты своих тюремщиков. [...]

А сколько ошибок — расстреливают одного, вместо другого. Бывают и чудесные спасения, например, Клименко...

Сводки, даже официальные, сообщают ежедневно, что Деникин берет город за городом. Настроение у нас поднимается. Появляются новые слухи, каждые два, три дня — большевики уходят. Некоторые дома освобождаются от нынешних властителей — видишь, как неизвестно куда увозится мебель, инвентарь, зеркало, шкаф и т. д. Встречаю красноармейца на извозчике с двуспальной кроватью. Куда он ее тащит? [...] Слухов рождается опять такое множество, что голова идет кругом.

Уже многие видели десант в Люстдорфе и на Большом Фонтане. Многим мерещатся корабли в

море. [...] чудятся войска, приближающиеся со стороны Николаева...

Теперь большинство населения, как говорит наша горничная Анюта, «жаждет перемены власти». Всем надоело жить впроголодь, таскать воду из порта, слышать постоянную стрельбу, сидеть в темноте и, несмотря на весь страх, который желает власть внушить своим подданным, [народ. — М. Г.] совершенно ее не уважает. Да, внешне большевиков почти никто не принял и не примет, конечно, никогда. Но внутренне большевизм уже многих развратил и, вероятно, будет развращать еще долго. [...]

[...] Всем хочется и сладко есть, и мягко спать, и по-модному одеваться как раз в то время, когда проповедуется чуть ли не аскетизм и требуется уничтожение всякой собственности.

[Из записей Ив. Ал. Бунина:]

29. VII./11. VIII.

Был в Театральном, чтобы решить с Орестом Григор[ьевичем] Зеленюком (?) об издании моих книг. Он занят. Видел много знакомых. Погода чуть прохладная, превосходная, солнечный день. Море удивит[ельной] синевы, прелестные облака над противополож[ным] берегом.

Туча слухов. Взята Знаменка, Александрия, вчера в 12 ч. «взят Херсон» — опять! «Эвакуация должна быть завершена к 15 авг.». [...] Поговаривают опять о Петлюре, будь он проклят [...] многому не верится, все это уже не возбуждает; но кажется, что-то есть похожее на правду. [...]

Бурный прилив слухов: взят Орел, Чернигов, Нежин, Белая Церковь, Киев! [...] Над Одессой летают аэропланы. [...]

30. VII./12. VIII.

Ничего подобного! [...] Издеваются над слухами. Да, я м[ожет] б[ыть], прав — многое сами пускают.

«Чрезкомснаб, Свуз» — количество таких слов все растет!

4 ч. Был утром у Койранского. Он пессимистичен. Уходя, встретил З. «Дайте сюда ваше ухо: 15 го!» И так твердо, что сбил меня с толку.

1./14. VIII.

Дней шесть тому назад пустили слух о депеше Троцкого: «положение на фронте улучшилось. Одессу не эвакуировать.» Затем об [этом. — М. Г.] не было ни слуху, ни духу и власть открыто говорила об эвакуации. Но третьего дня депешу эту воскресили, а вчера уже сами правители совали ее в нос чуть не всякому желающему и уже говорили, что она только что получена вместе с известием, что с севера на Украину двинуто, по одной версии, 48 дивизий, — цифра вполне идиотская, — по другой двадцать дивизий, по третьей — 4 латышских полка и т. д. И цель была достигнута — буквально весь город пал духом, тем более, что частично эта «эвакуация» и впрямь была прекращена, — т. е. прекратили расформировывать советск[ие] учреждения и служащим заявили диаметрально-противоположное тому, что заявляли позавчера-вчера. Соответственно с этим сильно подняли нынче тон и газеты: «Панике нет места!» «Прочь малодушие!» [...] «передают, что Троцкий двинул с Колчаковского фронта через Гомель», — каково! — «войска на Украину» [...] Все это, конечно, брехня, — известно то, что позавчера состоялось очень таинств[енное] заседание коммунистов, на котором было констатировано, что положение отчаянное, что надо

уходить в подполье, оставаться по мере возможности в Одессе с целью терроризма и разложения Деникинцев, когда они придут, а вместе с тем и твердо решено сделать наглую и дерзкую мину при плохой игре, «резко изменить настроение в городе», — однако, факт тот, что они опять остаются!

Газеты нынче цитируют слова Троцкого, где-то на днях им сказанные: «Я-бы был очень опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист; но когда мне говорят, что я плохой полководец, то я отвечу, что я учусь и, научившись, буду хорошим!» [...]

В Балте «белые звери устроили погром, душу леденящий: убито 1300 евреев, из них 500 м а л ю т о к ».

Немцев восстание действительно заглохло. Нынче газеты победоносно сообщают, что многие «селения восставших кулаков снесены красными до основания». И точно — по городу ходят слухи о чудовищных разгромах, учиняемых красноармейцами в немецк[их] колониях. Казни в Одессе продолжают с невероятной свирепостью. Позапрошлую ночь, говорят, расстреляли человек 60. Убивающий получает тысячу рублей за каждого убитого и его о д е ж д у. Матросы, говорят, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от безнаказанности: — теперь они часто врываются по ночам к заключенным уже без приказов [...] пьяные и убивают кого попало; недавно ворвались и кинулись убивать какую-то женщину, заключенную вместе с ребенком. Она закричала, что бы ее пощадили ради ребенка, но матросы убили и ее, и ребенка, крикнув: «дадим и ребеночку твоему м а с л и н к у!» Для потех выгоняют некот[орых] заключенных во двор чрезвычайки и заставляют бе-

гать, а сами стреляют, нарочно долго делая промахи.

Вчера ночью опять думал чуть не со слезами — «какие ночи, какая луна, а ты сиди, не смей шаг сделать — почему?» Да, дьявол не издевался бы так, попади ему в лапы!

Вечером. Слухи: взят Бобруйск, поляками. Гомель вот-вот возьмут [...] добровольцы будто-бы верстах в 30-и от Николаева. А про Херсон, кажется, соврали — теперь уж говорят, что взят будто-бы только форштат Херсона.

Нынче утром был деловой разговор с этим Зелюником, что-ли. Хочет взят «Господ[ина] из Сан-Фр[анциско]», все рассказы этой книги за гроши. [...]

Репортер из «Рус[ского] Слова» — «инспектор искусств» во всей России. Говорят, что сын Серафимовича³⁷ вполне зверь. Сколько он убил! Отец одобряет, «что ж, это борьба!»

2./15. VIII.

В «Борьбе» передовая: «Человечество никогда еще не было свидетелем таких грандиозных событий... в последней отчаянной схватке бьются прихвостни контр-революции с революцией на Украине... Наша победа близка, несмотря на наши частичные неуспехи...» и т. д. [...] «Хищники хотят посадить на трон в Венгрии Фердинанда румынского...» но — «мировая революция надвигается... в Англии стачка хлебопекров и полицейских... в Гамбурге тоже забастовка...», в Турине уличные бои, в городах Болгарии советская власть... Поляки издеваются в Вильне над социалистами... выпорол раввина Рубинштейна, известн[ого] журналиста С. Анского, известн[ого] поэта Иоффе, критика Пичета, писателя Байтера... В Одессе вчера важное заседание пленума Совдепа, ораторы громили

контр-революционеров, появившихся среди рабочих в Одессе. [...] Вообще тон всех газет необыкновенно наглый, вызывающий, победоносный — решение «резко изменить настроение Одессы» осуществляется. Цены падают, хлеб уже 15-13 р. ф., холера растет, воды по прежнему нет, весь город продолжает таскать ее из [неразборчиво написанное слово. — М. Г.] колодцев, что есть во дворах некот[орых] домов. Буржуазии приказывают нынче явиться на учет, — после учета она вся будет отправлена на полевые работы. Угрожают, что через несколько дней будет обход домов и расстреляют «на месте» тех буржуев, кои на этот учет не явились. [...]

Щепкин, который недавно закрыл Университетскую церковь и отправил в чрезвычайку список тех служителей, кои подали протест против этого закрытия, на днях говорил открыто, что надо «лампу прикрутить», т. е. уходить в подполье, а теперь снова поднял голову.

4./17. VIII.

Вчера опять у всех уверенность, возбужденность — «скоро, скоро!», утверждения, что взят Херсон, Николаев. [...] Пошел слух по городу, что кто-то читал в Крымских газетах, что Колчак взял Самару, Казань (а по словам иных — и Нижний!). Вечером секретная сводка такова: Саратов обойден с [северо]-з[апада], взят район Глазуновки (под Орлом — и даже Орел!), взят Бахмач, поляки подошли к Гомелю, Киев обстреливается добровольцами. [...]

Нынче опять один из тех многочисл[енных] за последние месяцы дней, который хочется какнибудь истратить поскорее на ерунду — на бритве, уборку стола, франц[узский] язык и т. д. Конечно, все время сидит где-то внутри надежда на что-то,

а когда одолевает волна безнадежности и горя, ждешь, что может быть Бог чем-нибудь вознаградит за эту боль, но преобладающее — все же боль. Вчера зашли с Верой в архиерейск[ую] церковь — опять почти восторгом охватило пенье, поклоны друг другу священнослужителей, мир всего того, м[ожет] б[ыть], младенческого, бедного с высшей точки зрения, но все-же прекрасного, что отложилось в грязной и неизменно скотск[ой] человек[е-ской] жизни, мир, где [неразборчиво написанное слово. — М. Г.] как будто кем-то всякое земное страдание, мир истовости, чистоты, пристойности... Вышли в архиерейск[ий] садик — на рейде два миноносца, а за молом 2 транспорта: опять привезли русских солдат из Фр[анции]. Значит, опять «две державы» — Франция и «советск[ая] власть» честь честью сносятся, ведут дело, переговоры — и свидетельство того, что Одесса далека от освобождения.

Встретили знакомых, все: «погодите еще судить, почем знать, м[ожет] б[ыть], это вовсе не то» и т. д. Нынче это, конечно, в газетах подтверждается. А газета (читал только «Борьбу») ужасна — о как изболело сердце от этой скотской грубости! Опять свирепые угрозы — «Красный террор, массовое уничтожение всех подлых гадин, врагов революции должно стать фактом!» — точно этого факта еще нет! [...]

6./19. VIII.

В субботу 3-го взял в «Днепро-Союзе» восемь тысяч авансом за право перевести некот[орые] мои рассказы на малорусский язык. Решение этого дела зависело от Алексея Павловича Марковского, с ним я и виделся по этому поводу.

Вчера твердый слух о взятии Херсона и Николаева. Красные перед бегством из Николаева

будто бы грабили город и теперь, грабя по пути, идут на Одессу — уже против большевиков. Говорят, что С. и Калининченко бежали в 2 ч. ночи с 4 на 5 на катере. [...] Там, где обычно святцы — перечисление убийств, совершенных революционерами. Хлеб 35 р., ветчина 280 р.

Нынче проснулся оч[ень] рано. Погода превосходная.

Когда у Чрезвычайки сменяют караул, играют каждый раз Интернационал. [...]

Был 2 раза в архиерейском саду. Вид порта все поражает — мертвая страна — все в порту ободранное, ржавое, облупленное... торчат трубы давно [неразборчиво написано. — М. Г.] заводов... «Демократия!» Как ей-то не гадко! Ленъ, тунеядство. [...] Как все, кого вижу, ненавидят большевиков, только и живут жаждой их ухода! Прибывшие из Франции все дивятся дороговизне, темному, голодному городу. [...] Говорят, что много красных прибежало из под Николаева — больные, ободранные. [...]

9./22. VIII.

В «Борьбе» опять — «последнее напряжение, еще удар — и победа за нами!» [...] Много учреждений «свернулось», т. е., как говорят, перевязали бумаги веревками и бросили, а служащих отпустили, не платя жалования даже за прежние месяцы; идут и разные «реквизиции»: на складах реквизируют напр. перец, консервы. [...]

По перехвач[енному] радио белых они будто бы уже в 30-40 верстах от Одессы. Господи, да неужели это наконец будет! [...]

Погода райская, с признаками осени. От скверного питания худею, живот пучит, по ночам просыпаюсь с бьющимся сердцем, со страхом и тоской. [...]

Грабеж идет чудовищный: раздают что-попало служащим-коммунистам — чай, кофе, какао, кожи, вина и т. д. Вина, впрочем, говорят, матросня и проч. товарищи почти все выпили ранее — Мартель особенно. [...]

«Я вам раньше предупреждаю» — слышу на улице. Да, и язык уже давно сломался, и у мужиков, и у рабочих.

Летал гидроаэроплан, разбрасывал прокламации Деникина. Некоторые читали, рассказать не умеют. [...]

[На этом кончаются записи этого периода. Дальнейшие события рассказаны в дневнике Веры Николаевны. Привожу выдержки:]

11/24 августа.

Вчера по дороге в архиерейский сад я встретила Ол. К. З., которая сообщила, что в Люстдорфе десант. Я не придавала значения этому сообщению [...] потом [...] слышала рассказ о 16 вымпелах у Люстдорфа, но все же отправилась в библиотеку, где Л. М. Дерibas подтвердил мне о десанте и прибавил, что большевики снаряжаются, чтобы защитить Одессу. [...] После завтрака зашла Марг. Ник. [Полынова] и сообщила [...], что лучше не выходить после 4-х на улицу. Но мы, конечно, пошли. На Елизаветинской долго сидели [...] на балконе и видели, как удирали на извозчиках и в колясках матросы, евреи и другие деятели революции. Причем все удиравшие держали ружья наперевес, впрочем, некоторые довольствовались револьвером. Смешнее всего, что никто на них не нападал. Мы долго наблюдали, как выходили и выезжали из Комендатуры перереяженные люди. Один в синей блузе, которая очень топорщилась, вероятно, под ней много уносил с собой этот коммунист. Один велосипедист тащился че-

репашьим шагом, — к велосипеду был привязан белый сверток, конечно, очень тяжелый.

[...] Длинный узкий снаряд, пробивший дом насквозь с Преображенской на Елизаветинскую, ударился в дом, что на углу Софийской и Торговой, но не разорвался и, сбив слегка штукатурку, упал на мостовую. Я видела белый шарообразный пар над мостовой, а выше белый столб, похожий на известковый.

Сегодня утром я проснулась от пушечной пальбы. Было 6 часов утра. Ян уже не спал, мы мигом оделись. Когда пальба прекратилась, Ян исчез. Он был в соборе, и при нем вынесли из алтаря Георгиевское знамя.

Я вышла на базар. Цены на все очень поднялись. Потом мы с Яном встречали на Херсонской въезжавшие автомобили с добровольцами: масса цветов, единодушное ура, многие плакали. Лица у добровольцев утомленные, но хорошие.

5 ч. 30 м. дня. Опять пальба.

Красный балаган окончен, все звезды сняты, красная тюрьма уже не красуется при въезде на Николаевский бульвар. Одна женщина хорошо сказала про это большевистское украшение: «тюрьма свободы».

Полтора часа идет бомбардировка. Говорят, за села на Чумке кучка большевиков. В порту начался десант, вот они и палат.

Погода дождливая. Настроение тревожно-серьезное.

12/25 августа.

[...] Мы решили уехать из Одессы, при первой возможности, но куда — еще не знаем. Власть еще не укрепилась. Нужно подождать, оглядеться. Жутко пускаться теперь куда-либо, но нельзя же вторую зиму проводить в этом милом городе.

13/26 августа.

Познакомились с Апухтиным, который приехал сюда в качестве товарища министра печати. Высокий брюнет с пушистой бородой, без левой руки. Он организует агитационный отдел при добровольческой армии. Занял то помещение, где был «Буп» и назначил для устройства всего Клименко. Почему? Не знаю. — Приглашают Яна. Ян был у Апухтина и находит его несведущим в литературе человеком.

15/28 августа.

Вчера вели в бывшую чрезвычайку женщину, брюнетку, хромую, которая всегда ходила в матроске — «товарищ Лиза». Она кричала толпе, что 700 чел[овек] она сама расстреляла и еще расстреляет 1000. Толпа чуть не растерзала ее. При Яне провели ту хорошенькую еврейку, очень молоденькую, которую мы видели на бульваре в тот день, когда Ян совершенно пришел в уныние, увидя на ее руке повязку с буквами Ч. К. Она еще кокетничала в тот вечер с очень молодым и щеголеватым товарищем с такой же повязкой...

В газетах пишут, что арестован Северный, который так раскаивался, что выпустил из своих рук Колчака.

Была у Розенталь. Она полна слухов о зверствах, которые теперь совершаются. Вероятно, работают под добровольцев большевики. Необходимо, чтобы как можно скорее прибыла в Одессу твердая власть.

Киев пал.

16/29 августа.

Неприятная новость: Кунянк взят назад. [...]

Добровольческая армия основывает во всех завоеванных городах газету. В Одессу для этой цели и прислан Апухтин, который во главе своего

агитационного дела поставил Клименко. [...] Клименко поручает Берлянду заведование театрами и изданием брошюр, книг. Берлянду, который был вхож в «буп». [...]

Ник. Бор. П. осматривал чрезвычайку. Впечатление гнетущее. Во дворе рогожи, пропитанные кровью, веревки. Это для того, чтобы привязывать к телу груз, перед тем, как бросить его в море. Одежды, вернее остатки одежд. Особенно тяжелое впечатление производят подвалы, где держали обреченных перед расстрелом. Темницы в Венеции кажутся пустяками.

Товарищу Лизе, которая выкалывала глаза перед расстрелом, лет 14-16. Что за выродок!

Около Чрезвычайки волнуется народ. Настроен антисемитски. Одна старушка очень плакала. Я спросила, о чем? — «Племянника убили, гимназиста 7-го класса».

Говорят, что палачей будут вешать на площади. Народ уверяет, что их будут возить и показывать в клетках.

17/30 августа.

[...] Панихида, молебен в соборе и парад на площади. Я, к сожалению, не была. Ян рассказывал, что за панихидой отдельно молятся о бояринах (Корнилове, Алексееве и, вероятно, Духонине) Лавре, Михаиле и Сергии. За молебном провозглашали многая лета «Верховному Правителю Государства Российской» благоверному боярину Александру (Колчаку).

На площади Шиллинг провозгласил: За наших союзников англичан! И только? — Шиллинг похож на немца «как встал, так и простоял, не двигаясь, все богослужение». Ян на площади подошел к нему. Около него оказался Воля Брянский⁴¹, который их и познакомил. Воля, кажется, в высоких чинах.

Ян говорит, что приятно видеть такой порядок. Все время играли Преображенский марш. Я никогда не думала, что Ян может находиться в таком патриотическом настроении. Он весь горит.

Мы часто заводим речь о будущем. И не можем решить, отправляться ли нам в Крым или за границу, или оставаться здесь. Здесь очень приелось, а удастся ли устроиться в Крыму? [...]

18/31 августа.

[...] Надежда попасть этой осенью в Москву у меня пропала. Как у меня болит сердце за оставшихся там. [...] И нет ни сил, ни возможности помочь им. [...] Неужели не увижу я их? [...]

Был Воля Брянский с Георгием в погонах. [...] он начальник по гражданскому управлению. Захлебывается от своего высокого положения. [...] Отец — товарищ министра при доб[ровольческой] армии. [...] Воля рассказывал, что в Керчи было восстание и он бережет шашку, на которой следы крови! Все таки, все это очень чуждо мне. [...]

20 авг./2 сент.

Последние дни Ян очень волновался из-за газеты, которую основывает Добровольческая армия. Три дня сряду были заседания. Наконец, сговорились. Редактором будет Дм. Ник. Ов[сянко]-Куликовский. Сначала против него восстал Койранский в очень резкой форме. Но Ян уладил. [...] Все сговорились и почти каждый стал заведующим тем или иным отделом. Сегодня обсуждали гонорары. [...]

24 авг./6 сент.

[...] Вчера был Валя Катаев. Читал стихи. Он сделал успехи. Но все же самомнение его во много раз больше его таланта. Ян долго говорил с ним и говорил хорошо, браня и наставляя, сове-

товал переменить жизнь, стать выше в нравственном отношении, но мне все казалось, что до сердца Вали его слова не доходили. Я вспомнила, что какая-то поэтесса сказала, что Катаев из конины. Впрочем, может быть, подрастет, поймет. Ему теперь не стыдно того, что он делает. Ян говорил ему: «Вы — злы, завистливы, честолюбивы». Советовал ему переменить город, общество, заняться самообразованием. Валя не обижался, но не чувствовалось, что он всем этим проникается. Меня удивляет, что Валя так спокойно относится к Яну. Нет в нем юношеского волнения. Он говорит, что ему дорого лишь мнение Яна, а раз это так, то как-то странно такое спокойствие. Ян ему говорил: «Ведь если я с вами говорю после всего того, что вы направили, то, значит, у меня пересиливает к вам чувство хорошее, ведь с Карменом я теперь не кланяюсь и не буду кланяться. Раз вы поэт, вы еще более должны быть строги к себе». Упрекал Ян его и за словесность в стихах: «Вы все такие словесники, что просто ужас».

Валя ругал Волошина. Он почему-то не переносит его. Ян защищал, говорил, что у Волошина через всю словесность вдруг проникает свое, настоящее. «Да и Волошиных не так много, чтобы строить свое отношение к нему на его отрицательных сторонах. Как хорошо он сумел воспеть свою страну. Удаются ему и портреты».

Был присяжный поверенный, офицер, потерявший ногу. [...] Он просидел 4 дня в харьковск[ой] чрезвычайке. Очень накален против евреев. Рассказывал, как при нем снимали допросы, после чего расстреливали в комнате рядом «сухими выстрелами». Раз [...] с ним сидел молоденький студент, только что кончивший гимназию, и горько плакал. Его вызвали на допрос в соседнюю комнату, обратно принесли с отрезанным ухом, язы-

ком, с вырезанными погонами на плечах — и все только за то, что его брат доброволец. Как осуждать, если брат его до конца дней своих не будет выносить слова «еврей». Конечно, это дурно, но понятно. [...]

Мне очень жаль Кипенов, Розенталь и им подобных. Тяжело им будет, какую обильную жатву пожнут теперь юдофобы. Враги евреев — полуграмотные мальчишки [...], которые за последние годы приобрели наглость и деньги, вместо самых элементарных знаний и правил общежития.

Вечером были Розенталь, Кипен, Недзельский, который принимает участие в какой-то газете, где будут только русские.

[...] Я только что прочла Наживина «Что же нам делать?» [...] Он знает народ, знает мужика. Я в первый раз ощутила весь ужас, который произвела революция, как-то впервые ощутила это всем организмом.

29 авг./11 сент.

[...] Была у Кондакова. Он громил газету. Со страшной злобой говорил о Овсяннико-Куликовском. [...]

Не знаю, будет ли Ян читать лекцию. Но то, что он написал насчет милосердия меня очень радует. [...] Зная, что он перенес за время большевиков, я боялась, что он не станет писать. А теперь я покойна. [...]

5/18 сентября.

[...] Во-первых, Брянский молод для своего положения, чувствуется, что он и сам удивлен этому и часто говорит лишнее, во-вторых, он по природе своей несерьезный человек, в сущности любит выпить, закусить, в пьяном виде пофортить [...], в третьих, нет у него государственного понимания, и это самое печальное. Правда, он не-

глуп, очень способен, цепок, быстро во всем разбирается. Но все это, так сказать, без верхнего этажа. [...] Он, между прочим, рассказал, что теперь он обеспечен, так как ему посчастливилось купить дешево табаку и продать его дорого. [...] Он рассказывал, что в нескольких местах приходили делегации от крестьян с выражением неудовольствия, что добровольческая армия за «жидов», что крестьяне жалеют, что не встали за Григорьева или Махно, так как те «против жидов».

Перехвачена 61 телеграмма о том, чтобы задерживать ввоз в Одессу товаров. Ясно, падает цена на хлеб, и хотят опять взвинтить.

В Севастополе началось брожение. Вероятно, будут приняты меры. Закрыта газета «Прибой». Недовольны и «Югом».

Заходил Кипен. [...] Говорили, конечно, о евреях. Он не понимает, в чем дело. Ему все кажется, что ненависть к евреям у класса, у власти, тогда как она у [...] народа, вернее у простонародья, которое рассуждает так: революцией кто занимался главным образом? — евреи. Спекуляцией кто? — евреи. Значит, все зло от евреев. И попробуй разубедить их. Я же уверена, что уничтожь еврейский вопрос — и большая часть еврейства отхлынет от революции. А этого большинство не понимает или не хочет понять. [...]

Стук в дверь, шум. Я подхожу к двери, открываю ее и вижу военного. Слышу, как он спрашивает Людмилу: «Здесь живет академик Бунин?» Я выхожу в прихожую и здороваюсь. Он представляется: «Пуришкевич»⁸⁸.

Я: Очень приятно, войдите. Ив. Ал., вероятно, скоро вернется.

П: Мне кто-то передавал, что Иван Алексеевич хотел бы со мной познакомиться.

Я: Да, он будет жалеть, если вы не дождетесь его.

П: Мне некогда. Передайте Ив. Ал. программу нашей партии. Я надеюсь, что и он будет сочувствовать. В ней два главных пункта — конституционная монархия и против евреев.

Я: Ив. Ал. не антисемит. Да кроме того, он человек не партийный.

П: Теперь все должны быть партийны.

Я: Да, это правильно. Но Ив. Ал. поэт. А поэт не может быть партийным человеком.

П: Я — тоже поэт, а в то же время я для партии сделаю все, что хотите, даже на луну влезу.

Он взял из моих рук обратно 2 экземпляра программы своей партии, оставив лишь один Ив. Ал. Прощаясь, он сказал: — А я не думал, что у Ивана Алексеевича такая молодая жена. Вы совсем девочка. [...]

Вечером приехал Воля. Привез 2 бутылки вина. Он только что с обеда от англичан. Был совершенно трезв. Оказывается, это он направил к нам Пуришкевича. Как-то Ян сказал ему, что было бы любопытно посмотреть на этого неукротимого человека. А Брянский и сказал тому, что Ян хочет с ним познакомиться, а он уже решил, что значит в партию вступит. [...]

7/20 сентября.

Я сама не своя. В газетах: в Москве восстание, к которому присоединились красные части. В конце концов, восстание подавлено. Ужасно беспокоюсь за М[итю], за родителей. Страшно думать.

Решено, что в понедельник мы в Крым не едем.

Заходила к Кондакову. Он рвет и мечет по поводу статьи Мирского о французах. Тон статьи развязный, недопустимый для добровольческой газеты. [...]

Ян целый день писал свою лекцию «Великий дурман».

8/21 сентября.

[...] Ян совсем охрип после лекции. Он не сообразил, что читать ее дважды ему будет трудно. Кроме того, он так увлекся, что забыл сделать перерыв, и так овладел вниманием публики, что 3 часа его слушали, и ни один слушатель не покинул зала. [...] Когда он кончил, то все встали и долго, стоя, хлопали ему. Все были очень взволнованы. Много народу подходило ко мне и поздравляло: Билимович, И[рина] Л[ьвовна] Ов[сяннико-]Куликовская, которая, впрочем, сказала, что одной фразы она не простит, а именно: «прочел с удовольствием» — это по поводу того, что солдаты избили автора приказа номер 1. Очень восхищалась Л., но больше всех Ник[одим] Пав[лович] Кондаков: «Ив[ан] Ал[ексевич] — выше всех писателей, сударыня, это такая смелость, это такая правда! Это замечательно! Это исторический день!» А у самого слезы на глазах. Он меня очень растрогал. Настродался, значит, при товарищах! И многие, многие подходили и говорили какие-то слова. А я? Я была не вполне удовлетворена. [...] Ян хочет кое-что выпустить.

11/24 сентября.

Свершилось то, чего я так боялась: в Москве восстание, которое подавлено в самом начале. 77 человек расстрелено, среди них Щепкин, Астров, инж. Кузнецов, Алферов и многие другие.

14/27 сентября.

Был Подгорный³⁹. Привез поклон от Чирикова, от Ладыженского. Он зиму и лето провел в Ростове с Врангелем, Балавинским. [...] Мне было странно видеть его у нас. Так и повеяло 1905 го-

дом. [...] Вероятно, я очень соскучилась по всему родному, близкому, по нашей Москве... [...]

24 сен./7 окт.

[...] 20 сен[тября] Ян вторично читал «Великий дурман». Публики было еще больше. Не все желающие попали. Слушали опять очень хорошо. Ян читал лучше, чем в прошлый раз, с большим подъемом. Хорошо написан конец. Но все же с некоторыми мелочами я не согласна. Мне хотелось бы, чтобы было меньше личного. [...]

День Добровольческой Армии прошел оживленно, щедро и со вкусом. [...] Я замечу лишь одно: большая разница с большевистскими праздниками, какое-то свободное состояние духа, можно говорить, смеяться. Мне кажется, что кровавые плакаты действуют даже на сочувствующих раздражающе. [...]

Мне очень нравится ходить по вечерам в библиотеку, почти никого нет. Читаю «Былое и думы», как хорошо! [...]

29 сен./12 окт.

[...] Деникина я не видала. Зато видел его Ян, которому он очень понравился. Он совершенно не похож на портреты. По словам Яна, он очень изящный человек с голым черепом, легко и свободно ходит. Глаза бархатные под густыми ресницами, усы черные, борода седая. Улыбка удивительно хорошая. Прост в обращении.

1/14 октября.

[...] Вчера у нас были с визитом Брянский и генерал Чернявин, начальник штаба.

Известия о Махно: взяты Бердянск, Мелитополь и Александровск. Вырезывается вся интеллигенция. О казнях Воля говорит совершенно спокойно, как будто о том, что свинью к праздникам режут. Для меня это ужас!

Чернявин человек приятный, но твердый, для него смертная казнь — необходимость, и он спокойно будет подписывать приговоры. [...]

5/18 октября.

Вчера вечером, у Недзельских, познакомились с Велиховым. Он нам понравился. Очень неглупый, хорошо разбирающийся во всем. Это тот Велихов, о котором писались некрологи, так как был слух, что он умер. По его мнению, картина в России безотрадная.

Он пережил в Ельце налет Мамонтова, рассказывал о нем. Большевики не придавали серьезного значения этому рейду, поэтому все комиссары попались в руки казакам, которые всех их перебили. Лозунг их: «спасай Россию и бей жидов». Местное население тоже относилось враждебно к евреям, так как высшие должности были заняты ими. Убит сын доктора Лапинера, сам Лапинер спасся, хотя и был арестован, убита вся семья Залкинды, Гольдмана и многие другие.

Велихову подставил казак к груди револьвер и хотел убить, как «жида», пришлось показывать паспорт. Казак сказал: «Да, дворянин жидом быть не может!»

Против собора был повешен китаец. Были и пожары. Сгорела библиотека, составленная из помещичьих, очень ценных книг.

В Ельце основан Народный университет, слушатели, главным образом, гимназистки.

Мужики по приговору закапывали в землю живых людей — 200 подписей на 1 приговоре. Чрезвычайка не очень свирепствовала: закопали живым Лопатина, после чего председатель Чрезвычайки стал галлюцинировать и нагнал такой страх на своих помощников, что все предпочитали грабить, а не убивать. [...]

В мужском монастыре теперь устроен кинематограф.

Хлеба получали по полфунта, и то очень дурного. Это в Ельце-то! Кроме картошек и пшена, ничего нельзя было достать. Молоко было, но очень дорогое.

Велиховы поселились было в своем имении, мужики относились к ним хорошо, но вскоре налетели комиссары и все у них отняли: мебель, белье, одежду и т. д. [...]

7/20 октября.

[...] Впервые Ян на службе. Ему нравится, что он ездит на машине с национальным флагом. За ним приезжает доброволец, очень милый с калмыцким лицом офицер. И к каждому слову: «Есть, Ваше Превосходительство». Все эти дни Ян оживлен, возбужден и деятелен. То бездействие, в котором он пребывал летом при большевиках, было, несомненно, очень вредно и для его нерв[ов] и для его души. Ведь минутами я боялась за его психическое состояние. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы нас не освободили добровольцы. Редко кто так страдал, как он. Он положительно не переносит большевиков, как я кошек... [...]

8/21 октября.

[...] Ян согласился взять на себя редакторство⁴⁰ только потому, что если бы он отказался, газета стала бы влачить жалкое существование, попала бы она в руки правых или же была бы под ферулой Клименко. За Яном вошел Кондаков, согласились участвовать Кипен, Шмелев, Тренев, Ценский, остался Федоров, которого бывшая редакция, не спросясь, поставила в числе сотрудников своей новой газеты «Современное Слово». Так

она поступила, повидимому, и с Койранским, и со многими другими.

28 окт./10 ноября.

[...] Вчера была у нас Ольга Леонардовна Книппер⁴¹. Странное впечатление производит она: очень мила, приветлива, говорит умно, но чувствуется, что у нее за душой ничего нет, точно дом без фундамента, ни подвалов с хорошим вином, ни погребов с провизией тут не найдешь.

Большевики к ним были предупредительны, у нее поэтому не то отношение к ним, какое у всех нас. Очень много одолжений ей делали Малиновские. Они спасали квартиру Марьи Павловны⁴². Шалапин на «ты» с Троцким и Лениным, кутит с комиссарами. Луначарский приезжал в Художественный театр и говорил речь — «очень красивую, но бессодержательную, он необыкновенный оратор».

Ек. Павл. Пешкова⁴³ совсем иссохла. Она работает в Красном Кресте, теперь поступила на службу в администрацию Зиминского театра, куда ее пристроила Малиновская. Максимка⁴⁴ — ярый большевик. Бонч⁴⁵ взял его в секретари — даже Ек. Павл. возмущается, ведь он не способен что-либо делать на таком посту. Об Алек[сее] Мак[симовиче] она ничего не знает. — Мария Федоровна⁴⁶ царит, у нее секретарь, сестра Троцкого — г-жа Каменева. [...]

Электричества опять нет. [...]

31 окт./13 ноября.

Ян сказал с большой грустью: «Бедные наши, едва ли они переживут эту зиму. Неужели мы так с ними и не увидимся? Я не верю в это».

[...] По вечерам Ян ездит в газету. [...] Я сижу и занимаюсь, если никто не заходит ко мне. Люблю, когда приходит Велихов, он очень милый

и с ним мне интересно. [...] Люблю, когда он приходит к нам с Дидрихсом. [Дитерихс? — М. Г.] [...]

Люблю, когда Ян, возвратясь домой, ужинает со мной вдвоем в моей комнате. Люблю слушать новости, которые он привез из газеты. Теперь они редко утешительны, а потому грустно, а первое время, когда мы шли вперед, были очень радостны эти наши вечера. Иногда к нам заходит милый Петр Александрович [Нилус].

Иногда мы идем на половину к Евгению Осиповичу [Буковецкому].

1/14 ноября.

Напечатан Андрэ Шенье в моем переводе. [...]

3/16 ноября.

Газета не вышла — ток прекратился ранее 5 часов, а потому не успели напечатать. По справкам оказалось, что ток прекратился лишь в районе «Южного Слова». Не вышла тоже газета «Единая Русь». Что это значит? Говорят, что нужно дать монтеру. [...] Ян поехал на заседание очень взволнованным. [...]

23 н./6 декабря.

[...] Мы опять вступили в полосу больших событий. На фронте положение очень серьезное, напрягаются последние силы. Здесь издаются строгие приказы против разгула и спекуляции. В городе слухи и о большевиках и об ориентации на немцев. [...]

У Яна за эти дни началась полемика с Мирским и Павлом Юшкевичем за то, что он заступился за Наживина. Но Ян отвечал им зло и остроумно. [...]

24 н./7 декабря.

«Новости» и «Листок» полны статьями об Юшкевиче. Оказывается, он большой писатель. Новость! Новость! [...] сегодня узнала, что и Вальбе,

и Пильский, и Тальников очень высоко ценят его, как писателя!

28 н./11 декабря.

Немцы отказались подписать мирный договор. Во Франции мобилизация, это грозит большими осложнениями. О немецкой ориентации слухи все упорнее и упорнее.

В Ростове напечатано в газетах, что на днях будет опубликован акт исторической важности. Деникин — Верховный правитель, а Врангель — Главнокомандующий.

Колчак второй раз разбит (слухи).

Речи в английском парламенте убийственны. Неужели они ничего не понимают?

2/15 декабря.

Уже декабрь. В комнатах холодно. [...] Мы опять как на иголках. Каждую минуту, может быть, придется сорваться с места. Но куда бежать? Трудно даже представить. Курс нашего рубля так низок, что куда же мы можем сунуться? Везде зима, холод. Правда, нас трудно теперь чем-либо напугать — мы знаем, что такое холод, что такое голод, но все переносится легче у себя дома.

Слухи: взят Харьков, Колчак в С. Франциско. [...]

Был на днях Петя. Рассказывал, что он видел на Жмеринке петлюровских солдат, мертвых и живых. Мертвые навалены на станциях и по линии ж. д. с объединенными собаками боками, ушами и т. д. Живые — разуты и раздеты, многие больны сypняком. Со здоровыми, которые больше похожи на тени, чем на людей, он разговаривал. Они говорили, что их взяли по набору. Он спрашивал: «Вы петлюровцы?» Они отвечали: «Нет». — «Так зачем же вы шли?» — «Так разве мы знали, по ка-

кой мобилизации нас призывают?» — отвечали они жалобно.

Был Велихов и рассказывал (со слов Ратнера), что в Ростове «Пир во время чумы». Спекулируют. Покупают валюту. Берут взятки. Теснота ужасная. Падение нравственности. [...]

Вчера происходили выборы в Думу. [...]

7/20 декабря.

Тучей саранчи, как Атилла, идут большевики. На пути своем они уничтожают все, оставляя голую землю, именно то, что больше всего надо немцам. Кажется, для беженцев с севера готовят Сабанские казармы.

Получили визы на Варну и Константинополь. Вчера на пароходе, уходившем в Варну, творилось что-то ужасное.

Крона стоит 10 рублей, марка — 34 рубля, франк — 95 рублей, и достать невозможно.

Ехать нам не миновать, но когда и куда поедем, знает один Бог. Проектов много. [...] Есть план хлопотать перед Шиллингом, чтобы он испросил разрешение у французов, чтобы они или даром или по пониженной цене перевезли нас во Францию. Ян поехал к Брянскому. А. Д. должен сегодня говорить с ген. Шиллингом.

Надежд никаких. Брянский обещал свое содействие.

9/22 декабря.

[...] Кл[именко] распространяет, что Ян перестал редактировать газету. Конечно, он ждет не дождется остаться единоличным хозяином «Южного Слова». Яну все это так противно, что взял бы все, да и бросил. [...] В пропаганде все очень заняты тем, сколько получает Ян, и цифра растет не по дням, а по часам.

10/23 декабря.

3 декабря взят Киев — официальное сообщение. Взят и Кременчуг.

Вчера митрополит Платон прибыл в Одессу. На сегодня назначена аудиенция Н. П. Кондакову и Яну. Но сейчас звонил Варшавский и сообщил, что митрополит экстренно выехал в Ростов. Его взяли на английское судно. Что это значит? Почему такое поспешное бегство?

Вчера были Велихов и Дидрихс. Мы много смеялись, старались быть веселыми. Велихов читал свои стихи. [...] Ян, как всегда, был в редакции. Говорит, что теперь ездить очень жутко. Временами слышатся выстрелы. [...]

11/24 декабря.

Ян был во многих местах. Общее впечатление: паника!

Прежде всего пошел к Кондакову, чтобы его предупредить, что митрополит Платон уехал, но Никодим Павлович уже ушел. Ек. Н., его секретарша, говорила, что положение отчаянное, что жена Шиллинга уже отправлена в Новороссийск на английском судне.

По дороге Ян встретил Кондакова и они отправились к французам хлопотать насчет парохода.

Слух, что Одессу займут 21 декабря.

Ян отправился к Билимовичу в округ. [...] Затем он пошел в пропаганду. Там говорят, что дела очень плохи. Есть слух, что предполагается внутреннее восстание. Затем он зашел к Б. Вл. Юрлову, который сообщил, что были большие аресты. Он очень ругал власть, говорил, что здесь Бог знает, что делается. [...] Успокоительные вести только из Константинополя, что в Одессу приходят английские пароходы, в порту очищается для них место.

В «Мессажери» Ян узнал, что «Данюб» не пойдет, а 2 января идет другой пароход, который горел. Для пассажиров места только в трюме, но, может быть, на нем можно было бы устроиться. Зашел Ян и к Аркадакскому, который прямо плачет, возмущен властью, тем, что они ведут очень глупую политику с рабочими. В воскресенье он отправляет семью в Батум на «Ксении». На «Ксению» попасть очень трудно, он дал Яну записочку к Карпову. Ян расспрашивал его о Батуме, где А[ркадакский] прожил 6 лет. [...]

У Туган-Барановских паника. [...] Уезжать им необходимо. Ее сын, юноша 17 лет, страстный поклонник Яна, слишком много наговорил против большевиков. Не сносить ему головы, если останутся в Одессе — донесут обязательно! Да и фамилия опасная. [...]

О Варне рассказывают смехотворные вещи, — нужно чуть ли не полмиллиона, чтобы только высадиться!

В четыре часа у нас были Кондаков и Билимович, который сегодня же передаст бумагу о командировке Шиллингу и, кроме того, будет испрашивать разрешение на 25.000 руб. романовскими на каждого. После ухода Кондакова и Билимовича Ян поехал к Брянскому. [...]

13/26 декабря.

[...] Были в Сербском консульстве: 5 франков или 10 динар за визу. Ян долго беседовал с консулом. По его словам, в Белграде очень тесно, но нам все же, вероятно, удастся устроиться. [...]

Фронта почти уже не существует: это не отступление, а бегство. Офицеры возмущены на командный состав, что он не заставил буржуазию их одеть, что им не платят жалованья, и их семьи должны голодать. [...]

Нилус и Кипен решили ехать в Сербию.

Вчера мы пили вино, Ян возбудился, хорошо говорил о том, что он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее. Когда он говорил, то на глазах у него блестели слезы. Ни социализма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ему. Близко ему индивидуальное восприятие мира. Потом он иллюстрировал: — Я признавал мир, где есть I, II, III классы. Едешь в заграничном экспрессе по швейцарским горам, мимо озер к морю. Утро. Выходишь из купе в коридор, в открытую дверь видишь лежит женщина, на плечах у нее клетчатый плед. Какой-то особенный запах. Во всем чувствуется культура. Все это очень трудно выразить. А теперь ничего этого нет. Никогда я не примирюсь с тем, что разрушена Россия, что из сильного государства она превратилась в слабейшее. Я никогда не думал, что могу так остро чувствовать.

Нилус был тоже грустен: «Вот играл в карты с Евгением и думал: все кончается, уезжаю за границу, а вернусь ли?». Когда мы с Яном вчера убирались, он сказал: «Боже, как тяжело! Мы отправляемся в изгнание и кто знает, вернемся ли?»

Вчера же заходил к нам Никодим Павлович [Кондаков]. Билимович докладывал Шиллингу о командировке Н. П. и Яна и испрашивал разрешение относительно денег. Шиллинг сказал, что он ничего не имеет против, но все зависит от Совета. Вероятно, откажут.

Я почти отказалась от мысли ехать в Париж. И холодно, и голодно, и, вероятно, отношение к нам будет высокомерное. Лучше Балканы. [...]

15/28 декабря.

Ян нездоров: насморк, повышенная температура (38 °).

Письмо от Назарова⁴⁷ из Константинополя и Бурцевская газета, где определенно говорится, что Петлюра — немецкий агент. Есть и объяснение настоящей политики Англии по отношению к нам: существует или молчаливый или словесный договор между Германией и Англией. Немцы помогают большевикам завоевать Россию, чтобы завоевать ее для Европы. Если бы побеждала Добровольческая Армия, то она завоевала бы Россию для России, а это вовсе не на руку союзникам. Им выгоднее, если Россию завоюют большевики, с которыми будет легче обо всем договориться. А Деникину и Колчаку они скажут — сами вы не справились, а потому надо разделить влияние.

17/30 декабря.

[...] Была на приеме у Билимовича. [...] Он актер. Стоял на вытяжку, ни один мускул лица не дрогнул во время приема. Два господина что-то говорили ему. Я следила из другой комнаты через стеклянную дверь. Меня принял стоя. Я пробыла у него минуты две. Он прочел письмо Яна и сказал, что будет в 3 часа у Кондакова. Вопрос шел о том, отправлена ли бумага французам, относительно проезда на пароходе и относительно ассигновки на командировку. Мне показалось, что дело безнадежно.

Была в пропаганде. Денег не дают. [...] В 3 часа я была у Кондакова. Билимович сказал, что не знает о судьбе поданой бумаги. Я предложила, что съезжу к Брянскому. [...] Билимович предложил довезти меня. И чем мы дальше ехали, тем он становился все любезнее.

В приемной Брянского я прождала с полчаса. [...] Наконец, я была принята. [...] Бумага уже послана французам, но прямо в Константинополь к де-Франси. Относительно ассигновок нет никакой надежды. Будто бы нет ни романовских, ни думских. Я думаю, что они просто не хотят посылать ни Кондакова, ни Яна, ибо они с ними не единомышленники, — все они из «Единой Руси», а «Южное Слово» только терпят. Им и Россию хочется превратить в «Единую Русь», а не в Великую Россию. Вот, в чем трагедия.

18/31 декабря.

[...] Говорят, в Киеве было 10000 офицеров, батареи и орудия стояли на горе. Можно было всех уложить. Но почти все офицеры бежали и защищали город всего несколько безумцев. [...]

В Киеве люди, в страхе и трепете, молились о том, чтобы был туман, чтобы не замерз Днепр. Масса народу шла пешком с детьми, с котомкой за плечами. Острый со снегом ветер дул в лицо, и многие падали. На станции приходили голодные люди и не находили даже куска хлеба. Кидались в деревни, моля о хлебе, о ночлеге, но мужики захлопывали двери со словами: «Вы буржуи!» (Была З. П. Тулуп, которая все это рассказала.) [...]

Ян был у английского консула, который принял его очень любезно. Виза на Батум будет нам дана. Обещал помочь с выездом. [...]

20 дек./2 янв.

Весь вечер и пол ночи мы провели у де-Рибаса. Праздновали его день рождения, ему минуло 63 года. Все последнее время он жил в большой тревоге: старшая дочь с семьей бежала из Киева. Наконец, добрались до Одессы после 19 дней пути, испытав 3 крушения и обстрелы. Им пришлось идти 10 верст пешком и они бросили чемоданы,

оставив только мешки за плечами. А в Киеве ими брошена квартира. Хорошо еще, что вся семья вместе — у них 2 мальчика подростка, очень милых. Сын де-Рибаса тоже неожиданно приехал из Кременчуга. Таким образом, у них был тройной праздник — все в сборе. В этом доме легко дышится, любовная атмосфера, все относятся друг к другу с большой нежностью. Все одарены от природы. [...]

Александр Михайлович рассказывал, что несмотря на то, что он был в сильнейшей тревоге за детей, он все же решил праздновать этот день, и вдруг такая радость, он никогда не преклонял колени перед Творцом с таким чувством, как сегодня. [...]

Ян говорил, что он любит Александра Михайловича за то, что он человек уходящего мира, в котором было так много прекрасного, благородного и настоящего. А грядущий мир ужасен и никогда не примирится он с ним. И что в настоящую минуту, накануне эмиграции, он чувствует минувшую жизнь так остро, что трудно передать. И речь Александра Михайловича, полу-буддийская, полу-неаполитанская, ему очень близка. [...]

22 дек./4 янв.

Был у нас Ам. П. [Шполянский] за паспортами — может быть, и устроится проезд. [...]

25 декабря.

Вчера отбыли в Болгарию Нилус, Федоров, Тухолка, Оболенский. Должен был еще Шумский, но он не мог войти на пароход. Петр Александрович был очень подавлен, очень волновался, почти ничего не взял с собой. Перед отъездом он вел очень рассеянную жизнь, точно боялся быть серьезным. Я рада за него, что он все же уехал. [...]

Ян последнее время очень страдает. Ночью просыпается, с шести утра не спит. Он раздавлен

событиями последнего месяца, не может понять, как все могло так быстро развалиться, где ключ ко всему. Оскорблен он и отношением властей к себе. Им с Ник. П. [Кондаковым] отказано в командировке, и всего нужно было для этого 50000 руб. [...] Кроме того, их хотели втиснуть на «Витязь», без мест, и очень недовольны, что они отказались. [...]

Возвращены наши паспорта из французского консульства с визой во Францию. Я снова твердо держусь за парижскую ориентацию. Может быть, это легкомысленно, но внутренний голос мне говорит, что нужно ехать именно туда. Балканы пугают меня больше. Будет теснота, бестолочь, претензии, а это хуже голода и холода. Да и болезней не оберешься. [...]

Взяты Мариуполь, Пятихатка и Знаменка. Появляются все новые и новые банды. [...]

Деба просил [...] передать, что он вывезет Кондакова и нас на французском транспорте, но не в Варну, а в Константинополь.

27 дек./9 янв.

[...] Спор о причинах поражения добровольческой армии. Ш[полянский] и Куликовский уверяли и доказывали, что все произошло из-за аграрного вопроса. Ян возражал и указывал [...], что причины поражения гораздо более сложные. [...] Добровольцев везде бранят, особенно евреи, даже те, кто настроен против большевиков. Рассказывали, что вчера в тюрьму ворвались 60 офицеров и избili политических, а также и смотрителя тюрьмы, который вмешался. [...] Неужели это правда? Говорят, Драгомиров из Киева вывез несколько вагонов сахара, вместо раненых. Неужели и это правда? Говорят, что спекулируют и берут взятки почти все.

Что же это такое? Неужели все разложилось сверху до низу?

Была у Деба, никакой паролод не отходит, заявил он мне любезно. Извинилась за беспокойство и вышла. Это, конечно, отказ. Встретила Полонского, с которым догнала Шполянского. Аминад Петрович сказал, что еще надежда не утеряна и что завтра он будет у нас. Он опять отговаривал ехать на Балканы, — туда отправляется Лопухов и сотрудники «Единой Руси». [...]

Наблюдается два настроения: очень спокойная уверенность, что ничего не будет, это, главным образом, среди чисто русских, которые не будут в состоянии уехать; а другое, почти паническое, при чем отъезжающие боятся большевиков, а остающиеся, евреи — погромов. Говорят, что на улицах офицеры при виде еврея говорят — вот хорошо было бы их всех уничтожить.

Короче: хуже положения не бывало.

А некоторые, как весной, только и мечтают о поляках, немцах. [...]

29 дек. / 11 янв.

[...] По слухам, Киев был продан. Власти бежали раньше всех. [...] В Киеве объявлены вне закона все судейские, все журналисты, все писатели и даже актеры. Говорят, что расстрелено несколько человек за спекуляцию. Последний слух: Врангель и Деникин арестовали Лукомского и Романовского.

Ян был у Туган[-Барановский]. Слышал, что и Шиллинг и Чернявский бесчестные люди, оба подкуплены. Советовали Яну не верить никому. Уговаривали ехать в Польшу. Предлагали достать польские паспорта. Они едут через Галац в Варшаву. [...]

Вчера из Киева пешком пришел Шульгин с десятью молодыми людьми, которые его обожают и по одному его слову готовы на все. В деревнях их кормили и давали ночлег за керенские. [...]

30 дек. / 12 янв.

Ян целый день в бегах. [...] От Клименко Ян привез 20.000 руб. кер[енскими]. Я отнесла десять Кондакову. Он очень доволен. [...]

31 дек. / 13 янв.

Наступают последние часы 19-го года, который принес столько горя и печали. А 20-ый может быть еще тяжелей. Мы — накануне того, чтобы покинуть родину и, может быть, надолго. Скитаться без цели, без связи, вероятно, будет очень тяжело. Тяжело уезжать и потому, что близкие в худшем, чем мы, положении, а мы помочь им не в силах. [...]

Встречать Новый год идем к де-Рибасу, там семейно, уютно, бездомным особенно приятно. [...]

1920

1/14 января 1920 г.

В прянике у де-Рибас запекли пятиалтынный. Он достался мне, говорят, это к богатству.

2/15 января.

Заходил де-Рибас и сказал, что Коган хочет купить сочинения Яна, чтобы издавать в Лейпциге. [...]

Билимович очень дерзок и довольно глуп, повторяет то, чем его начиняют в «Единой Руси». Идея Клименко основать пропаганду на Балканах будет осуществляться сотрудниками «Единой Руси». [...]

Билимович обрушился на русскую литературу, которую, он, повидимому, знает плохо, он об-

виняет писателей в том, что добровольческой армии приходится теперь воевать. [...]

3/16 января.

[...] Воля [Брянский] предлагал Яну эвакуироваться на палубе, сидя на чемоданах. [...]

Единственно, кого критикует власть, это Клименко. [...] Ясно, что состава преступления у Клименко нет, а есть партийная интрига, желание вырвать из рук Клименко русскую культуру и передать ее «Единой Руси». Очевидная кампания против «Южного Слова». [...]

Никодим Павлович сказал: — Вот, Иван Алексеевич, вы опять правы оказались в своем суждении о русском народе: и бестолочь, и слабоволие, разрозненность, недоведение дела до конца, вечная вражда партий, подставление друг дружке ножи, азиатское интриганство.

— Да, — ответил Ян: — Троцкий правит Россией и что же? Не желают или не могут свергнуть это иго. Двести лет под татарами сидели, теперь советской власти подчиняются. [...]

6/16 января.

[...] Вчера Ян уже совсем решил отказаться от миссии и ехать на свои крохи в третьем классе, а сегодня звонил Бельговский и сообщил, что хотят «разбить миссию на части»: в первую — митрополита Платона, Кондакова, Яна, Шабельского, адъютанта сербского короля и Лопуховского. Это меняет дело. Интересно участвовать в миссии вместе с Платоном.

Вчера был у нас Калинин, заместитель Клименко. [...] В журнальном мире осведомлен обо всем. Говорит гладко. О генералах имел точные сведения и дает полную характеристику каждому. Он сидел у нас 2 часа и, не умолкая, говорил. [...]

Кстати: от Фастова почти ничего не осталось: из 40000 жителей теперь едва насчитывают 2000. Сначала убивали евреев, а затем стали и русских громить. [...]

Ян сказал: — А царя, вероятно, причислят к лику мучеников и будут считать святым. Как он мог не бежать, ну, сначала он, может быть, не хотел, а потом — как он мог сам оставаться среди таких негодяев, да еще с дочерьми.

Я: Горький ездил спасать Великих князей, да опоздал.

Ян: Да, какая обида. Неужели я когда-нибудь его увижу?

Я: Ну, а если встретишься?

Ян: Где?

Я: Ну, в Австралии, например.

Ян: Все, что будет в руке, попадет в его голову, предварительно плюну ему.

Я: Неужели?

Ян: Как простить ему то, что он по немецкой указке довел Россию до таких бедствий, и теперь, до сих пор, остается с большевиками? Нет, этому имени нет, нет и прощения!

7/20 января.

[...] Дело наше обстоит так, что, может быть, послезавтра нас отправят на Гендре. [...]

Слухи: взят обратно Ростов и Таганрог. Говорят, что большевики придут со стороны Николаева недели через три. Взята Каховка большевиками. [...]

Вчера был у нас Ярцев¹. [...] Он хорошо вчера говорил, что теперь надо ехать за границу, надо увозить из России Россию, и стараться сохранить ее до тех пор, пока можно будет вернуться. Он верит, что добровольческая армия не погибнет, ей

нужно только отсидеться, хотя бы даже за границей. [...]

Есть слух, что Николай Николаевич² приехал в Ставку. Здесь тысяч сорок или пятьдесят офицеров, а на регистрацию явилось только 130 человек. [...]

13/26 января.

[...] Вчера весь день циркулировал слух, что Деникин убит или застрелен. «Новости» неизвестно почему вчера поместили портрет Деникина и его биографию.

Из Ростова приехал Коцинский; он офицер [...]. Он был при объявлении эвакуации Ростова. Очень долго власти уверяли всех, что все вполне безопасно. Жизнь текла весело, все пили, спекулировали — «пир во время чумы». Затем, когда объявили, что большевики близко, всех вдруг объяла необыкновенная паника. Магазины стали заколачиваться, товары подешевели необыкновенно, начались грабежи. Двух повесили. Но никто не обращал внимания. Висит себе человек на соседней площади с высунутым языком, да и только. Власти растерялись.

В Новороссийск столько навалилось беженцев, что и представить невозможно. Это уже библейские картины. Проявление подлинной Руси [...] добровольцы бежали целыми полками, приходили поезда, переполненные и больными, и трупами, и людьми с отмороженными конечностями. Времена по-истине страшные.

Людей спасает только отсутствие воображения. На «Херсоне», на котором было до 6000 чел., были картины положительно из Дантовского ада: по ночам в кают-компаниях люди, позабывши о всяком стыде, мужчины, женщины, раздевались до гола и искали на себе насекомых. [...] В каж-

дом порту вываливали целые партии больных спячком и мертвых. На пароходе было несколько смертей и 2 самоубийства.

18/31 января.

Ян вернулся домой очень взволнованный. На вчерашнем заседании решен вопрос об эвакуации, но пока об этом не объявляют. Автунович не дает пропусков, ссылаясь на телеграмму Деникина. [...] Угля для пароходов нет. Иностранцы подданные тоже не выпускаются. [...]

Вчера мы были у Кондакова, он подтвердил, что Деба возьмет нас с собой. Может быть, придется грузиться на Большом Фонтане. [...] Может быть, из Одессы придется идти пешком. Все обдумываю, что взять с собой. Где оставить вещи? [...]

Херсон, Вознесенск, Николаев заняты. В Николаеве паника была ужасающая. [...]

В «Коммунисте» было написано: «Мы будем в феврале» и иота в иоту, точно пасьянс раскладывают, до февраля осталось десять дней. [...]

Почему мы поверили в добровольцев? Мне кажется, что мы очень прониклись за лето презрением к большевикам, к их неумению, беспомощности во всех областях. Правда, Ян говорил, что если добровольцы сорвутся, то они полетят вниз, как снежный ком. Кондаков тоже выражал сомнение в крепости добровольческой армии, хотя тогда были взяты Курск, Орел сдался. А Саша Койранский настойчиво советовал уезжать из Одессы. [...]

Я уже жалею, что не уехали мы на Дервиле, вместе со Шполянским и другими журналистами. [...] В комнате у нас так холодно, что я сижу в двух платьях и пальто, поверх чулок шерстяные носки, башмаки, гетры и галоши, и все кажется, что ноги стоят во льду. Каково же в Москве, в Петербурге? [...]

20 ян. / 2 февр.

Вчера Болотов предупредил нас, что, может быть, завтра мы можем сесть на пароход «Ксения», где уже сидят семьи штабных. [...]

Странная делегация, состоящая главным образом из родственников делегатов. На одно лицо приходится чуть ли не по 5 родичей в среднем.

На сердце очень тяжело. Итак, мы становимся эмигрантами. И на сколько лет? Рухнули все надежды и надежда увидеться с нашими. Как все повалилось...

21 янв. / 3 фев.

Слух: сегодня ожидается восстание большевиков.

Власть переходит к Микитко. Говорят, это по обоюдному соглашению, чтобы удобнее было эвакуироваться. [...]

Яну с трудом удалось купить 5 думских по 2200 рублей. [...]

На «Ксению» не попадем. Обещают на «Дмитрия», тогда грузиться в четверг. [...]

Вчера бегала по городу, искала дров. 6 полен мне дали Розенблат. Они очень любезные люди, от денег или от того, чтобы я возвратила им дрова, они отказались. А дрова были необходимы, чтобы высушить белье на случай эвакуации.

В порту такое воровство, что, укладывая, смотришь на каждую вещь и думаешь: «а, может быть, я вижу ее в последний раз» и чувствуешь какую-то безнадежность в сердце. [...]

В Одессе, говорят, более ста тысяч военных. [...]

Еще не назначили день отхода парохода, на который нас берут.

Деньги выдаются керенками (10000 руб. превратились бы в 3000 руб.). Ян отказался принять их. [...]

Ян все терпит до Белграда, но там он откажется от миссии, и от всяких сношений с этими господами. Кондаков деньги взял. [...] Ян совершенно замучен.

Невозможно ничего купить, ни валюты, ни денег. Вчера было скуплено почти все золото и бриллианты. На улицах масса народа. Все куда-то спешат. Около Лондонской гостиницы извозчики. На них накладывали зашитые в рожи корзины.

«Ксения» отошла. [...]

Анюта рассказывает, что в городе пальба, разъезжают грузовики, в порту Бог знает, что делается. Началась паника. В Государственном банке суета — эвакуируются. Словом, шансов немного, чтобы быть живыми и невредимыми. Хлеба купить уже нельзя. Завтра цена еще повысится. Ян купил сала 5 фунтов в дорогу за 1500 рублей. [...]

Анюта рассказывает, что из деревни приехал муж Людмилой кумы и говорит, что большевики являются в деревни и все забирают: лошадей, скотину; молодых — под ружье, старых — в обозы, даже детей — для того, чтобы подносили снаряды. И все поедают, разграбляют. Она думает, что большевики, которые соединились с махновцами и с украинцами, и здесь будут так же грабить. — И что будет хорошего, — продолжала она, — ограбят сначала богатых, — их уж не так много — примутся за бедных. А нам, как будет плохо, теперь мы работаем и сыты, и одеты, а если всех разорят, куда нам идти? [...]

«Дмитрий» может уйти лишь после 26 января. Может быть, нас посадят на другой пароход? Есть предложение Гораса устроить нас на французском

пароходе, завтра, но без удобств, и без мест. Мы решили отказаться.

22 янв./4 февр.

На Молдаванке и на толчке стали срывать погоны у офицеров, началась стрельба, в результате вчера был погром. Сегодня все лавки заперты. Народ, по словам Анюты, призывает к погрому или, как она говорит, «зовет на погром». Анюта возмущена. Хлеба достать нельзя. Мяса тоже. В городе тревога, паника. Мы почти уложились. [...]

Предлагали бежать на английском пароходе, но садиться нужно сегодня. Мы было уже решились на это. Пошли к Кондакову, а там узнали, что Деба предложил грузиться завтра. Остановились на французе. Обещаны каюты.

Английские солдаты разбивали двери магазинов и требовали, чтобы они были открыты. Завтра, вероятно, повесят кого-нибудь. Вот жестокий город! Сегодня многие остались без обеда.

Может быть, завтра будет последний день мой на русской земле. Никогда не думала, что придется влачить жизнь эмигрантки, да еще справа... [...] И все еще не верится, все еще кажется, что что-то обернется, и ты скоро будешь в Москве.

В штабе все ночуют с винтовками уже вторую ночь. С кем бы мы ни встретились, каждый говорит: — Иван Алексеевич, уезжайте!

Нос³ говорил Яну вчера, прощаясь:

— Если бы нужно было умереть за вас, я отдал бы жизнь свою, — и у него на глазах блестели слезы. — Как-то он благодарил Яна за то, что Ян единственное светлое, что он встретил в Одессе. [...]

Яну и Кондакову выдали билеты на пароход «Дмитрий», в *третьем* классе. Интересно, кто будет в первом? — Кондаков сказал:

— Прикажу этот билет в гроб с собой положить. Я думал, что отечество мой должник, а оно на 76 году жизни не дает мне койки во время эвакуации...

Завтра в 11 ч. нужно идти к Деба, где мы получим пропуск. Порт охраняется английскими солдатами. В каюте будем сидеть по трое. [...]

Город пуст, только патрули. Совершенная тишина, опять тоже самое. В аптеке Гаевского пьяный офицер от кокаина и вина требовал кокаину и на отказ стал стрелять. Служащие пришли в ужас. Входявшие офицеры увещевали его, ничего не помогало.

23 янв./5 февр.

День сумеречный. Проснулись рано. Окончательное решение: завтра мы грузимся. Последний день мы здесь на Княжеской, где, несмотря на все несчастья, мы сравнительно счастливо прожили почти полтора года.

Жаль оставлять Буковецкого одного. Что он должен чувствовать при мысли, что каждую минуту могут к нему ворваться и отнять все вещи, которые он собирал с такой любовью и терпением? Часть вещей он где-то спрятал. Наши комнаты он уже сдал, кажется, брату Комиссаржевской.

Ян целый день носился по городу. В Осваге ему обещали дать солдата, чтобы тот помог нам перевезти вещи на пароход. [...]

Вечером сидела с Буковецким, играли в домино. Обещал продать мне немного парчи. Он молчит, я чувствую, что ему очень тяжело. Он ведь никогда не жил один, а теперь без Петра, без нас, будет совсем одиноко.

Заходила прощаться с Куликовскими. Они грузятся в воскресенье. Дм[итрий] Ник[олаевич] возбужден, весел. Все повторяет, что покажет

большевикам кукиш, а Ир[ина] Л[ьвовна] настроена скептически. [...]

[Следующая запись сделана 24 января/6 февраля. Это число дважды подчеркнуто карандашом и на полях рукой Ив. Ал. Бунина поставлено нотабене — это день, когда Бунины тронулись в путь. Можно спорить о том, какой именно датой правильно обозначить отъезд Буниных из Одессы. Можно считать днем отъезда 24 января 1920 г., когда они погрузились на пароход. Однако, пароход не сразу покинул порт, что следует из записей Веры Николаевны, 25-ого он перешел на внешний рейд, а отчалил, вероятно, лишь 26-ого, или даже 27 янв./9 февраля — см. запись от 27 янв./9 февр. Сам Бунин писал: «...26 января 1920 года [...] эмигрировал» («Весной в Иудее. Роза Иерихона», изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 9).]

24 янв./6 февр. (пятница.)

В четыре часа дня мы тронулись в путь. Простившись с хозяином нашим, Ев. Ос. Буковецким, с которым мы прожили полтора года и с его домоправительницей, мы вышли через парадные двери, давно не отпиравшиеся, и навалили чемоданы на маленькую тележку, которую вез очень старенький, пьяненький человек.

Истинное чудо, что я достала его за 500 рублей керенками! Утром я отправилась в Осваг, чтобы достать обещанного солдата, который проводил бы нас на пристань. Но, когда я попала туда, я поняла, что враг близок и что нужно думать об одном — как бы скорее попасть на пароход. [...]

По улицам еще двигался народ, прошли английские войска, и я вспомнила, что у нас утром был Недзельский, который уверял, что англичане оккупируют город и что мы напрасно эвакуируемся. В четыре же часа город был пустынен и, когда

мы шествовали в сопровождении нашей горничной Анюты и очень милого и талантливого писателя-добровольца, который не захотел эвакуироваться, говоря, что устал «бежать», — то нам попадались навстречу лишь тачки с вещами — люди переезжали с квартиры на квартиру, чтобы замести следы своей преступной деятельности при большевиках, ибо самые страшные, самые яростные большевики были те, кто, притаясь, жил при добровольцах, питая злобу и копя месть к тем, кто на их глазах был правомочен.

На душе жутко. [...] На Елизаветинской мы позвонили Н. П. Кондакову, с которым сговорились идти вместе на пароход. Но их уже не было. Мы стали торопиться, погонять нашего старичка, помогать ему тащить нашу поклажу. Чем ближе мы подходили к гавани, тем чаще нам попадались подводы с сундуками, чемоданами, корзинами. Мы еще не отдаем себе отчета, что это последние часы возможного спокойного ухода из города, а потому не беспокоимся за друзей, которые должны грузиться завтра, послезавтра. [...]

Отыскали наш пароход, «Спарту», маленький, не внушивший доверия. Около схода застали Кондакова, Яценко, милого Гораса, который не захотел покидать Одессы — мы ему обязаны многим. На пароход еще не пускают. Простояли и мы еще целый час на воздухе, ноги замерзли.

Наконец, мы на борту. Наши провожатые втаскивают чемоданы. Ян в ужасе вспоминает, что забыл деньги, запрятанные в газеты. К счастью, газеты он захватил с собой и в них, правда, лежало несколько тысяч думскими.

Кондаков и Ян получили крохотную каютку. Нам же, дамам, сказали, что оставили места в одной из дамских кают, но когда мы осмотрелись, оказалось, что места везде уже заняты.

Незаметно прошел час. Провожающие должны уходить. [...]

Ян попросил разрешения у Кондакова спать мне с ним на верхней койке, Ник[одим] П[авлович] разрешил. Будет, конечно, очень неудобно, но Ян боится, что в общей зале я еще заражусь. Страх вши очень силен. Устроившись в каюте, я поднялась в рубку. Там сидят недовольные французы, они возмущаются, что на французском пароходе получили каюты русские.

Когда совсем стемнело, раздалась канонада. К ружейной стрельбе мы привыкли, но ведь это пушки? Поднялась на палубу. «Знатоки» определили, что стреляют с Николаевской дороги. Неужели это большевики? [...] Благодарю Бога, что мы погрузились сегодня. Что будет завтра — неизвестно. А многим назначено грузиться завтра, правда утром. Может быть, и успеют.

Странная публика в I классе. Вот молодая артистка из драмы, другая как будто из оперетки, по имени Женичка. Здесь сразу обнаружилась большая компания друзей. Но кто это, еще не разобрали. Держат себя весело, как на журфиксе, называют друг друга уменьшительными именами. Еще просторно, пароход не качается, выстрелы еще далеко, но надежды уже никакой нет.

25 янв./7 февр.

Пережили самое тяжелое утро в жизни. Из города доносилась все время стрельба. Прибегали люди без вещей с испуганными лицами и вскакивали на пароход, у некоторых были куплены места, у других не было ничего, они даже и не думали «бежать», но поддались панике, которая царит в городе со вчерашнего вечера...

Прибывшие рассказывают, что стрельба на Софийском спуске уже, что с Херсонской уже

нельзя добраться. Хороши бы мы были, если бы нас французы не погрузили вчера. Вероятно, многие останутся из тех, кто должен садиться на пароход сегодня и завтра. А, может быть, отстоят Одессу хотя бы на несколько дней, чтобы дать тем, кому опасно, спасти свою жизнь? Бедные Куликовские [...]

Вышли две газеты «Новости» и «Листок». Нам удалось получить их. Все время к пароходу подбегали добровольцы с ужасом в глазах, моля, чтобы их взяли на борт. Капитан не отказывает, пока может. Наконец, пароход так переполнен, что нужно говорить: «Нет». Это ужасная минута — бегут обреченные люди, молят о месте и им отказывают, они бегут дальше, пароходов много... Подъезжали и богатые люди на автомобилях и грузились вместе со своими машинами.

Полдень, уже жутко оставаться в гавани, но мы не отчаливаем, все ждем французского консула Вотье. А снаряды уже рвутся вокруг. Стрельба в городе все усиливается и усиливается. Публику уже выгнали с палубы. Все лихорадочно ждут консула, а его все нет и нет. Наконец, в час дня он приезжает на пароход. Сообщают, что английский консул бежал по Ришельевской лестнице в порт. И вот мы отшвартовываемся. Народу такая масса, что повернуться невозможно. Рассказов без конца. Многие бросили увязанные сундуки, только чтобы спасти свою жизнь. Многие по дороге растерялись с родными. Есть совершенно неизвестно зачем прибежавшие на пароход, неизвестно от чего спасавшиеся девицы — только заняли лишние места. У одной девицы тетка не знает, что она на пароходе. Воображаю, что она теперь испытывает, вероятно, думает, что ее подстрелили где-нибудь на улице. [...] Она прибежала в капоте и котиковой шубе.

Что же это такое? Неужели власти не знали, что развязка так близко? Или это измена? Разговоров, мнений, утверждений не оберешься. Одно ясно, что многие попали в ловушку. Рассказывают, что в ночь со среды на четверг в 2 часа ночи попечителю учебного округа Билимовичу сообщили, что большевики близко. Он тотчас позвонил Шиллингу и спросил его, в чем дело? Шиллинг в свою очередь позвонил в «Оборону» и через 10 минут сообщил Билимовичу, что все благополучно. Ясно, что кто-то информировал Шиллинга ложно.

26 янв./8 февраля (воскресенье).

Третий день на пароходе. Сплю с Яном на одной койке, лежим, как сардинки, а под нами сам Никодим Павлович, ненавидящий все русское и ругающий всех и вся. Даже неприятно. Яценко все знает. Уже почти о каждом пассажире рассказывает целую историю и где она все это черпает. Ник[одим] Пав[лович] слушает, хотя иногда ловлю у него во взгляде недоверие. Я слушаю молча, порой веселюсь в душе.

Мы стоим на внешнем рейде. Теперь уже большевики не достанут нас, даже если бы захотели. Но беспокоишься, донельзя, за близких, оставшихся в Одессе. Что ждет их — холод, голод, смерть?.. [...]

Начинаем разбираться в обществе 1-ого класса, которое можно разделить на 3 разряда: французы, швейцарцы и русские, которые распадаются на 2 неравные части: богатых евреев и нас четверых, четы Пеговых, какой-то актрисы, по имени Марья Михайловна, Женички Никитиной, барона и еще двух, трех человек...

27 янв./9 февр. (понедельник).

Четвертый день на пароходе. Последний раз

увидела русский берег. Заплакала. Тяжелое чувство охватило меня.

Слегка качает. Народу так много, что ночью нельзя пройти в уборную. Спят везде — на столах, под столами, в проходах, на палубе, в автомобилях, словом, везде тела, тела.

Вечером мы выходили на палубу.

Мы в открытом море. Как это путешествие не похоже на прежние. Впереди темнота и жуть. Позади — ужас и безнадежность. Главная тревога за оставшихся: успели ли те, кто хотел, спастись? [...]

А у нас в кают-компании веселье. Вся молодежь хорошо знакома друг с другом, почти все музыкальны, два дня дают представление, поют оперы. Все друг друга называют по имени и отчеству. Здесь певец Федя Рабинович, семья доктора М. с сыновьями. Одного из них летом удалось спасти из чрезвычайки, только потому, что убедили, что он вообще очень глуп. Вид его не противоречит этому утверждению. Спят все вповалку, некоторые у самых наших дверей.

28 янв./10 февраля (вторник).

Пятый день на пароходе.

Качает ужасно. Лежим на одной койке почти сутки. Мучаем друг друга своими ногами. Нас уже четверо. Ник[одим] Павл[ович] попросил Ек. Ник. [Яценко] быть при нем, — значит, сердце его стало беспокоить. Она, бедная, примостилась на коротеньком диванчике. Она удивительно предана ему.

Должны войти в Босфор, но почему-то не входим. [...]

За нашей дверью хохот, разговоры — молодежь веселится... [...]

29 янв./11 февраля (среда).

Шестой день на пароходе.

В Босфор еще не попали. Оказывается, мы сбились с пути. Значит, 24 часа плаваем по минному полю. Качает очень сильно. Мы уже с Яном ничего не говорим, по глазам понимаем, что дело нешуточное.

Г-жа М. очень страдает, но время от времени она неожиданно спрашивает: «Сережа, Сережа, мы маяк проехали?» — «Проехали, мама, проехали» — отвечает он успокоительным тоном. И, несмотря на качку, на то, что в наш иллюминатор льется вода, и я лежу на мокром холодном тюфяке, мы все начинаем хохотать, даже Ник. Павл. смеется.

Ян все же умудрился сойти и пройти кой-куда, через тела. Говорит, что один нужник совершенно разбит. Воображаю, что будет теперь.

30 янв./12 февраля (четверг).

Седьмой день на пароходе.

Мы в Босфоре. И все понемногу воскресают. 36 часов большинство не вставало с места. А что делалось в трюме, трудно даже вообразить.

Вошли в Босфор только потому, что оказался на пароходе русский капитан. [...] И вошли мы первые из 4 пароходов. Наш капитан был все время пьян, вход в Босфор знал плохо. Его напоили и когда он заснул, командовать стал наш русский. Мне это приятно.

Понемногу все выползают из кают. Поднимаются на палубу. Умываются. Очередь у нужника. Очередь за красным вином, которым даром угощают французы так же, как и хлебом. [...]

31 янв./13 февраля (пятница).

Сегодня неделя, как мы живем в нашей крохотной квартирке вчетвером. Мы с Ек. Ник. убрали ее. Она молодец, что значит — была сестрой.

Все делает ловко и хорошо. Я решила ничего не есть, пока не спущусь на землю, только пить красное вино. Бог даст, не заболēju, ибо ходить «туда» нет моих сил. Что же делалось в третьем классе!

Потащили нас по Босфору. В первый раз вижу Стамбул с его минаретами в снегу. Тащимся в Тузлы, где грозят нас купать. [...] На Константинополь смотрю безучастно. Ян в каюте, он даже не захотел взглянуть на столь любимый им город.

Выходим в Мраморное море. Покачивает. Тузлы. [...]

1/14 февраля.

Все еще на пароходе. В Тузлах нас не спустили. Потащили обратно в город.

Присматриваюсь к пассажирам. Кроме переносных, еще есть несколько невест французских офицеров. [...] Нас обещают спустить в первую голову, так как мы «протэжэ франсэ». На пароходе волнение. Многие уже боятся, Пеговы, которые оставили все в Одессе, чувствуют себя плохо, боятся доносов — ведь у них жил Северный. [...] Со всех сторон просят чистых рубашек, а у меня всего 3, только что купленных, да одна лишь чистая.

Покупали апельсины у лодочников на серебряные деньги. Дорого. Вообще, в Константинополе жить будет очень дорого. И где мы устроимся — один Бог знает.

Ник[одим] Павл[ович] и здесь уютно пьет кофе и чай. Ест консервы. [...] С одним пассажиром было плохо, у него заворот кишок.

Раздают консервное мясо, которое почему-то все называют «обезьяньим». Мы не едим его. Ян пьет кофе, ест сало. Я же питаюсь только жидкостями. Главное — красное вино. [...]

[На этом кончаются записи этого периода. Записывала ли Вера Николаевна во время жизни в Константинополе, а потом в Болгарии и Сербии, мне неизвестно. В архиве этих записей нет. Записи обоих Буниных возобновляются только в Париже.]

ПРИМЕЧАНИЯ

Часть I. До перелома

1881

1. Об этом периоде жизни Бунина рассказывает Вера Ник. (См. В. Н. Муромцева-Бунина, «Жизнь Бунина», Париж, 1958, стр. 18): «...В доме был заведен строгий порядок, отец всю семью держал в ежовых рукавицах, был человек наставительный, неразговорчивый, требовательный. И Ване было очень странно попасть к таким людям после их свободного беспорядочного дома».

1885

1. Привожу записи по переписанному на машинке тексту. Они частично вошли и в книгу Веры Николаевны.
2. Эта гувернантка послужила прототипом Анхен в «Жизни Арсеньева». На старости лет Ивану Алексеевичу было суждено опять с нею встретиться. Во время его «гастролей» по Балтийским странам весной 1938 года на одном из его выступлений в Ревеле к нему подошла полная небольшого роста пожилая женщина — Эмилия (см. «Ж. Б.», стр. 41).
3. Васильевское — имение С. Н. Пушешниковой, двоюродной сестры Бунина, который особенно любил одного из ее сыновей — Николая.
4. Юлий Алексеевич Бунин принимал участие в народо-вольческом движении и был арестован в сентябре 1884 года.
5. «Жизнь Бунина», стр. 31.

1893

1. Вероятно, В. В. Пащенко.
2. Возможно, что это ошибка, и у Толстого Бунин был в начале следующего года. См. А. Бабореко, «И. А. Бунин», Материалы для биографии. Москва, 1967, стр. 44.

1894

1. Эта фраза приписана сбоку и обведена красным карандашом.
2. Это был окончательный разрыв с В. В. Пащенко.
3. Второй брат Бунина.

1895

1. Н. К. Михайловский и С. Н. Кривенко — редакторы журнала «Новое Слово».
2. Поэт, один из творцов Козьмы Пруткова.
3. К этому периоду относится переписка Бунина с В. Брюсовым, опубликованная в «Литературном Наследстве» 84, Москва, 1973, стр. 440 и след.
4. «Новый Журнал», номер 80, стр. 128.
5. Вопросительный знак поставлен Буниным. Вера Ник. («Ж. Б.» стр. 94) пишет, что тогда как Юлий Ал. из Москвы вернулся в Полтаву, Ив. Ал. поехал в Огневку, где оставался до самого лета, когда поехал к Юлию.
6. После этих слов почерком Веры Ник. приписано: (ошибка) — «Тарантеллу», в «Ж. Б.» Вера Ник. говорит о «Байбаках» (стр. 95).
7. Почерком Бунина после этих слов приписано карандашом: «Нет, кажется, не верно! Н. В. См. 97 г.»
8. Собр. соч., т. 1, изд. Петрополис, Берлин, 1936, стр. 41.
9. Там же, стр. 47.
10. Издательница «Мира Божьего», жена известного виолончелиста.
11. См. «Ж. Б.», стр. 95-96.

1896

1. Вера Ник. не могла раскрыть эти инициалы.
2. В приложенной записи говорится: «Ветрено, скучно, утопленник у островка песчаного. Вечер, заводы».
3. Писатель морских рассказов.
4. Певец, потом редактор «Журнала для всех».

1897

1. Д. Н. Мамин, или Мамин-Сибиряк, писатель, этнограф.
2. Екатерина Михайловна, сестра философа Льва Лопатина, на которой Бунин чуть не женился. В эмиграции им опять было суждено встретиться и она была близка с Буниными вплоть до своей смерти.

3. Тут карандашом поставлено нотабене. Вероятно, Бунин не был уверен, было это в 1897 или в 1896 г.

1898

1. «И опять зачастил к Лопатиным на журфиксы и в будни. Они то спорили, то держали корректуру ее романа, который он немилосердно уговаривал сокращать, — вот, действительно, сошлись две противоположности! — то опять ходили по ночлежным домам» («Ж. Б.» стр. 107).
2. Писатель.
3. Проф. А. В. Карташев, историк церкви, общественный деятель.
4. Грек, редактор «Южного Обозрения», на дочери которого, Анне Николаевне, Бунин скоро женился.
5. Об этой странной свадьбе подробно рассказано в «Ж. Б.» стр. 110-111.
6. Брат Анны Николаевны.
7. Название парохода.
8. Над переводом «Песни о Гайавате» Лонгфелло Бунин работал 1894/1895 гг.

1899

1. «В Ялте возобновил знакомство с Чеховым, встретившись с ним на набережной, пил у него в аутском саду утренний кофий, — дача еще строилась. Встретился через несколько дней опять с ним на набережной, он шел вместе с Горьким, и Чехов их познакомил» («Ж. Б.», стр. 114).
2. Цитируется по копии, присланной в архив А. К. Бабореко.

1900

1. Специалист по нервным болезням, убедивший Бунина отдохнуть в деревне.
2. Поэма Бунина.
3. Редактор «Новой жизни», в которой Горький был постоянным сотрудником.
4. Вл. П. Куровский, художник, хранитель Одесского музея.
5. Цитируется по копии, присланной Вере Николаевне Ал. К. Бабореко.

6. На литературных «Средах» бывали Телешов, Горький, Л. Андреев, Гарин-Михайловский, Б. Зайцев и др.
7. «Ж. Б.», стр. 124-125.

1901

1. Проф. Ник. Карлович Кульман, с которым Бунин часто встречался потом в эмиграции.
2. С. Я. Елпатьевский, писатель.

1902

1. Писатель Леонид Андреев с женой.
2. Художник П. А. Нилус, близкий друг Бунина.
3. Писатель Н. Телешов.

1903

1. Драматург, автор «Детей Ванюшина», псевдоним С. А. Алексеева.
2. См. «Ж. Б.», стр. 142.
3. Там жила в то время сестра Бунина Мария Ал. Ласкаржевская, у которой жила их мать.
4. Артистка Художественного театра.
5. Письмо это напечатано и в «Ж. Б.», стр. 144-145.
6. Приписка карандашом: Когда «Каина»?
7. Собр. соч. (Петрополис), т. I, стр. 65.
8. Служивший приказчиком в магазине готового платья С. А. Алексеев получил за «Детей Ванюшина» Грибоедовскую премию и стал драматургом Найденовым.
9. Вера Николаевна говорит: «Иван Алексеевич бывал у него каждый вечер, просиживал далеко за полночь. В эти ночные бдения они особенно сблизились...» («Ж. Б.», стр. 153).
10. Журналистка, дружившая с Буниным.
11. Заглавие рассказов «Сны» и «Золотое руно», вышедших в издании «Знание».
12. Маршрут поездки был: Вена, Ницца, Флоренция, Венеция и назад в Москву.

1905

1. «Ж. Б.», стр. 162-166.
2. С. П. Вонье.
3. Художник Евг. Ив. Буковецкий.

1906

1. Письмо, как и другие письма Нилусу, хранится в архиве. Предполагаю, что их в свое время передала Вере Николаевне вдова Нилуса, Берта Соломоновна.

2. См. «Новый Журнал», № 59, стр. 127-156.
3. Борис Константинович и Вера Алексеевна Зайцевы.

1907

1. Длинное стихотворение Бунина.
2. Возможно, что это неточно. Сохранилась открытка от 1 февраля 1907 г., в которой Бунин пишет Нилусу: «Весь февраль буду в деревне».
3. Вера Ник. считает, что Бунин ездил добывать деньги на путешествие в Палестину.
4. «Новый Журнал» № 59, стр. 151.
5. «Новый Журнал» № 60, стр. 166-169.
6. «Новый Журнал» № 62, стр. 147-175, также И. Бунин «Тень птицы».
7. Видимо, В. Н. ошиблась, речь идет о цитатах из Торы.
8. «Грани» № 47, стр. 85.
9. После этих слов оставлено белое место.
10. Путь немалый, пишет В. Н., — ехать придется часов десять, у Генисаретского озера мы будем только часам к шести — «Грани» № 47, стр. 91).
11. [...] да и славные на весь мир тивериадские блохи давали себя знать, — прибавляет В. Н. («Грани» № 47, стр. 92).
12. П. А. Нилус?
13. «Грани» № 47, стр. 93.
14. Продолжение записей переписано на машинке.
15. Несколько домиков, несколько деревьев, высоких и раскидистых, — вспоминает В. Н., — вот и все, что осталось от города, где Иисус сотворил самое земное чудо. («Грани» № 47, стр. 94).
16. Там же.
17. На горе Кармель, по преданию, жил пророк Илья, там стоял один из древнейших монастырей, а в XII веке был основан монастырь кармелитов.
18. Напитки каждой страны Яна очень интересуют. Он говорит, что через вина он познает душу страны. («Грани» № 47, стр. 95).
19. «Грани» № 47, стр. 99.
20. Там же, стр. 101.
21. «Грани» № 48, стр. 126 и след.
22. Там же, стр. 133.
23. См. А. Бабореко. И. А. Бунин, Материалы для биографии, Москва, 1967, стр. 111.
24. Газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1955 г., 7 и 8 августа.

25. «Новое русское слово», от 23 авг. 1955.
26. Согласно дневничку В. Н., это было в начале июля.
27. Брат Бунина, у которого в то время жила мать их и сестра М. А. Ласкаржевская с детьми.
28. «Новое русское слово», сентябрь 1955.
29. «Беседы с памятью», («Новый Журнал» № 63, стр. 173).
30. Судя по дневничку В. Н., к Телешовым поехали: И. А. Бунин, Ю. А. Бунин и Ник. Пушешников.
31. Согласно дневничку В. Н., Бунин уехал 10 сент., вернулся в Москву 17-го.
32. Редактор «Знания».
33. Перевод «Каина» Байрона.
34. «Новый Журнал» № 63, стр. 176.
35. Там же, стр. 180 и след.
36. Это был первый раз, что А. И. Куприн, после разрыва с женой, пришел к ней.

1908

1. «27М — 7, ветер». Возобновляются записи 22 апреля: «Весна, все в нежной зелени, соловей. Вчера только пробовал голос».
2. «Новый Журнал» № 63, стр. 194-195.
3. Там же, стр. 198.

1909

1. «Новый Журнал» № 64, стр. 205-220.
2. «Беседы с памятью»: «Возвращение домой» («Грани» № 52, стр. 221-244).
3. В мае.
4. Их черты отразились на образах Родьки и Молодой в «Деревне» Бунина.
5. «Грани» № 52, стр. 233-234.
6. Там же, стр. 236.
7. А. М. Федоров.
8. «Грани» № 52, стр. 237.
9. Там же, стр. 237-238.

1910

1. «Грани» № 53, стр. 65.
2. «Деревня» была продана М. К. Куприной.
3. Дневничок-конспект В. Н.
4. «Грани» № 53, стр. 70.

5. В письме Нилусу от 5 янв. (ст. ст.) 1911 Бунин говорит: [...] боль в правой стороне живота и в почке, — свалился от этой боли чуть не до потери сознания. Всю ночь со мной возились. [...]

1911

1. «Петлистые уши» (Нью-Йорк, 1954), стр. 332-361. Думается, что «Воды многие» это литературная обработка не сохранившихся в архиве записей.
2. Е. Буковецкий.
3. Бунин изобразил его в рассказе «Древний человек».
4. Эта фраза встречается и в дневничке В. Н. После нее написано: «Мы вдвоем!»
5. У В. Н. сказано, что в Измалкове она, между прочим, встретила с Е. М. Лопатиной.
6. В дневничке В. Н. сказано, что в ноябре Бунин написал «Сверчок» (28-30 ноября), «Хорошая жизнь», «Смерть Моисея», а в декабре «Ночной разговор» (19-23 дек.), «Веселый двор» (31 дек.).
7. Поэт А. С. Черемнов.

1912

1. На бумаге Grand Hôtel Quisisana, Capri.
2. В. Н. с Н. Пушешниковым совместно переводили «Грациэллу» Ламартина.
3. Сестра Бунина, М. А. Ласкаржевская.
4. Славянофил Иван Киреевский.
5. Произведение А. С. Пушкина.
6. В письме от 12 августа из Клеевки, Бунин сообщает Нилусу: Книгу назвал «Суходол». Повести и рассказы 1911-12 г. Больше ничего не придумаешь. [...]
7. О праздновании юбилея см. Бабореко, стр. 177-181.

1913

1. Произведение А. Герцена.
2. Видимо, в ноябре Бунин был на Кавказе, так как 17 ноября 1913 г. он послал Нилусу открытку: «Дорогие, я опять в Москве: проклявши Кисловодск, простудившись там вдребезги, позавчера вернулся. Больной и пишу».
3. Судя по открытке Нилусу, были и в Вероне.

1914

1. «Братья» (?)
2. Ссылка на «Очерки Италии» П. Муратова.
3. У Н. А. Пушешникова был припадок астмы.
4. Брат Веры Николаевны, Павел Ник. Муромцев.
5. «Книгоиздательство писателей».

1915

1. Писательница Л. Авилова, автор воспоминаний о А. П. Чехове.
2. Писатель Ф. Сологуб.
3. Художник Илья Репин.
4. Писатель К. Чуковский.
5. Сын Л. Н. Толстого.
6. Ф. А. Коршу в Москве принадлежал театр.
7. См. пр. 4, 1900 г.

1916

1. А. А. Коринфский, поэт.
2. Журнал, издававшийся М. К. Куприной.
3. Евг. Н. Чириков, писатель.
4. Д. Л. Тальников, критик, публицист.
5. После этих слов вклеена запись (Пушешникова?), начинающаяся словом: «взволнован».
6. Писатели-народники.
7. За этим следуют три строки, зачеркнутые чернилом и подчеркнутые волнистой линией: «А что они сделали для этого народа, столь забытого, действительно жалкого народа. Ничего. Погоди, погоди, этот доблестный народ, над которым они так умиляются, им покажет!»
8. Этот отрывок написан почерком Бунина.
9. Рукопись.
10. Роман Ф. Сологуба.

1917

1. Впоследствии Бунин расскажет об этой поездке в «Окаянных днях», стр. 83-89 (изд. Заря, 1973 г.).
2. Интересно, что Бунин употребляет здесь то же выражение, как и Достоевский в «Записках из подполья».

1918

1. Вероятно, литературовед Ю. Айхенвальд.
2. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 9.
3. «Нам предоставили купэ в санитарном вагоне, где на-

ходила столовая для медицинского персонала и купе доктора», — пишет В. Н. в другом месте.

4. Советская поэтесса.
5. На поезде Бунины приехали в Гомель. Оттуда на пароходе поехали в Киев.

Часть вторая. Одесса

1918

1. Под Одессой, Большой Фонтан.
2. А. М. Федоров.
3. Давид Лазаревич Тальников, критик.
4. Почтового сообщения с Москвой тогда не было, письма привозились приезжими.
5. Писатель Г. Д. Гребенщиков.
6. Критик и литературовед Д. Н. Овсяннико-Куликовский.
7. Валентин Катаев, советский писатель. См. В. Катаев, «Трава забвения», «Сов. писатель», М., 1969.
- 7а. Д-р М. Брянская, давнишняя приятельница Веры Ник. Воля — вероятно, ее сын.
8. Литератор Ал. Абр. Кипен.
9. Вероятно, С. В. Яблоновский, литератор.
10. Мих. Осип. Цетлин, писатель, общественный деятель, журналист.
11. В. В. Руднев.
12. С. С. Юшкевич, писатель.
13. И. И. Фондаминский, политический деятель, эс-эр (как Руднев и Цетлин), впоследствии редактор эмигрантского «толстого» журнала «Современные записки».
14. Леонид Петрович Гроссман, писатель, литературовед.
15. Борис Савинков, помощник министра в правительстве Керенского. Член партии социал-революционеров.
16. Генерал Корнилов, в неудавшемся восстании которого участвовал и Савинков.
- 16а. Дерibasы — потомки создателя Одессы.
17. Рассказ Ив. Ал. Бунина.
18. Иван Фед. Наживин, толстовец.
19. Поэт и драматург XIX века.

1919

1. Произведения Н. В. Гоголя.
2. С. Я. Елпатьевский, писатель.
3. Поэт Максимилиан Волошин.

4. Б. Л. Варшавский, журналист и фотограф.
5. Историк проф. Д. Иловайский, о котором В. Н. написала впоследствии воспоминания «У старого Пимена».
6. В. Л. Бурцев, политический деятель.
7. И. Ладыжников, издатель.
8. Л. И. Гальберштадт, журналист, секретарь сборников «Северное сияние», редактором которых был Бунин.
9. Писатель Ал. Ник. Тихонов (Серебров).
10. Писательница, псевдоним Н. Ал. Лохвицкой.
11. См. стр. 129-135. Переписка Бунина с Черемновым опубликована в «Литературном Наследстве», т. I, стр. 639-658.
12. Вл. И. Немирович-Данченко, директор МХТ'а.
13. Артист МХТ'а.
14. Вероятно, Л. Ис. Гальберштадт.
15. Поэт Валерий Брюсов.
16. Писатель.
17. Писатель Марк Алданов, псевдоним М. А. Ландау.
18. П. Н. Милоков, бывш. член Госуд. думы, лидер партии кадетов.
19. Военный министр в начале войны.
20. Англичанин, у которого В. Н. брала уроки английского языка.
21. Вероятно, Петр Моисеевич Пильский.
22. С 12 апреля 1919 г. начинаются записи Ив. Ал. Бунина, вошедшие в «Окаянные дни». Их приводить не буду. Своевременно остановлюсь на его дневниковых записях, сохранившихся в рукописи и, вероятно, послуживших источником «Окаянных дней».
23. В «Окаянных днях», (изд. Заря, Лондон/Канада, 1973), в записи от 16 апреля, между прочим, сказано: Встретили Л. И. Гальберштадта (бывший сотрудник «Русских Ведомостей», «Русской Мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос Красноармейца» (стр. 53).
24. Гражданская жена И. А. Бунина, тогда В. Пащенко.
25. Писательница, Т. Л. Щепкина-Куперник.
26. Над этими словами рукой Бунина написано: Получено 1 июня (ст. стиля) 1919 г.
27. Дмитрий Николаевич Муромцев, брат Веры Николаевны.
28. Вероятно, жена Н. Л. Геккера, критика и публициста, в прошлом участника революционного движения.
29. Внук Дерibasа.

30. Председатель Исполкома.
31. Знаменитая артистка.
32. Литератор, Аминад Петрович, писавший под псевдонимом Дон-Аминадо.
33. Художник, поэт.
34. Речь идет о восстании немецких колонистов, см. также запись от 21 июля/3 августа.
35. Н. П. Кондаков, искусствовед.
36. Вероятно, французский историк Жюль Мишлэ.
37. Писатель А. Серафимович, в прошлом участник «Сред».
38. В. М. Пуришкевич, политический деятель, основатель «Союза русского народа», участник убийства Распутина.
39. Вл. Аф. Подгорный, артист Художественного театра.
40. Речь идет о редакторстве газеты «Южное Слово». Произошло это после скандала, связанного с протестом против постоянного вмешательства Клименко в редакционные и литературные дела газеты.
41. Артистка Художественного театра, вдова А. П. Чехова.
42. М. П. Чехова, сестра А. П. Чехова.
43. Жена М. Горького.
44. Сын Горького.
45. В. Д. Бонч-Бруевич, секр. Совнаркома.
46. М. Ф. Андреева, гражданск. жена М. Горького.
47. Вероятно, Е. И. Назаров, поэт.

1920

1. Г. Ф. Ярцев, художник.
2. Великий князь.
3. Сбоку приписка карандашом почерком Ив. Ал. Бунина: Офицер с такой фамилией.

Указатель имен

(Не включены лица, фамилии которых установить не удалось и которые лишь мельком упомянуты в тексте.)

- Абакумов, крестьянин 118, 124, 129
 Авилова Л. А. 142
 Автунович 335
 Азбелев Н. П. адм. 74
 Алданов М. А. (Ландау) 218
 Александр II 287
 Александра Федоровна, императрица 200, 239
 Александровский, Вас. 262.
 Алексеев, М. ген. 309
 Алексей, царевич 204
 Алферов Ст. (?) 315
 Ангел, атаман 282
 Анджелико Фра 155
 Андреев Леонид Н. 38, 40, 72, 73
 74, 75, 132, 140, 149, 180
 Андреева М. Ф. (жена Горького) 91, 92, 115, 134, 197, 201, 319
 Андреевский, гор. гол. 52
 Анненский Н. Ф. 93
 Ансельм 238
 Анский С. 302
 Анюта, горничная 258, 266, 270, 276, 278, 299, 377, 338, 341
 Апухтин, тов. мин. 308
 Аркадский Л. (А. С. Бухов) 324
 Астров Н. 315
 Арцыбашев М. П. 211
 Айхенвалд Ю. И. 171
- Бабарыкина (Боборыкина?) 31
 Багрицкий Эд. Т. (Э. Г. Дзюбин) 229, 237
 Байрон Г. 76
 Байтер, писат. 302
 Бакст Лев 75
 Балавинский 315
 Вальмонт К. Д. 26, 33, 120, 205, 261
 Вальтрушайтис, Ю. К. 261, 262
 Баратынский Е. А. 127
 Баранцевич К. С. 27, 28
 Баранцевич К. С. 27, 28
 Барсов Е. В. 127
 Батистини 116
 Вахтеярова (соседка) 162, 164, 193
 Башкирцева М. А. 156, 157
 Белоусов И. А. 88, 134
 Вельговский 332.
 Вельй Андрей (В. Н. Бугаев) 210, 261, 262
- Беляевы 212.
 Берлинд (Берлянд?) 254, 309
 Бернацкий, проф. М. В. 216, 217
 Бертенсон В. 156
 Бибииков Арс. Н. 252
 Бибиикова В. В., ур. Пащенко 250, 252, 253
 Билимович, проф. 286, 315, 323, 324, 325, 326, 344
 Благоев Ф. И. 216
 Блок А. А. 74, 75, 194, 210
 Влюменберг Г. Г. 72
 Боборыкин П. Дм. 273
 Боборыкина С. А. 273
 Бодаревский, художн. 253
 Волотов (С?) 336
 Вонч-Бруевич В. Д. 319
 Вонье С. П. 46
 Ворченко 168
 Врайкевич 200
 Врайневич 186
 Вродский Н. Л. 261
 Врусилов А. А., ген. 188
 Врэм А. 179
 Врюсов В. Я. 26, 82, 218, 246
 Брянский В. В. («Воля») 188, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 322, 324, 326, 327, 332
 Брянский В. Д. 310
 Будищев А. Н. 27, 28
 Буковецкий Е. И. («Евгений») 48
 49, 50, 82, 90, 109, 115, 178, 181, 189, 190, 192, 196, 197, 201, 202, 209, 220, 229, 230, 232, 249, 276, 277, 320, 325, 339, 340
 Булыгин А. Г. 205
 Бунге, физиолог 250
 Бунин А. Дм. 130
 Бунин А. И. 20, 124
 Бунин Ал. Н. («отец») 112, 124, 134, 149
 Бунин Ап. Ник. 130
 Бунин Влад. Ап. 130
 Бунин Влад. Дм. 130
 Бунин Дм. С. 130
 Бунин Евг. Ал. («Евгений») 25, 70, 83, 84, 85, 123, 162
 Бунин Н. Дм. 130
 Бунин Николай И. 36, 44
 Бунин Ник. Сем. 130
 Бунин Ф. Ап. 130

- Бунин Ю. Ал. («Юлий») 22, 23, 25, 26, 34, 35, 40, 55, 71, 83, 87, 108, 109, 112, 116, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 137, 138, 143, 145, 156, 162, 167, 171, 172, 178, 184, 185, 186, 189, 191, 208, 260, 281
 Бунина А. Н., ур. Цакни 33, 35, 233, 250.
 Бунина Варв. Ник. 130
 Бунина жена Н. Дм. 130
 Бунина Людм. А., ур. Чубарова («мать») 25, 67, 68, 69, 70, 77, 82, 83, 92, 112
 Бунина Ольга Дм. 130
 Бунина Олимпиада Дм. 130
 Бурцев В. Л. 212, 326
 Бутенко 237
 Бэжлин А. худ. 152
 Вэла-Кун 293
 Вякин М. 17

 Вальбе Б. С. 320
 Варнеке В. В., проф. 195
 Варшавский Б. Л. 207, 216, 323
 Варшавские 267, 269
 Вейнберг П. И. 28
 Великие князья 188, 333
 Великий князь 89
 Велихов Б. А. 317, 319, 322, 323
 Велиховы 318
 Величко (Г. И.?) 280
 Венгеров С. А. 144
 Вересаев В. В. (Смидович) 53, 140, 184, 211
 Верлэн Поль 182
 Верхарн Э. 246, 247
 Вильгельм, имп. 46, 239
 Вильсон Т. В., през. США 192
 Вознесенский А. 152
 Волкенштейн А. А. 24
 Волошин М. А. (Кириенко-Волошин) 206, 210, 222, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 267, 311
 Вольнов Иван 135
 Воргунин 23
 Вотье, фр. консул 343
 Врангель Н., бар. 207, 315
 Врангель П. Н., ген. бар. 321, 330

 Гайдебуров П. А. 22
 Гайлберштадт Л. И. 87, 213, 214, 215, 217, 228, 242, 247, 280
 Гальперин М. П. 261
 Ганский, художн. 178, 298
 Гарибальди, Дж. 178
 Геккер (жена Н. Л. Геккера) 266, 294, 298
 Гельнер, арт. 262
 Герцен А. И. 134
 «Былое и думы» 195, 316
 Гершензон М. О. 262, 281
 Гессен В., проф. 75
 Гете В. 180, 181, 182
 Гинденбург П. 241
 Гиппиус Зин. Ник. 27, 28

 Гоголь Н. В. 82, 83, 195, 241, 258, «Коляска», «Рим» 206
 Голицына, кн. Марг. 221
 Голоушев С. С. (Плаголь) 73
 Голоушева, артистка 40
 Гольдман 317.
 Гонкуры Эдм. и Жюль 211
 Гончаров И. А. 114, 325
 «Обрыв» 293
 Горас 337, 341
 Горнфельд А. Г. 93
 Городецкий С. 94, 155
 Горький Максим (Ал. М. Пешков) 34, 35, 38, 39, 73, 79, 80, 81, 91, 92, 115, 134, 135, 142, 143, 149, 150, 168, 190, 191, 196, 197, 201, 212, 213, 214, 218, 233, 242, 288, 293, 319, 333
 Горькие 79, 80, 115, 132, 134, 201
 Гребенщиконы (Гр-ов Г. Д.) 178, 179
 Гржебин З. И. 72
 Григорович Д. В. 27
 Григорьев, атаман 224, 271, 290, 313
 Григорьева Л. 154
 Гринблат, комиссар 271, 273
 Гроссман Л. П. 195, 196
 Грузинский А. Е. 87, 116, 260, 261
 Гусаков А. Г., проф. 75, 89
 Гусев-Оренбургский, С. И. 184, 218
 Гутман Моисей 252
 Гюго Виктор 93
 Гюнтер 206

 Давыдов Н. В. (?) 143, 156
 Давыдова А. А. («Муся») (см. Куприна) 27, 28, 34, 38, 39
 Данте Алигьери 334
 Дашкова Е. 145
 Деба 329, 330, 335, 338
 Делидзе 169
 Деникин А. И., ген. 221, 241, 271, 272, 282, 287, 291, 292, 295, 297, 298, 301, 306, 316, 321, 326, 330, 334, 335
 Дерибас (де-Рибас) А. М. 199, 206, 327, 328
 Дерибас (де-Рибас) Л. М. 206, 235, 306, 331
 Дитерихс Е. 40
 Дитерихс (Н. М.?) 320, 323.
 Дмитрий Павлович, вел. князь 140
 Додэ А. 180.
 Достоевский Ф. М. 122, 195
 «Село Степанчиково» 193
 Смердяков 182
 Драгомиров А. М. ген. 329
 Духонин С. ген. 309

 Елпатьевская Л. С. 27, 28
 Елпатьевский С. Я. 27, 28, 37, 93, 202, 203, 206
 Ермилов В. Е. 247
 Ермолова М. Н. 272

Жемчужников А. М. 26, 27
Жуковский Вас. А. 20, 124
Зайцев Б. К. 53, 72, 82, 158, 261
Зайцева В. А. («Верочка») 53, 54
Зайцевы 53, 72, 82
Зак 48
Залкинд 317
Засодимский, П. В. 28
Заузе В. X. 51
Захаров Егор 17
Зверев 28
Зейдеман (клуб) 202, 206
Зелюник О. Г. 299, 300, 302
Зилов Л. Н. 143
Златоврацкий Н. Н. 33, 150, 151
Зола Эмиль 39
Иванов Вяч. В. 261, 262
Иловайский Д. И., проф. 210
Ильин (В. Н.?) 257
Ильины 161
Ильнарская В. Н. 267
Инбер Вера М. 174, 193
Иорданский Н. И. 74
Иоффе, поэт 302
Иркутов (А. Д. Каррик) 229
Казин Вас. 262
Калиниченко 286, 297, 305
Калинников Е. 332
Каменева, ур. Троицкая 319
Каменские (А. П. К-ий) 91
Каменский В. М. 246
Каразмин Н. М. 215
Карзинкин А. А. 39, 88
Каринские (Н. С. К-ий) 202
Кармен (Л. О. Коренман) 311
Карпов Н. А. (?) 324
Карташевы (А. В. К-ев) 33
Катаев В. П. («Валя») 179, 180, 188, 193, 198, 209, 220, 229, 237, 238, 241, 310, 311
Кауфман А. А. 254
Качалов В. И. 262
Керенский А. Ф. 178, 193, 197
Кин (О. А. Инбер) 270
Кипен (Киппен) А. А. 30, 189, 209, 210, 252, 258, 266, 269, 312, 313, 318
Кипены 312, 325
Киреевский Иван В. 124
Клемансо Ж. 218, 220
Клестов (Н. С. Анчарский) 260, 261
Клименко (Н. К.?) 298, 308, 309, 318, 322, 331, 332
Климович В. 39
Ключевский В. О. 215
Книппер О. Л. (-Чехова) 39, 43
Ковалевский/-ая (дача) 133, 137, 252
Коган П. С. 262, 331
Койранский А. А. 216, 287, 300, 310, 319, 335
Колчак А. В. адм. 206, 221, 241, 243, 245, 271, 289, 291, 300, 303, 308, 309, 321, 326
Кольцов А. В. 195

Комаровский, гр. 68
Комиссаржевская В. Ф. 339
Кондаков, Н. П. 290, 291, 292, 297, 312, 314, 315, 318, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 335, 337, 338, 341, 342, 344, 345, 346, 347
Кониг 256
Конфуций 114
Кончевская 134
Копельман С. Ю. 72, 75
Коринфский, А. А. 148
Корнилов Л. Г., ген. 197, 309
Короленко В. Г. 150, 151, 184, 211
Корш Ф. А. 143, 158
Костомаров Н. И. 215
Котляревский Н. А., проф. 75, 88
Котляревские 268
Коцинский 334
Кошиц, певица 206
Крандиевская Н. В. 75 (см. Толстая)
Крашенников Н. А. 52, 55
Кривенко С. Н. 26, 27
Кропоткин П. А. 137
Кугель А. Р. 209, 229
Кузнецов, инж. 315
Куликовские см. Овсяннико-Куликовские
Кульман Ник. К., проф. 37
Кулябко-Карецкий 293
Куприн Ал. Ив. 33, 38, 39, 40, 74, 87, 88, 92, 120
Куприна, М. К. ур. Давыдова (см.) 74, 90
Куровский Вл. П. («Павлыч») 35, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 67, 82, 116, 134, 145, 146, 147, 196
Куровские 48, 116
Куропаткин (дворец.) 203
Ладыженский В. Н. 27, 28, 315
Ладыжников И. П. 213
Лазурский (В. Ф.?), проф. 184, 230
Лазурский Дима 267
Лазурские 188
Ланде Ал. С. (Изгоев) 48
Лапинер 317
Ласкаржевская М. А., ур. Бунина («Маша»), («сестра Маша») 40, 68, 70, 71, 76, 77, 86, 92, 117
Ласкаржевский И. А. 70, 92
Левашов, проф. 286, 297, 298
Левитан И. И. 38
Левитов А. И. 123
Ленин Вл. И. 210, 219, 241, 242, 319
Леонидов О. 261
Лермонтов М. Ю. 21, 195
Леткова-Султанова Ек. П. 75
Линиченко, проф. 286, 297
Личкус В. П. 285
Лихунчанг 120
Лопатин 317
Лопатина Ек. Мих. (Ельцова) 31, 32, 33, 34, 53
Лукомский 330
Лопухов (С. Д. Муравейский?) 330

- Лопуховский (А. Я.?) 332
 Лоти Пьер 67, 91
 Лохвицкая Мирра А. 33
 Лукомский А. С., ген. 330
 Луначарский А. В. 172, 191, 259, 262, 319
 Лурье С. В. 254
 Львова А. Д. (?) 246
 Львов-Рогачевский В. Л. 261
 Людмила, домоправит. 258, 259, 337
 Ляшко (Лященко) Н. Н. 143
- Малиновская 319
 Малиновские (М-ий, А. А.) 319
 Малич 270
 Макс Ли (О. Н. Хренникова) 39, 40, 44
 Мамин Д. Н. (Мамин-Сибиряк) 31
 Мамонтов А. И. 246
 Мамонтов, ген. 317
 Манухин И. И., д-р. 213
 Марковский А. П. 304
 Марьяш 264
 Махно Нестор, 282, 290, 313, 316, 337
 Мережковский Дм. С. 27, 28
 Мечников И. И. 129
 Микитко 336
 Милкоков П. Н. 218
 Минский (Н. М. Виленкин) 27, 28, 264
 Миров (В. С. Миролюбов) 29
 Мирский 314, 320
 Митрофаньч см. Федоров, А. М.
 Мицкевич А. 178
 Мишлэ Жюль 291
 Михаил Александрович, вел. кн. 203
 Михайловский Н. К. 26, 27, 31, 151
 Михеев В. М. 27, 28, 31
 Мопассан Гюи 157, 180, 183
 Муратов П. 136, 211
 Морозовы (дворец.) 262
 Муромцев Андр. 68
 Муромцев Дм. Н. («Митя») 101, 103, 265, 281, 283, 314
 Муромцев Вл. Сем. 54
 Муромцев Н. А. («папа») 55, 71, 88, 224, 240, 283
 Муромцев П. Н. (Павлик) 139
 Муромцев С. Л. 94, 104
 Муромцева Л. Ф. («мама») 55, 71, 86, 89, 101
 Муромцевы («родители») 71, 185, 258, 281, 283, 314
 Мякотин В. А. 93, 202
 Мясеодов Г. Г. 24, 25
- Надсон С. Я. 143
 Наживин И. Ф. 203, 204, 205, 312, 320
 Назаров Е. И. 326
 Найденков (С. А. Алексеев) 40, 44, 55, 74
 Недзельский В. О. 223, 269, 281, 282, 312, 340
- Недзельские 178, 179, 231, 281, 282, 317
 Нежданова (арт.) 262
 Немирович-Данченко В. И. 216
 Никандров (Н. Н. Шевцов) 184
 Никитина Е. 342
 Николай II («Государь», «Царь») 46, 158, 181, 199, 200, 239, 333
 Николай Николаевич, вел. кн. 334
 Нилус П. А. («Петр») 39, 48, 52, 55, 61, 67, 72, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 108, 114, 115, 129, 131, 132, 133, 139, 144, 146, 147, 155, 156, 158, 159, 167, 168, 178, 180, 181, 186, 187, 189, 190, 197, 220, 229, 230, 232, 234, 235, 237, 250, 256, 257, 258, 267, 275, 277, 320, 325, 328
 Ницше Фр. 93
 Нос, офицер 338
- Оболенский (кн. В. А.?) 328
 Овсяннико-Куликовский Дм. Н. («Куликовский») 93, 134, 182, 183, 193, 209, 211, 212, 229, 234, 248, 273, 279, 288, 310, 312, 329, 339
 Овсяннико-Куликовская И. Л. 211, 248, 315, 339, 340
 Овсяннико-Куликовские («Куликовские») 134, 179, 182, 211, 212, 234, 248, 265, 279, 298, 339, 343
 Озаровский Ю. Э. 188
 Олеша Ю. К. 229
 Орлов 168
 Островский А. Н. 195
- Павлыч 79 (см. Чехов), 147 (см. Куровский)
 Панина С. Вл. 45, 81
 Пащенко В. В. 23, 250 (см. Бибикова)
 Пеговы 344, 347
 Первухин К. К. 143
 Переплетчиков В. В. 148
 Петлюра С. 194, 264, 297, 299, 326
 Петлюровцы 198, 200, 201, 203, 208, 270, 321, 326
 Пешков Зиновий Ал. («Зина») 91, 92
 Пешков Максим А. 91, 135, 319
 Пешкова Ек. П. (К. П.) 134, 135, 136, 168, 213, 319
 Пильский П. М. 225, 321
 Питерс, мистер 221
 Пичет, критик 302
 Платон, митрополит 323, 332
 Плеханов Г. В. 197
 Победимовы (соседи) 158, 162
 Победоносцев К. П. 100
 Подвойский Н. И. 292
 Подгорный В. А. 315
 Полевицкая (по мужу Шмиidt) 254, 255, 267
 Полетаев (Н. Э. Бауман) 262
 Полонский Я. Б. 330
 Польшов Н. («Коля») 272
 Польшов С. В. 254, 256, 279
 Польшова М. Н. 279, 288, 309

- Полынова Т. Л. (см. Щепкина-Куперник)
 Полюновы 256, 272, 279, 280, 288
 Попова О. Н. 27, 28
 Поссе Вл. А. 35
 Потапенко И. Н. 27, 28
 Поярков Ник. Е. 53
 Прашниковы 238
 Пуришкевич В. М. 313, 314
 Пушешников Д. А. («Митя») 55, 83, 85, 116
 Пушешников Ник. А. («Коля») 55, 68, 71, 76, 78, 83, 85, 88, 106, 109, 112, 113, 114, 116, 123, 128, 129, 132, 133, 134, 136, 140, 141, 142, 150, 154, 156, 157, 161, 162, 171, 184
 Пушешникова С. Н. («Софья», «сестра Софья») 68, 75, 86, 92, 112, 158, 160, 193
 Пушешниковы 55, 75, 76, 85, 160
 Пушкин А. С. 149, 180, 195, «Путешествие в Арзрум» 127
 Пятницкий К. П. 72, 91, 197

 Рабинович Ф. 345
 Раецкий С. С. 209
 Раковский 294
 Распутин, Г. Е. 158, 187
 Ратнер (А. И.?) 293, 322
 Рафаэль (внук Дерибаса) 267
 Рахманинов С. В. 75, 144
 Регинин 247
 Рекло Э. 136
 Ренье Анри 211, 247, 248
 Репин Илья Е. 143
 Родзянко М. В. 203
 Розанов В. В. 82
 Розенберг В. М. 286, 295
 Розенберги 287
 Розенблат 336
 Розенталь 223, 291, 308, 312
 Романовский И. П., ген. 330
 Ромашкова С. П. 107
 Ростовцевы Мих. Ив. и С. М. 75, 268
 Рот, доктор 35
 Рубинштейн Ида 199, 202
 Рубинштейн, раввин 302
 Руднев В. В. 192, 193, 202, 212, 222
 Рукавишников И. С. 262
 Рышков Вал. Ник. 17, 71, 108
 Рышкова Анна Вл. 130
 Рышковы 108

 Саади Гулистан 67, 93
 Сабашниковы М. и С. 210
 Саблин Ю. 292
 Савина М. Г. 27, 28
 Савинков Б. В. (В. Ропшин) 197, 228
 Сакер Я. Л. 115
 Сакулин П. Н. 261
 Свердлов Я. М. 215, 255
 Северный 242, 243, 308, 347
 Серафимович (А. С. Попов) 75, 168, 169, 302
 Серкин 208, 243, 281, 292
 Серов В. А. 199, 200

 Сипягин Дм. С. 71
 Скворцов Н. А. 184, 191
 Скиталец (С. Г. Петров) 75
 Скрябин А. Н. 218
 Смирнов-Треплев см. Треплев
 Соболевский (В. М.?) 202
 Соколович 196
 Сократ 137
 Соловцов Н. Н. 38
 Сологуб (Ф. К. Тетерников) 27, 142, 154, «Мелкий бес» 157
 Соллогуб, граф (дом) 261
 Станиславский К. С. 90
 Станюкович К. М. 29
 Строев П. А. 134
 Сухомлинов В. А. 219
 Сытин И. Д. 87

 Таганок 109, 110, 113, 126
 Тальников (Д. Л. Шпитальников) 150, 178, 179, 183, 184, 194, 271, 272, 321
 Тальникова Ю. М. 178
 Тальниковы 178, 179, 279
 Татида (Татьяна Давид-а) 247, 249
 Телешов Ник. Д. 39, 56, 68, 71, 87, 88, 90, 93, 134, 140, 168, 184, 191, 208
 Телешова Ел. Андр. 88
 Телешовы 71, 134, 168
 Терещенко М. И. 115
 Тестов 116
 Тиверий 165
 Тимковский Н. И. 116
 Тихонов (А. Н.?) 143
 Токмаковы 38
 Толстая Ал. Л. 81
 Толстой А. К. 205
 Толстой А. Н. 185, 186, 187, 188, 202, 216, 230
 Толстая Н. В. (Крандиевская) 185, 186, 188, 202
 Толстые (А. Н. и Н. В.) 169, 188, 193, 206, 222
 Толстой Илья Л. 143, 247
 Толстой Л. Н. 24, 37, 38, 45, 80, 81, 92, 94, 116, 142, 149, 180, 195, 209, 218, 258, 325
 «Семейное счастье» 208
 Толстая С. А. 205
 Толстой (особняк) 230
 Тренев К. А. 318
 Треплев (А. А. Смирнов) 261
 Троцкий Лев 241, 242, 255, 300, 301, 319, 332
 Трубецкой Евг. Н. 142, 209
 Туган-Барановская 288, 289, 330
 Туган-Барановские 324
 Тулуп З. П. 327
 Тупик 182
 Тургенев И. С. 149, 195
 Тухолка 328
 Тэн Ипп. 211
 Тэффи (Н. А. Ложвицкая) 215
 Успенский Н. 123
 Устиновы 158, 169
 Уточкин 52

Ушковы 202

Федоров А. М. («Митрофаньч») 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 55, 67, 82, 87, 88, 92, 109, 133, 141, 159, 177, 181, 196, 231, 238, 248, 257, 258, 259, 269, 291, 318, 328

Федорова 231

Федоровы 67, 133, 159, 178, 179

Фельдман 270

Фердинанд, король 302

Флобер Г. 180

Флоренский, проф. 259

Фондаминский-Бунаков, И. И. 193, 222

Фра Беато 155

де Франси 327

Харкеевич, В. К. 38, 39

Хин (Р. М. Гольдовская) 228

Худякова М. Я. 264

Цакни А. Н. см. Бунина

Цакни Б. Н. 33

Цакни Н. П. 33, 34, 35

Цакни Э. П. 34

Ценовский А. 93, 116

Ценский (Сергеев-Ценский, С. Н.?) 318

Цетлин М. О. 192, 197, 202, 211, 222

Цетлина М. С. 199, 222, 224

Цетлины 193, 202, 210, 222, 242, 249

Чайковский М. И. 182

Чарпов 159

Чеботарева 261

Черемнов А. С. 115, 129, 130, 134, 135, 215, 220

Черемновы 115, 134, 135

Чернявин, ген. 316, 317

Чернявский (Н?) 330

Чехов Ант. П. 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 79, 89, 90, 153, 180, 183, 205, 206, 258

«Вишневый сад» 259

Чехова Е. Я. 36, 37, 40, 44, 45

Чехова М. П. 36, 37, 40, 43, 44, 45, 319

Чириков Е. 150, 151, 315

Чириковы 202

Чубаров А. 108

Чубаров И. А. 108

Чубарова А. И. (ур. Бунина) 108

Чубаровы 108

Чуковский К. И. 143

Шабельский (А?) 332

Шалапин Ф. 115, 133, 319

Шалиро 47

Шатан, худ. 183

Шенье Андре 320

Шер 206

Шесток 267

Шиллинг (М.?) 309, 322, 323, 324, 325, 330, 344

Шишкина (дача) 177, 186

Шишко Л. 266

Шишко (вдова Л. Шишко) 135, 136

Шкляр Н. Т. 143

Шмелев И. С. 318

Шмелевы 184

Шмидт И. Ф. 254, 290

Шмидты 267 (см. Полевицкая)

Шопэн Ф. 231

Шор Д. С. 56, 57, 59, 62, 63

Шпан 227

Шполянский, А. П. (Дон-Ами-надо) 287, 328, 329, 330, 335

Шрейдер М. И. 200, 222

Штерн 222

Шугальтер 260

Шульгин (В. В.?) 331

Шульц 218

Шумский (К. М. Соломонов?) 328

Шуф В. А. 100

Щербаков Арс. 37

Щербаков, проф. 286, 298

Щепкин Д. Н. 226, 271, 273, 298, 303, 315

Щепкин Н. Н. 227

Щепкина-Куперник (Т. Л. По-льнова) 254, 256, 272

Эдвардс Б. В. 51

Эльстон (Ф. Сумароков-Эльстон, кн. Юсупов) 188

Эртель А. И. 26

Эстер, худ. 234

Эйхенвальд см. Айхенвальд

Южин (А. И. Сумбатов) 88, 216, 262

Юрлов Б. Вл. 323

Юшкевич Павел 320

Юшкевич С. С. 75, 192, 256, 257, 266, 271

Юшкова (Киреевская) 124

Яблоновский А. А. 207, (209?), 216, 219

Яблоновский (С. В. Потресов) 190, 203, 205, (209?)

Яблоновские 226

Яковенко В. И. 31

Яковлев 34

Яновский, проф. 269

Ярцев Г. Ф. 39, 333

Яценко Ек. Н. 297, 323, 341, 344, 345, 346

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Часть первая. До перелома	17
Часть вторая. Одесса	177
Примечания	349
Указатель имен	361

